

КНИГА ВТОРАЯ
ЗОЛОТОЕ
ПЯТИЛЕТИЕ



Зверь из бездны том II (Книга вторая: Золотое пятилетие) //Алгоритм,
Москва, 1996
ISBN: 5-7287-0092-6
FB2: Aglazir, 2017-06-08, version 2.0
FB2: 1000oceans, 2017-06-08, version 2.0
UUID: B431D6BC-22EF-45BB-9FED-1755398B15D8
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

**Александр Валентинович
Амфитеатров**

**Зверь из бездны том II
(Книга вторая: Золотое
пятилетие)
(История и личность #2)**

Амфитеатров А.В. Собрание сочинений, Спб., 1911-1916
г. ISBN5-88878-001-4

Историческое сочинение А. В. Амфитеатрова (1862-1938) “Зверь из бездны” прослеживает жизненный путь Нерона - последнего римского императора из династии Цезарей. Подробное воспроизведение родословной Нерона, натуралистическое описание дворцовых оргий, масштабное изображение великих исторических событий и личностей, использование неожиданных исторических параллелей и, наконец, прекрасный слог делают книгу интересной как для любителей приятного чтения, так и для тонких ценителей интеллектуальной литературы. Прочитав эту книгу, возможно, Вы согласитесь с нами: “Сейчас так уже никто не напишет”.

Содержание

ЗВЕРЬ ИЗ БЕЗДНЫ книга вторая "Золотое пятилетие"0004
Книга вторая Золотое пятилетие	0005
НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО	0006
АКТЭ0090
II	0123
МИНИСТР ФИНАНСОВ0169
БРИТАНИК	0211
ПОППЕЯ САБИНА	0255
СМЕРТЬ АГРИППИНЫ	0393
ИСТОРИЯ ИЛИ РОМАН?	0479
ТАЦИТ ИЛИ ПОДЖИО БРАЧЧИОЛИНИ?0522
СПИСОК КНИГ, СЛУЖИВШИХ АВТОРУ МАТЕРИАЛОМИЛИ ПОСОБИЯМИ ДЛЯ СОЧИНЕНИЯ ЭТОГО ТОМА0626

ЗВЕРЬ ИЗ БЕЗДНЫ
книга вторая
"Золотое пятилетие"

КНИГА ВТОРАЯ
ЗОЛОТОЕ
ПЯТИЛЕТИЕ



Книга вторая Золотое пятилетие

НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

I

Принятие Нероном принципата, конечно, произвело ломку в главных должностях правительства, однако, меньшую, чем можно было ожидать. Ведь главные участники победоносной узурпации и без того уже занимали высшие бюрократические посты, созданные режимом принципата. Дальше им идти было некуда. Им оставалось только сохранить свое прежнее положение и укрепить и возвысить его своим личным авторитетом. Так и вышло. Афраний Бурр и Паллант сохранили свои посты — первый главнокомандующего гвардией и военного министра (*praefectus praetorio*), второй — министра финансов (*a rationibus*). Начальником комиссии прошений, поступающих на высочайшее имя (*a libellis*), назначен был вольноотпущенник Дорифор, отмеченный Светонием, как соучастник Неронова

разврата, но у Тацита упоминаемый впоследствии в благородной роли стояльца за супружеские права Октавии против Поппеи Сабинны. Неизвестно, кто заменил Нарцисса в должности *ab epistulis*, то есть во главе собственной канцелярии государя, но греческим ее отделением (*ab epistulis graecis*) поставлен был заведовать бывший преподаватель Нерона, Бурр (не Афраний, но грек, иначе называемый Берилл). Весьма трудно определить, какой собственно пост занял Л. Анней Сенека, всеми летописцами эпохи обозначаемый, как самый могущественный двигатель «золотого пятилетия». Гошар полагает, что в данном случае «не место красило человека, но человек место»: официально Сенека мог числиться только «квестором государя» (*quaestor principis*), но его общественный авторитет дал ему — и в этом скромном звании — могущественное влияние. Квестор государя — чиновник из кандидатов на высшие магистратные должности, употребляемый принцепсом по особым поручениям, например — представлять от его имени в сенате. Три столетия спустя, в веке Константина Великого,

императорский квестор, *quaestor sacri palatii*, действительно, соответствовал государственному канцлеру. Но в Неронову эпоху выжидательная и переходная цезарева квестура не имела еще ни того почета, ни того влияния. Это не столько пост, сколько кандидатура. При Нероне, *quaesor principis*, даже в лучшем случае доверия к нему, являлся только механическим передатчиком слова и воли государя. Да и то, по словам Светония, Нерон предпочитал, чтобы его письма в сенат оглашались не чрез квесторов, но консулами. Тот же писатель говорит, что, не зная, куда пристроить слишком многочисленных своих кандидатов (*candidati principis*), Нерон назначал их командирами легионов. Государева квестора, которого Нерон прислал присутствовать при важном политическом процессе сенатора Тразеи, Тацит не нашел нужными даже упомянуть по имени. Неронов квестор, скорее всего, есть просто флигель-адъютант. Случайные полномочия его могут быть очень вески и широки, но не укладываются в строго определенные рамки постоянной служебной функции. Совсем не такова яркая роль Сене-

ки в системе Неронова принципата. Как бы не именовалась его должность, она, прежде всего, была двойственной, то есть не только придворной, но и государственной, что особенно наглядно замечается в первое время пятилетия, когда Сенеку можно в полном правом назвать «блюстителем конституции». В эти годы главная задача его промежуточного поста как будто в том именно и состоит, чтобы, в качестве промежуточного, посреднического, но все-таки весьма настойчивого авторитета, охранять равновесие диархии, то есть державной воли принцепса и свободной, правительствующей деятельности сената. Щекотливые обязанности Сенеки распространились на огромную компетенцию, гораздо более широкую и претенциозную, чем роль министра-президента в современных конституциях. Это — канцлер античного мира, уполномоченный представитель государя в конституции, его идейный истолкователь и, иногда, заместитель, по доверию. Он присутствовал в сенате, был непременным членом собственного совета государева (*consilium principis*), совмещал в себе министра внутрен-

них дел, министра иностранных дел и государственного юрисконсульта. Таким образом, это даже не Бисмарк, но целый Меттерних: не только хозяин государства, но и нравственный опекун государя. А, по авторитетной роли в частном быту Цезаря и, следовательно, по весу косвенного, морального, так сказать, давления на правительство, это — положение К.П. Победоносцева в восьмидесятых годах русского XIX века.

В первые дни по смерти Клавдия верховное правление вылилось было в форму несомненного сорегенства матери- императрицы при Нероне-принцепсе, даже с некоторым перевесом для Агриппины во внешнем почете. Например, юный цезарь, пеший, показался в свите Августы, следуя за ее носилками, подобно тому, как впоследствии такой же юный Михаил Романов пешком шел с Пресни в Москву за санями отца своего, Филарета Романова, когда тот возвратился из польского плена. Сорегентство это устроилось исключительно быстротою и натиском решительной Агриппины. Она, имея на своей стороне Палланта, приступила к властным самостоятель-

ным действиям — в том числе, и к казням, — прежде, чем сын или советники сына успели принять меры против ее своевольтва. Агриппина завоевывала власть не для Нерона, но для себя, чрез Нерона, и, когда завоевала, схватилась за нее так бурно и страстно, что на данный момент, хотя и короткий, оказалась полной госпожей положения. Нерону и неронианцам пришлось, скрепя сердце, признать — до времени — совершившийся факт и чтить в Агриппине не только вдову покойного государя и мать настоящего, но и равную им соправительницу. Avec une bonne mine au mauvais jeu, Нерон, сенат и новый двор осыпали «лучшую мать» (*optima mater* — такой пароль по войскам дал Нерон в первый день своего правления) всевозможными знаками уважения и преданности, но в то же время немедленно открыли и энергически повели тихую и твердую борьбу против притязаний неожиданной повелительницы.

Всякий политический заговор слагается в организацию действия из разнородных элементов. Государственная или общественная идея, влагаемая в заговор, — для одних само-

довлеющая цель, для других только временное орудие, взятое поневоле, иногда даже им антипатичное, но необходимое, как тайная ступень к будущей власти. Момент победы заговора обычно рассыпает искусственно связанные элементы его, потому что, как скоро достигнута общая задача, каждый из заговорщиков сбрасывает маску взаимоосторожности, инстинктивно соблюдаемой даже в самых дружеских и тесных организациях политического действия, и разоблачает те свои частные, заветные надежды, оправдать которые он рассчитывал чрез достижения цели общей. Люди идеи с ужасом и отвращением узнают, вмешавшихся в ряды их и своекорыстно помогавших им, авантюристов и честолюбцев. Авантюристы и честолюбцы спешат обессилить или истребить людей идеи, чтобы воспрепятствовать им укрепиться у власти. Между недавними союзниками закипают вражда и война, более лютая, чем против вчерашнего общего врага. Вспомним Шиллера. Андреа Дориа пал: притворный республиканец, авантюрист Фиэско, спешит одеться в герцогский пурпур, а республика-

нец искренний, суровый Веррина, спешит утопить своего друга Фиэско в Генуэзском заливе.

Обычное распадение случилось и в заговоре против Клавдия в пользу Нерона. Заполучив распорядительство принципатом в свои руки, убийцы Клавдия — двумя группами — потянули власть в разные стороны по двум совершенно противоположным направлениям. Мы уже видели принципиальный корень распри.

Юношеская гибкость Нерона и гуманные начала, воспринятые им из лекций Сенеки, давали министрам-философам надежду восстановить и упрочить, наконец, зыбкую конституцию принципата в республиканских формах, приблизительных к Августову плану (*ex Augusti praescripto imperaturum se professus*, — отмечает о молодом Нероне Светоний), — тогда как непосредственная близость Агриппины к верховной власти являлась безмолвной программой старого деспотического клавдианства. Торжество конституции не могло совершиться иначе, как уничтожив временничество, исконную язву преж-

них принципатов, — между тем, Паллант, управляя министерством финансов, умел поставить себя так, что казался полновластным распорядителем жизни всего государства. Разница и рознь партий не замедлили определиться с острой резкостью. Агриппина и Паллант сделались живыми символами старого серального деспотизма, преданий Калигулы и Клавдия Цезаря. Наоборот, имя Нерона стало знаменем для всех «порядочных людей» (*boni*), работавших для переворота только в чаянии, что новый государь «возвратит голос онемелым законам». В Нероне хотели видеть, а может быть, первоначально и видели государя-гражданина, государя-интеллекта, с философским образованием, руководимого Бурром и Сенекою, вдохновляемого энтузиазмом к их политическому идеалу — умеренной и доброжелательной монархии, ограниченной, хотя без хартии, но (воображали!) столь же мол прочно, государственным обычаем старых, республиканских учреждений и народных прав.

Нельзя сомневаться, что Агриппина предвидела будущий разрыв с конституционали-

стами. Понятно и то, что, вопреки своей антипатии к их идеям, она, покуда жил Клавдий, бессильна была удалить их от сына, потому что эти люди были совершенно необходимы ей для успеха государственного переворота. Но - каким образом позволила Агриппина влиянию Бурра и Сенеки победить ее влияние на Нерона? Когда и почему молодой принц — при Клавдии, слепой раб материнской воли — успел освободиться из-под ее неограниченной опеки? Какими чарами он, уже в самую минуту переворота, очутился в союзе с чужими людьми, а не с матерью, которой так трепетал, чьей воле только что и так беспрекословно покорялся? По мнению Тацита, воспитатели купили свое преобладание потворством дурным страстям Нерона. Что Бурр и Сенека очень снисходительно смотрели на сладострастные шалости юноши, это — вряд ли сомнительная правда. Но лишь враждебное предубеждение может утверждать, будто Нерон — даже в эту пору — любил в учителях своих только потатчиков. Лучшим опровержением такого упрека является процесс Домиции Лепиды, когда властная

Агриппина заставила таки запуганного сына свидетельствовать против этой его баловницы и потворщицы. Нет, надо думать, что тут была связь благороднее и сильнее. Я объясняю внезапное освобождение Нерона от материнского влияния просто тем, что цезарь находился в том переломном возрасте, когда желание быть взрослым и романтически настроенное воображение почти непременно восстанавливают «детей» против права и опыта «отцов» и отдают их во власть тому, кто умел заговорить умно и красиво с их душою, признал их взрослыми и показал дорогу. Что мальчик-Нерон был нравственно создан Сенекою, прочно засвидетельствовано летописцами. Светоний упрекает философа, что он внушил своему державному ученику предубеждение против ораторов, чтобы тем дольше властвовать над ним своим собственным красноречием. По Тациту, частые речи Нерона к сенату произносились под давлением Сенеки, с целью — со стороны последнего — похвалиться, в каком прекрасном направлении воспитал он молодого государя. Дион Кассий, ненавистник Сенеки, чуть ли не

все пороки последнего Цезаря приписывает влиянию философа. Нет ничего мудреного, если, в свои семнадцать лет, воспитанник Сенеки, в самом деле, думал, как Сенека, и был, пожалуй, даже большим конституционалистом, чем его учитель. Иногда его либеральное рвение опережало политическую программу министров и сената. Он не хотел подписать смертный приговор разбойнику, — спас от порабощающего закона сословие вольноотпущенных, — стремился к радикальной отмене косвенных налогов. Книга Сенеки «De dementia», «О милости», что в данном примере равносильно — «о гуманной власти», вызванная первым из этих случаев, конечно, не только дидактический труд. Поучать своего питомца философ мог бы с большим удобством и пользой наедине. Книга, публично посвященная государю его наставником, как руководство к правлению, не могла попасть в общественное обращение иначе, как по санкции государя. Рассуждение о милосердии написано Сенекою не к убеждению Нерона: это только форма, — но для официозного оповещения в народе идей и взглядов нового прин-

ципата. Этим характером трактата объясняются и те его прямолинейные наивности, слащавые «условные лжи», которые были бы слишком прозрачны и нелепы в интимном поучении, но — именно такими общими местами и громкими фразами всегда вооружаются официозы, толкуя обывательнице «предначертания» власти. «De dementia» — типичский официоз нового принципата; широкое литературное развитие тех же самых взглядов, которые Тацит изложил в сжатом и деловом конспекте первой речи Нерона к сенату. Сенека с того и начинается, что трактат его будет зеркалом, в котором Нерон может любоваться самим собою. Пышно изобразив все величие и объем власти принцепса римского, как наместника богов на земле и владыки всего населенного людьми мира, Сенека заставляет Нерона обязываться такими мягкими обещаниями:

— В этом моем верховном всемогуществе, ни гнев, ни горячность молодости, ни дерзость и упорство человеческие, которые иногда лишают терпения даже самых спокойных людей, ни свирепое тщеславие, — слишком

частое у обладателей большой власти! — явить мощь свою в ужасах, — ничто не способно сделать меня казнителем неправым. Меч мой не сверкает наголо, но лежит в ножнах, и, напротив, скорее заделан в них (*conditum immo constrietum apud me ferrum est*), — настолько я жалею пролить кровь человеческую, хотя бы из самых презренных жил. Для того, чтобы я был милостив к человеку, ему, при отсутствии иных имен, не надо другого имени кроме «человека». Суровость свою я оставляю в далеком резерве (*abditam*), а милость моя всегда наготове выступить вперед (*in prospectu habeo*). Я держусь так, как будто я сам в любую минуту готов предстать с отчетом в поступках моих пред законами, которые я очистил от плесени и вызвал из мрака забвения к всенародному действию (*quas ex situ ac tenebris in lucem evocavi*). В одном обвиняемом меня трогает ранняя молодость, в другом преклонная старость, в этом я приму к соображению его высокий сан, в том ничтожество и низость среды, в которой он вырос, и, наконец, если даже не найду никакого логического повода к снисхождению, это будет

для меня предложением воспользоваться своим правом — просто помиловать. Если бессмертным богам угодно сегодня же потребовать от меня отчета в судьбах вверенного мне рода человеческого, я — к их услугам.

— И точно, Цезарь, — восклицает Сенека, — ты в праве смело заявить, что из прав, вверенных республикой в твою охрану и опеку, ты ни единого не похитил ни силой (как Калигула), ни тайным коварством (как Август).

Эта воображаемая речь Нерона вполне соответствует по духу тем действительным речам, которые, в начале своего принципата, молодой государь, по словам Тацита, часто произносил пред сенатом, «обязывая себя к милосердию». Речи эти, как говорено уже, тоже сочинялись Сенекой, который «публиковал их устами государя», то есть превращал в манифесты, «чтобы засвидетельствовать, какие хорошие правила он преподает Нерону или, — добавляет скептический историк, — из желания похвастать своим талантом». Вернее: чтобы выдать, так сказать, государственный вексель, — закрепить надежду политиче-

ского идеала гласным обещанием главы правительства.

Итак, пред нами, если не прямые цитаты из манифестов, то компактное отражение последних. Как откликались они в государстве? Сенека говорит о громадной популярности, которой встречено правление Нерона, за его безупречность (Innocentia).

— Никогда человек человеку не был дорог в той мере, как ты римскому народу! Но народная любовь обязывает. Заметь, что в народе уже не вспоминают ни об Августе, ни о первых днях Тиберия. Для тебя не ищут примеров к подражанию — ты сам стал примером! Единственная мечта у всех, чтобы весь принципат твой был таков же, как его первый год.

Эти комплименты опять-таки точнейшим образом сходятся с показанием Тацита о больших похвалах, которые сенат усердно расточал Нерону за его конституционное поведение, — «чтобы дух юноши, привыкнув блистать славой даже за маловажные дела, укреплялся к дерзанию на большие».

— Это (выдержать в течение всего принци-

пата начала первого года) была бы не легкая задача, — продолжает министр, косвенно отвечая на слухи и сплетни, неблагоприятные для юного государя, распространяемые клавдианцами и сторонниками других претендентов, — если бы благодать твоя не лежала в самой природе твоей, если бы ты вооружился ею лишь на время. Никто не в состоянии долго носить маску. Природа возьмет верх над притворством, и характер возвратится к своим истинным началам. Для народа римского была не шуточной лотереей будущность под твоей властью (*magnam agebat aleam populus romanus*), покуда твое направление не выяснилось. Теперь же никто не боится за будущее, настолько все уверены в том, что ты не в состоянии внезапно забыться до измены себе самому (*ne te subita tui capiet oblivio*). Все с восторгом видят воочию осуществление истинной республики: государства, которое допускает в себе решительно все проявления совершенной свободы, до тех пределов, за которыми уже разрушилось бы и самое государство (*forma reipublicae, cui ad summam libertatem nihil deest, nisi pereundi li centia*).

Сенека подробно развивает теории взаимной связи между Римом и его государями и широко о неразрывной любви народа к принципату, которая возникает из этой связи. И здесь, как ранее в своем «Утешении Полибия» и затем в книге «О благодеяниях», он убежденный сторонник и проповедник единовластия. Рим перестанет повелевать в тот день, когда разучится повиноваться. Притворный характер августовой конституции Сенека отлично понимает, но приемлет его и одобряет.

— Недаром некогда Цезарь (т.е. Август) «оделся в республику» (*olim se induit reipublicae Caesar*), — теперь союз государя и государства нельзя разорвать без смертной опасности для того и другого: насколько государю нужны силы, настолько республике глава.

Сенека в трактате «*De clementia*» ни разу не называет по имени свирепых предшественников Нерона — Тиберия в старости, Кая Цезаря, и лишь однажды поминает Клавдия: это обстоятельство еще более подчеркивает официальный характер сочинения. В частных письмах Сенеки и философских по-

сланиях к друзьям, суд его над покойными цезарями не прячется за анонимы. Но, в статье, имеющей значение комментария к манифестам, автору, — министру, придворному и дипломату, — этикет допускает осуждать отживший режим, но не позволяет показывать на мертвецов укоряющими пальцами. Ведь Нерон наследовал Клавдию не в результате революции, ни даже открытого военного или дворцового заговора, но в спокойном порядке мирного династического преемства, по закону усыновления. Уклоняясь от постановки точек над *i*, Сенека предоставляет читателю находить между строками прозрачные полемические выпады против зверств Калигулы, против болтливых самодурств Клавдия, и, — в отвращении к ним, — речательства, что, отказавшись от режима деспотических претензий, династия, в лице Нерона, совершает теперь вполне сознательный акт не только общественного великодушия, но и самосохранения. Она откровенно напугана и утомлена царубийством, уничтожившим к этому сроку подряд трех государей: Тиберия, Кая (Калигулу), Клавдия.

— Жизнь царей (Сенека употребляет здесь слово *rex*, понимая его, как законного, справедливого властителя, в противоположность «тирану», насильнику, захватчику власти) тянется до глубокой старости; они передают власть детям и внукам своим, а жизнь тиранов полна ужасов и коротка. Почему? И в чем разница между царем и тираном (ведь внешние формы их положения в государстве и объем власти одинаковы), если не в том единственно, что тиран проливает кровь по жестокому произволу (*voluptate*), а царь не иначе, как по требованиям закона и по необходимости (*ex causa ac necessitate*).

Весьма слабо замаскировано желание Сенеки указать народу, что, в размерах этого скользкого определения, все римские принцепсы до Нерона были тиранами. Неприкосновенную личность божественного Августа он, в этом отношении, ловко обходит тем маневром, что говорит об Августе раньше своего обвинительного тезиса, и даже как бы под защитой известного сентиментального анекдота о примирении Августа с Цинной, столь прославленного в псевдо-классической траге-

дии: — *Soyons amis, Cinna!* Примерами кровавой тирании Сенека берет Дионисия Старшего и Суллу — излюбленный им образец тирана, повторяемый во многих его произведениях. Но эта цензурная хитрость развязывает ему руки к знаменитой, много цитированной впоследствии, отрицательной характеристике Августа, которую он преловко подносит читателю, под страховкой параллели с истинным милосердием юного Нерона.

— «Таков был Август в старости или, пожалуй, даже в пожилых годах. В юности он был грозен (*caluit*), во гневе свиреп (*arsit ira*), много наделал такого, к чему впоследствии сам лишь с ужасом и неохотно возвращал свои раскаянные взоры. Никто не дерзнет определить кротость божественного Августа равной твоей, даже, если уж допустить странное состязание между чувствами юноши в цвете лет и поведением человека в возрасте более, чем зрелом. Он обрел умеренность и кротость, — допускаю. Но ведь это же только после того, как он окрасил море при Акциуме римской кровью, погубил в Сицилии флоты вражеский и свой, осквернил резней алтари в

Перузии, организовал свирепости проскрипций. Никогда я не назову гуманностью отдых переутомленной жестокости (*clementiam non voco lassam crudelitatem*)! Истинная кротость, Цезарь, — та, которую в тебе видим», т.д. Главный базис к своей похвале Нерону Сенека кладет сильной фразой:

— *Nullam toto orbe stillam cruoris humani misisse!* Во всем мире земном ты не пролил ни единой капли человеческой крови!

И подчеркивает умеренность, с которой свершился переворот, доставивший Нерону принципат, едва ли не со шпилькой по адресу императрицы-матери:

— Рим тебе обязан, что не обагрился кровью. Деяние тем более великое и удивительное, что никогда еще меч государственный не вверялся более юным рукам!

Продолжая примеры несносной тирании, Сенека рисует портрет неназываемого Калигулы с такой прозрачностью, что даже цитирует его известную поговорку: *oderint dum metuant!* — «Пусть ненавидят, только бы боялись». Мораль, выводимая Сенекой из этих страшных примеров, оправдывает тех исто-

риков, которые определяли систему принципата первых Цезарей, «как абсолютную монархию, ограниченную правом революции». Государю, который пошел бы дорогой Суллы или Калигулы, Сенека откровенно грозит народным восстанием, дворцовым заговором, убийством. — Жалкая участь такого государя — трепетать в подозрениях пред всеми, не исключая ближайших домашних, — и почитать спасительным только то, чего он, однако, как раз, пуще всего на свете боится: силу оружия. Громоздя преступление на преступление, ибо преступление преступлением подпирается, он — не смея верить ни чести друзей, ни любви детей — живет, мучаясь то в страхе смерти, то почти в жажде ее, ненавистный себе самому еще более, чем двору, которым он повелевает.

Переходя от этой мрачной картины к портрету доброго государя, набросанному эпитетами довольно общих мест, Сенека особенно выделяет одну подробность его предполагаемого влияния на страну:

— О нем говорят втихомолку между собой то же самое, что громким голосом при всех.

Под его правлением отцы желают иметь потомство, и прекращается бесплодие, этот бич государственный. Всякий думает тогда, что не в обиду, а во благо будет его детям, если увидят они свет в таком счастливом веке. Подобному государю порукой безопасности служит его благая деятельность. Ему не нужна охрана. Конвой вокруг него — не более как почетная свита.

Слова эти ярко подчеркивают внутреннее противоречие той открытой борьбы с бессемейностью и убылью граждан, которую римский принципат, начиная с самого Августа, энергически вел путем брачных законов. Но, в то же время, режим всех без исключения преемников первого принцепса делал решительно все, чтобы уронить цену жизни, а, следовательно, и охоту продолжать жизнь собой и семьей своей, в глазах тех самых сословий, которым он приказывал плодиться и множиться, во что бы то ни стало. Свободный римлянин, уклоняющийся от брака и деторождения, — по юридическим взглядам народа, почти что государственный преступник, по общественной морали — непорядочный

человек. Между тем ужас государственной жизни, в смене озверевшего старика Тиберия, безумного Кая, слабоумного Клавдия, в руках Мессалины, Агриппины и вольноотпущенников, разбудил человеческую совесть и поставил ее пассивной преградой между римским гражданством и старинным механическим взглядом на брак, как на племенную поставку новых поколений сенаторов, всадников, свободнорожденных и т.д. Под безобразиями режима поставка переменила свой характер: из поставки на племя она превратилась в поставку на убой, на изгнание, на разорение, на тюрьму.

К чему было иметь детей подданному безумного Калигулы, когда этот зверь обращал их мучения в пытку родителей? Известен ужасный эпизод его принципата. Казнив сына знатного всадника Пастора, Калигула в тот же день пригласил отца к себе к обеду. «Пастор пришел без всякого упрека на лице. Цезарь выпил за его здоровье кубок и приставил к нему шпиона. Несчастный выдержал (испытание), не иначе как будто он пил кровь сына. Цезарь послал Пастору масло и венки и

велел следить, примет ли он их: он принял. В тот самый день, когда он вынес тело сына — нет, когда он его не вынес, — больной подагрой старик лежал за обедом, как сытый гость, и пил напитки, едва приличные в день рождения детей, не проливая ни одной слезы, ни одним знаком не дав печали проявиться. Он обедал, точно вымолил сыну прощение. Ты спрашиваешь, почему? — у него был еще другой... Можно было бы презирать римлянина-отца, если б он боялся за себя: тут любовь к сыну устраняет гнев... и другой сын погиб бы, если бы гость не понравился палачу». (Seneca, «De Ira»). Пастор — только «знатный всадник», но ужасы истребления и надругательства, обращаемых и на действующее поколение, и на ближайшее его потомство, не смягчали убийственной работы своей и на предельных верхах общества. Из детей Германика двое, правда, достигли верховной власти (Кай Цезарь и Агриппина Младшая), но остальные погибли жертвами Тиберия или, позже, Мессалины, и смерти большинства из них были чудовищны. Сорока лет достаточно было, чтобы «кровь Германика» вымер-

да в насильственных смертях до последнего человека, и этим последним был не кто иной, как сам «Зверь из бездны», Нерон Цезарь. Антонии, Домиции, Плавты, Силаны, Помпеи, Манлии исчезают с лица земли, как меловые надписи, стираемые губкой. Никакая семья не могла бесследно выдержать такого свирепого террора, никакая крепость родового союза не могла выстоять под ударами подобных тиранов. Гроб побеждает колыбель и вытесняет ее из домов. Измученные родители задумываются над вопросом, что брак есть не только производство граждан, но и создание новых, обреченных на муки, поколений. Когда, в тяжелые дни Тиберия, общество в умершем Германике, потеряло надежду лучших дней, взрыв гражданского пессимизма был настолько велик, что многие наложили на себя руки, а иные выбрасывали детей на улицу: все равно, мол, — просвета не будет, не за чем вам и жить. Это был острый пароксизм отчаяния, хронически же тянулось то, чем знаменуются решительно все эпохи угрюмых государственных реакций, включая сюда и переживаемые нами русские 1905—1911 годы:

брачность падала, а самоубийство росло. В веке, когда люди политических классов (а о них-то и говорит Сенека и их-то и имели в виду Августовы брачные законы) начинают находить, что даже им-то самим нечего делать на свете и лучше поскорее уйти с него, — естественное оскудение и вырождение политически заинтересованной среды свершается с неуклонною и разительною скоростью, брак разлагается, деторождение замирает. Половая функция расшатанного общества соскакивает с рельсов закона, находит попятную эволюцию к забытым своим первобытностям. Воскресает гетеризм, торжествуют, под разными псевдонимами и масками, формы полигамии и полиандрии, эгоистическое, индивидуальное наслаждение берет верх над семьей, славившейся «ради рождения детей» (*liberorum quaerendomm causa*), быстро растут семейные преступления полового и корыстного характера: кровосмешения, вытравления плода, детоубийства, отцеубийства. Рим пережил несколько подобных, утомительно мрачных эпох. Одну, после тяжкого века гражданских войн, думал прекратить Август, — хотя и

один из главнейших ее виновников и факторов, — когда объявил замирение опустошенного государства и двинул вперед орудия брачных законов: *lex Iulia de maritandis ordinibus*; *lex Papia et Poppaеа*; сюда же относится, как запретительное орудие борьбы с развратом, предназначенное в помощь домашнему очагу, *lex Iulia de adulteriis et pudicitia*. Вспомним серьезное, подчеркнутое значение, которое придает им стихотворный манифест символического Августова столетнего праздника — Горациево «*Carmen Saeculare*».

**О, Илифия! — рождать без болезней
Ты матерям помогаешь своею заботой
немалой,**

**Хочешь ли зваться в молитвах Люциной,
или любезней**

**Слыть Гениталой, —
Юных возрасти под родимым покровом,
Благослови, о богиня, сенаторов думных
решенье,**

**Пусть оно с брачным законом еще поко-
лениям новым**

Даст приращенье.

(Перев. П.О. Порфинова)

**(Diva, producas sobolem, patrumque
Prosperes decreta super juqandis
Feminis, prolisque novae feraci
Lege marita.)**

К эпохе Нерона общее население Рима выросло, сравнительно с эпохой Августа, колоссально, но этот новый Рим уже начинал быть Римом без римлян. Быстро падало процентное отношение старого, основного римского населения, от республиканских родов идущего, к новому, создающемуся чрез освобождение из рабства и чрез иммиграцию иностранцев, пришлому с сирийского и греческого востока, с испанского запада, с галльского и германского севера, с африканского юга. Египетский Нил и сирийский Оронт вливались в Тибр. «Рим» растворялся и таял в мире. А цезари, в гипнозе повелительства миром, не жалели Рима, забывая, что они сами тоже — Рим, не мир, а Рим, и очень подчеркнутый, непрременный, исключительный Рим. Мир в Риме рос, а Рим чувствовал себя обреченным на гибель и апатично шел ей навстречу; вымирал, разрушал свою семью, проповедовал

наслаждение и самоубийство и, начиная с фамилии самих цезарей, перестал рожать. Сенека ставит последнему признаку твердый диагноз, как привычному общественному злу, верно определяет его источник и указывает Нерону единственное лекарство, которое способно сломить недуг: свободу политических слоев общества и улучшенный государственный строй.

Счастливо схватившись за идею упорядочения семьи, сцепив параллельно обязанности отца к детям и государя к гражданам, Сенека убеждает Нерона — из всех титулов власти — держаться только одного: *Pater patriae*, отец отечества, так как он дается не лестью и нельзя заслужить его пустяками (*apellavimus... non vana adulatione adducti*). Известно, что Нерон воспользовался этим уроком о важности титула «отца отечества», и, когда сенат предложил его молодому государю, последний отклонил почеть выразительно скромным: *Quum meuego*, — когда заслужу (Светоний). Это событие несомненно не предшествовало трактату Сенеки, но последовало ему. Иначе министр-философ не мог бы

не сказать хоть нескольких слов о таком удачном совпадении. Вернее, что вся эта тирада об «отце отечества» была подготовкой к эффектной сцене, разыгранной в сенате. Великий инсценировщик, Сенека написал программу спектакля, а Нерон ее выполнил. И опять-таки Сенека задевает память Августа:

— Все прочие титулы сочинены почета ради. Наделали мы Магнов (Великих), Феликсов (Счастливых), Августов (священных, Благословенных, Σεβαστοί), — сколько смогли, столько и навывдумали кличек в угоду честолюбивому величеству власти, лаская правителей льстивыми характеристиками. Отцом же отечества мы назвали государя, чтобы он помнил и знал, что власть, ему данная, имеет характер власти родительской, то есть проникнутой духом кротости (*temperatissima*), о детях своих вечной, свои интересы после их интересов полагающей.

Пользуясь случаем рассказать два анекдота времен Августа — о всаднике Эриксоне, которого граждане на форуме едва не на смерть исколотили стилетами записных книжек своих за то, что этот свирепый человек засек сво-

его сына, и о Тите Арии, отце кротком и справедливом, умеренно судившем сына своего, хотя тот покушался на его жизнь, — Сенека восклицает:

— Как видите, дело не обошлось без мешка со змеями и тюрьмы: Август, судя, помнил не тот лишь юридический казус, что он судит «покушение на отцеубийство» но и то обстоятельство, что он — теперь — член домашнего судилища, приглашенный отцом разобрать его дело с сыном...

Похвала Августу досталась здесь — ради резкой полемической выходки против ближайшей памяти покойного Клавдия Цезаря, который, следуя природной жестокости своего характера и движимый археологическим любопытством, восстановил страшную, давно забытую, казнь отцеубийц. Позднее, мы увидим, Сенека еще жестче клеймит этот свирепый архаизм, относя к его влиянию самые ужасные последствия семейного разложения одичалой эпохи. В Клавдия же метят строки, в которых Сенека рисует контраст доброго государя, окруженного общим благожелательством благодарного народа:

— Молебны (vota) за его здоровье служат по доброй воле, а не под полицейской понукалкой (non sub custode). Если он слегка прихворнет, то болезнь его возбуждает не надежды, — авось, помрет! — но страх — не умер бы? Он уверен, что никто из граждан не помешкает поплатиться лучшим своим имуществом, лишь бы сохранить главу государства, и на все, что в нем приключится, все и каждый в гражданстве смотрят, как на свое, лично их касающееся, дело. Быть подобным государем значит установить с государством ту связь порядочности, наличность которой доказывает, что не государство существует для государя, но государь для государства. Кто посмел бы покуситься на особу такого государя?

Затем комплименты воображаемому государю-идеалу переходят в богоуподобления, необходимые даже и для либерала в стране, которая символизировала свою государственную религию в культе цезарей. Но конечный-то вывод — все-таки — из катехизиса стоической школы:

— Быть выше всех стоит только для того, чтобы в то же время быть лучше всех.

Maximum ita haberi, ut optimus simul habeatur.

Нельзя не обратить внимание на то обстоятельство, что, из всех функций принцепса, Сенека наиболее занимается верховной властью, как высшей судебной инстанцией, и весьма заметно успокаивает публику, чтобы с этой стороны она не ждала злоупотреблений. Это — прямое последствие не только диких азиатских правонарушений Калигулы, но и Клавдиева любительского крючкотворства, которое надоело Риму хуже всякого бесправия, воистину оправдав формулу, что *summum jus summa injuria*. Ведь даже в первой тронной речи своей Нерон должен был обещать, что он не будет увлекаться судебными делами, пристрастие к которым Клавдия отдало все пружины и двигатели государственной машины в руки вольноотпущенников: покуда государь забавлялся процессами, несколько авантюристов душили и грабили Рим.

Сенека рассматривает государя в двух возможностях — судьи и отмстителя: пред преступлениями политическими, обращенными на его личность, и пред преступлениями об-

щеуголовными, обращенными на личность граждан. Для первых Сенека особенно настаивает на гуманности, борясь таким образом с угрозами обвинений в «оскорблении величества», сделавшихся истинным бичем республики в предшествовавшие три принципата.

Личное мщение ниже достоинства государя. Государево дело не мстить, а миловать.

— Убить государя могут и раб, и змея, и стрела, но сохранить жизнь кому бы то ни было может только существо, высшее того, кому жизнь сохраняется. Человек, получивший власть сохранять или отнимать жизнь другого человека, поставлен тем в уровень богов и обязан пользоваться их великолепным даром с благородством — в особенности по отношению к лицам, более или менее близким ему по положению. (Подразумеваются сенат и фамилии, родственные дому Цезарей, истребление которых ревностью верховной власти было ужасом трех предшествовавших правлений.) Если твои враги — какие-нибудь темные мещане, им не стоит мстить уже из-за одной чистоплотности: мошки пачкают руку, которая их давит. Итак — прощение одним,

презрение без мщения — другим. Что касается людей популярных, то — взвешивая между выгодами казни и помилования — надо всегда помнить, что своевременная милость к такому человеку — для государя удобный случай поднять свою собственную популярность (*occasione notae clementioe utendum ast*).

В отношении к преступлениям общего характера Сенека рекомендует политику гуманности, главным образом, потому, что частые и суровые казни дурно действуют на общественные нравы. Зрелище множества преступников утверждает обычное влияние преступления, притупляет впечатление правосудного акта. Привычка, что власть безжалостна, роняет ее авторитет. Положение свое Сенека, возвращаясь к ранее затронутому примеру отцеубийства, доказывает уже прямым выпадом против Клавдия.

— Чем чаще казнь, тем чаще становится преступление, за которое она назначается (*videbis ea saepe committi quae saepe vindicantur*). Отец твой (Клавдий), в течение пяти лет, зашил в мешок (как отцеубийц) больше преступников, чем можно их насчи-

тать за все предшествовавшие века Рима. Покуда это преступление не поставлено было под силу исключительного закона, дети реже посягали на ужас столь крайнего нечестия. Истинно мудрые законодатели, настоящие знатоки человеческой природы, всегда предпочитали не выделять отцеубийство в специальную статью, обходить его, как преступление невероятное, превышающее меру порочности человеческой, чем выставлять его исключительным способом отмщения напоказ и словно к примеру. Отцеубийство у нас в Риме прямо таки создано исключительным законом. Преступников натолкнуло на злодеяние зрелище казни (*facinus paena monstravit*). С тех пор, как вошел в моду мешок (*culleus*) вместо креста (обычного способа смертной казни), любовь детей к родителям не выросла, но страшно понизилась в уровне. Мягкость законодательства — всегда в пользу государству. Так, где редки казни растет сознание общественной порядочности (*consensus fit innocentiae*). Сохрани гражданству веру в его порядочность, и оно будет порядочным. Общественное мнение резче выступает про-

тив преступников общественной честности, покуда считает их не правилом своей среды, но редкими исключениями. Поверь мне: опасное дело — показывать обществу, как невообразимо много в нем лиц, готовых на грех (*quanto plures mali sunt*). Некогда сенат римский предположил было одеть рабов в униформу, в отличие от свободных граждан. Но скоро спохватился, какая бы это была опасность, если бы рабы получили такое простое «наводящее» средство сосчитать господ (*apparuit, quantum periculum immineret, si servi nostri numerare nos coepissent*).

Этот знаменитый социальный анекдот Сенека обращает в довод против уравнительного бесправия смертной казни, ее беспощадная и наглядная свирепость тоже, в скором времени, становится как бы моральной униформой, которая быстро проявляет, насколько порочные элементы превышают в обществе наличную порядочность. Множество казней для репутации государя столько же унижительно, как для репутации врача — обилие похорон. Идеи Сенеки повторил наш Карамзин, когда сказал о Павле Первом: «Он отнял у казни

стыд, а у награды честь».

Заключительные главы первой книги, — полные психологических убеждений к выгодам кроткого правления, главным образом с точки зрения личной безопасности и государства, и государственного строя, — написаны патетическими метафорами в стиле памфлета, сильно нажимающего педаль. Тиран уподобляется дракону, против которого общество, равнодушное к маленьким змеям, выставляет стенобитные машины, — чуме, отчаяние пред которой заставляет народы опрокидывать даже алтари богов, — великому пожару, во время которого граждане уже не помогают друг другу тушить загоревшиеся соседские здания и спасти имущество, как бывает при маленьких пожарах, но соединяются, чтобы разрушить, во имя всеобщей дальнейшей безопасности, весь охваченный пламенем квартал.

Жестокости господ не раз доводили рабов до того, что они мстили, презирая неизбежную затем крестную казнь. Утесненные народы или зрящие пред собой опасность утеснения восстают, чтобы истребить своих притес-

нителей. Часто тиранам приходится видеть во главе восстания своих собственных партизанов (*precesidia*), которые обращают на них уроки вероломства, бессовестности и жестокости, от них полученные. Чего доброго ждать может тиран от людей, им же выдрессированных для преступления (*quem malum esse docuit*)?

— Вообразим даже, что свирепость практична, как мера устрашения, будто она и впрямь может дать безопасность... Но какую? Безопасность тюрьмы или могилы. Государство принимает вид города, взятого штурмом, отвратительный характер общего оцепенения под террором.

«Боже мой! да есть ли большее негодяйство (*malum*) как убивать, свирепствовать, наслаждаться звуком цепей, разорять право и имущество граждан, на каждом шагу своим проливать кровь, уже одним видом своим устрашать мирных людей до того, что они разбегаются с пути твоего? Разве быт наш был бы другим, если бы над нами владычествовали львы, медведи, змеи и другие вреднейшие животные? Да и то эти твари, обви-

няемые нами в свирепости, по крайней мере не трогают себе подобных, даром, что лишены разума: родовое сходство у диких зверей — гарантия безопасности. Но бешенство тиранов не щадит даже собственных семейств: чужестранец, родственник — все одинаковы в глазах тирана».

Эти строки, обращенные против семейных неистовств Тиберия, Калигулы и Клавдия, ясно показывают, что трактат написан раньше, чем сам Нерон обратился к подобным неистовствам, то есть раньше отравления Британика. Иначе они звучали бы либо нелепостью, либо слишком возмутительной наглостью лицемерия, которая не помогла бы новому режиму в общественном мнении, но, наоборот, совершенно бы его компрометировала, как грубо вызывающая льстивая бестактность.

— Сегодня тиран душит зверством своим отдельные лица, завтра — глядишь — усовершенствовался до истребления целых народов.

И, отсюда, первая часть трактата, переходя от намеков политики внутренней к обещаниям политики внешней, — заключается хва-

лой «на земле миру»:

— В регалиях государя нет украшения, более прекрасного и достойного как венки — за благополучие (спасение) граждан: *corona ad eives servatos*. Ни горы трофеев, сложенные из оружия, отнятого у побежденных врагов, ни колесницы, обогранные кровью варваров, ни богатства, добытые на войне, несравнимы с этим знаком мирного отличия. Потому что — сохранить благополучными народы свои — это одарение божественной силы; умертвить же множество людей, каких ни попало, лишь бы больше, это — сила катастрофы: ее имеют и пожары, и землетрясения (*incendii ac ruinae potentyta est*).

Короткость второй книги трактата «*De dementia*» заставляет некоторых предполагать, что сочинение не было кончено или осталось не опубликованным, или же дошло до нас не полным текстом. Она, сравнительно с первой, менее интересна, ибо менее исторична. Во второй главе ее любопытно как бы увещание к Нерону, то есть, по демонстративному характеру трактата, опять-таки обещание от имени Нерона — категорически по-

рвать с эгоистическими традициями семейного режима, который выражал существо свое чудовищными афоризмами Калигулы вроде: «пусть ненавидят, только бы боялись», или «после меня пусть хоть земля сгорит» (*Se mortuo terram misceri ignibus jubt*).

— Не понимаю, — удивляется Сенека, — почему свирепым умам проклятых тиранов удавалось находить, для чувств своих, точно на заказ, такие мощные и энергически точные выражения, тогда как я не смогу припомнить решительно ни одного задушевного и меткого слова, которое вышло из уст государя кроткого и благожелательного.

Конечно, — имеет в виду Сенека, — кроме твоего (Неронова): *quam veilem nescire litteras*, как бы я хотел не уметь писать, — с которого и пошла речь философа о том, что такое есть гуманность.

— Что делать? Хочешь, не хочешь, а подобные приговоры, хотя они делают ненавистной для тебя самую грамотность, хотя ты подписываешь их редко, с горестью и после долгих колебаний, но, время от времени, подписывать их ты должен. Но — подписывай их

всегда так же, как подписывал этот: с тревожной душевой, после долгих отсрочек.

Смятый конец трактата производит и впрямь впечатление недоделанности. Он посвящен анализу различия между кротостью, милостью, гуманностью (*clementia*) и сентиментальностью (*misericordia*, сострадание). Последнюю Сенека объявляет пороком женской слабости, вредным почти в той же мере, как свирепость. Он отрицает слово «прощение» (*venia*).

— Объясню тебе, почему мудрый (т.е. философ стоической школы, которой Сенека представитель, а Нерон, покуда, считается учеником) не прощает. Прежде всего установим, что есть прощение, чтобы стало понятным, почему оно, для мудрого, акт не приемлемый. Прощение есть отпущение заслуженной вины... прощают того человека, который должен быть наказан. Но мудрый не делает ничего такого, чему быть не должно, не оставляет без исполнения ничего, чему быть должно. Следовательно, вину, которую он должен наказать, он признать не подлежащей наказанию, т.е. простить, не может. Но

тот результат, которого мудрый не властен дать актом прощения, он может даровать путем более почетным. Мудрый щадит, взвешивает обстоятельства, снисходит. Выходит как будто, что он простил, а на самом-то деле совсем нет. Простить значило бы признать, что человек, не исполнивший своего долга, имел право его не исполнить. Мудрец не только, вместо прямого наказания такому оплошному, сперва примет в соображение его возраст, способность к исправлению, да не был ли он втянут в дело чужим подстрекательством, да не был ли пьян, да не сумасшедший ли он. Мудрец иногда должен не только отпустить на волю пленников, взятых на войне, живыми и здоровыми, но часто даже — с похвалами, если война была начата ими с честными побуждениями, например, в силу твердой верности присяге, по строгому соблюдению союзного договора, во имя свободы. И это будут не акты прощения, но акты гуманности. Милость, т.е. гуманность, движется свободой воли; она судит не по статьям закона, но по внутреннему убеждению добра и справедливости; от нее зависит — вовсе ли отменить

кару, ограничить ли ее, по собственному усмотрению, до тех или иных пределов ответственности.

Сенека сам сознается, что спор идет, собственно говоря, не о существовании двух понятий, но о словах. И действительно, практическая программа римского министра внутренних дел, мало-помалу, расплылась и исчезла в диалектических силлогизмах философа-стоика. Если первая часть трактата — явное «правительственное сообщение», официальный комментарий гуманнейшего по нравам эпохи своей манифеста к широкой публике, то вторая — не более, как школьная программа на заданную тему, притом разработанная довольно бледно и небрежно. Это слабое и зыбкое разграничение амнистии и помилования возможно в аудитории, с кафедры, но не на форуме с трибуны. И, несмотря на краткость второй части, несмотря на сухую быструю схему ее, теоретические разглагольствования ушедшие в слова от фактов, все-таки, оставляют впечатление какого-то ненужного пережевывания или топтания на одном месте. Слишком много усилий для утверждения слишком

простой и естественной основной истины: «Гуманный правитель должен заботиться о том, чтобы тщательно исследовался повод, требующий наказания, и не подвергался бы наказанию тот, кто имеет в пользу свою смягчающие вину обстоятельства». Из частности трактата, вообще дышащего демократическим (конечно, применительно к римской современности) духом, замечательно человеческое отношение автора к рабам. Сенека, многократно возвращаясь к аналогиям, заимствованным из рабского быта, вводит рабов в круг гуманности наравне со свободными. Он горько прокликает память известного Ведия Поллиона — «чудовища, достойного тысячи смертей», — который бросал рабов в пруд на съедение муренам. «Лучше вовсе не родиться на свете, чем оставить имя свое ненависти веков, чем очутиться — по приговору общественного мнения — в числе рожденных на несчастье общества!»

Итак, вопреки предостережениями Агриппины против философии, как не царской науки, Нерон очутился в руках философов и с убеждением говорил их словами. Все юноши

ненавидят деспотизм и любят свободу и протест. В XIX веке деды наши, на заре своей юности, заучивали наизусть тирады Карла Моора и маркиза Позы, Оду «Вольность», «Кинжал» Пушкина, отцы трепетно зачитывались «Колоколом», мы — Степняком, а римская молодежь декламировала в школах о Бруте, Цицероне, Катоне. О республиканских симпатиях учащейся молодежи, о вольнолюбивых темах ее красноречия говорит отец Сенеки, ритор. Ее любимыми ораторами-образцами были Кассий Север и Лабиен, заклятые враги Августа. Ювенал, которого школьные годы падают на Неронов принципат, с удовольствием вспоминает, как, бывало, они целым классом разносили свирепых тиранов. Не надо забывать, что из сверстников Нерона поднялся и долгое время остался другом цезаря М. Анней Лукан, автор резко оппозиционной принципату «Фарсалии». Гастон Буассье метко указывает, что платоническая реакция в пользу идей и последних борцов былой аристократической республики находила своих представителей в дворцах Палатина, начиная чуть ли не с самого Августа. В 23 г. до Р.Х. он,

по словам Светония, серьезно думал об отречении от власти и о восстановлении республики, *de reddenda republica cogitavit*. «Если бы он остался жив, то восстановил бы республику» — таков некролог, сложенный общественным мнением Друзу Старшему. Даже Клавдий был в юности либералом, то есть, по-нашему бы, скорее консерватором: сторонником аристократической республики-олигархии и, в этом смысле, написал апологию Цицерона против Галла. Так что конституционные увлечения Нерона — совсем не новость в династии, но отличались от прежних тем, что, не ограничиваясь словами, более или менее отразились и в делах. Еще не вкусив сладкого яда власти, — хотя бы и поверхностный ученик стоического философа, — Нерон приступил к принципату с благоговением и великодушием, выражая полную готовность ограничить свои государевы прерогативы для общего блага. И надо было пройти годам «величества» в развращенной дикой палатинской обстановке, среди ничтожного, слабовольного, эгоистического поколения придворных выродков, чтобы он, обучившись презирать сре-

ду свою, а через нее, и все человечество, разбудил в себе инстинкт самодура и почувствовал к власти тот кровожадный, ненасытимо пестрый аппетит, который дал его имени печальное бессмертие.

II

Несомненно дала толчок отчуждению Нерона от Агрипины, в числе других причин, и подозрительная близость к ней Палланта. Нерон в детстве якшался с рабами, в юности, для ночных кутежей своих, не гнушался рядиться рабом, да и всю жизнь потом не был разборчив на общество, но не выносил рабов у власти. Он человеколюбиво отстаивал сословие вольноотпущенников от крепостнических поползновений высших классов, но долго не допускал в сенат сыновей вольноотпущенников (хотя сын вольноотпущенника Сенецион был его интимным другом) ; а тем из них, которые были приняты его предшественниками, не давал хода к магистратным должностям (*honores denegavit*). Паллант, умный, но скучно надменный выскочка, был ему особенно противен. Намек, что Палланту не пановать больше, как при Клавдии, сделан

уже в первой речи цезаря к сенату: «Я не стану тратить времени на разбирательство судебных дел, чтобы, пока я сужу да ряжу истцов с ответчиками, несколько уполномоченных бесконтрольно увеличивали свое могущество». Вообще, эта речь, продиктованная Сенекой, сильно уязвляет клавдианскую партию. Вдовствующая императрица могла согласиться на ее произнесение (потому что вряд ли возможно допустить, будто редакция столь ответственного манифеста не была ей сообщена предварительно) разве лишь второпях, не вдумавшись в ее точный смысл. Либо — как предположил я раньше — с презрительным расчетом уверенной в себе силы: — Пусть сын с министрами своими либеральничают, обманывая и себя, и народ. От слов ничего не станется: либеральные слова умел выкрикивать и Клавдий. Действительная же власть — в моих руках, и мы с Паллантом сумеем поддержать ее престиж не словами, но делом.

Однако первое же вмешательство Агриппины в государственные дела вызвало со стороны Бурра и Сенеки, прочно заручившихся

симпатиями государя, почтительный, но твердый отпор. Они не позволили Агриппине омрачить начало Неронова правления свирепой расправой с оппозицией, которая, хотя и слабо, давала ей чувствовать себя при Клавдии. Жестокая женщина успела нанести лишь две смерти — обе против воли сына и без его ведома. Отравлен был Юний Силан, проконсул Азии, родственник императорского дома: через мать свою, Эмилию Лепиду, дочь Юлии Младшей, он приходился праправнуком Августу. Предлогом к убийству Силана — человека пожилого, глупого, безвольного, спокойно пережившего три кровавых правления с презрительной кличкой «золотой скотины» (*ресус ауреа*), которой всемилоостивейше пожаловал его цезарь Кай, — были выставлены народные толки, что Нерон неправдой попал в принцепсы, слишком молод для власти, и лучше было бы править государством человеку пожилому, не запятнанному преступлением и с более ясным родством Августу.

В действительности же, Агриппина просто опасалась от Юния Силана кровной мести за

смерть его брата, Люция, которого она в правление Клавдия довела до самоубийства. Этого Люция, юношу весьма талантливую и на блестящей дороге, Клавдий избрал было в женихи своей дочери Октавии. Молодые люди были уже помолвлены, Люций получил триумфальные украшения и разрешение устроить Риму роскошные гладиаторские игры, за счет нареченного тестя, принцепса Клавдия. Но рука Октавии нужна была Агриппине для Нерона — тогда еще Домиция Аэнобарба. Стакнувшись с цензором Люцием Вителлием, Агриппина взвела на Люция Силана клевету, будто он живет в кровосмешении с сестрой своей, красивой и кокетливой Юнией Кальвиной, той самой, которую автор «Отыквления» называет «Венерой, принятой за Юнону». Весьма вероятно, что интригам Агриппины помогала в этом скандале фамильная месть Вителлиев, так как Юния Кальвина некоторое время была замужем за сыном Вителлия-цензора, консулом 801 года, братом будущего императора Авла Вителлия, и недавно с ним развелась. Цезарь поверил и разрушил готовую свершиться свадьбу. В то же время, что-

бы добить наповал, Силана опозорили и как гражданина. Вителлий исключил его цензорским эдиктом из сенаторского сословия и, чрез то самое, принудил сложить с себя претуру, которую Силан в тот год исправлял, хотя до срока ее оставался всего лишь один день. Осрамленный, уничтоженный, Силан отомстил врагам своим трагическим скандалом: лишил себя жизни как раз в тот день, когда состоялась свадьба Клавдия с Агриппиной — действительно и откровенно кровосмесительная. Устроил им чувашскую «сухую беду» или японское «харакири» — затем, чтобы подчеркнуть своей безвинной смертью гнусность поведения самих, оклеветавших его, людей. Юнию Кальвину сослали. Клавдию, по слабоумию его, и того показалось мало: он откопал какой-то очистительный молебен времен, якобы, еще царя Тулла Гостилия и отслужил его, с понтификами, в роце Дианы — к великому хохоту и глумлению всего Рима, язвительно недоумевавшего: за чей грех это служится? Силана и Юний или Клавдия и Агриппины? Юния Кальвина имела удовольствие пережить всех своих врагов. Возвраща-

ценная из ссылки Нероном после смерти Агриппины (812), она еще жива была в год смерти Веспасиана (832). Когда последнему доложили об одном чуде, которое приняли за предвестие скорой его кончины: сами собой открылись двери Августова мавзолея, — старик, как всегда шутник и скептик, возразил:

— Это меня не касается. Это Август — за Юнией Кальвиной: она из его потомства.

Таким образом, этой Юнией Кальвиной, по-видимому закончилось вымирание Августова рода даже в боковых линиях, «по прялке». Это случайное обстоятельство дает ей право не быть забытой историками.

Юний Силан погиб смертью Цезаря Клавдия. Его отравили за обедом — всадник П. Целер, — тот самый, которого впоследствии пришлось Нерону выручать от обвинений в злоупотреблениях по азийскому же проконсульству и, — вольноотпущенник Гелий, — в то время один из управляющих азийскими имениями императора, в конце же Неронова принципата могущественный придворный чиновник, которому принцепс, когда отлучался из Рима, доверял замещать его с самы-

ми широкими полномочиями.

Второй жертвой переворота погиб вольноотпущенник Нарцисс, личный секретарь Клавдия — еще недавно смелый защитник Британика. Перед арестом бесстрашный старик успел сжечь свой архив и переписку с Клавдием, чтобы не выдать Агриппине ее тайных врагов, там перечисленных. Нарцисса посадили в тюрьму, под строгий караул. Он лишил себя жизни. Доклад о том вызвал неудовольствие Нерона. Несмотря на то, что Нарцисс вел против него интригу, Нерон питал к этому человеку некоторую симпатию. Тацит объясняет ее тем, что, еще скрытые тогда, пороки самого Нерона находились в удивительном согласии с алчностью и мотовством павшего временщика. Вернее будет предположить, что Нерон, — уже заметив в это время, по указке Бурра и Сенеки, необходимость формировать свою партию, в отпор материнской, — пожалел в Нарциссе человека талантливого, смелого, энергичного и настоящего придворного, беззастенчиво готового на все услуги. Привлечь Нарцисса на свою сторону стоило хотя бы уже для того, чтобы

поставить его противовесом Палланту. Последний, превосходя своего старого соперника хитростью замыслов, всегда уступал ему в прямолинейной дерзости решительных действий. Ведь цезарь должен был помнить, что именно Нарцисс спас Клавдия от поругания Мессалиной, а затем оказался чуть ли не единственным придворным, который, в Клавдиево правление, не давал повадки властолюбивой родительнице Нерона и препирался с ней зуб за зуб, как равный и власть имущий.

Могло влиять в данном случае и воспоминание о защите Нарциссом злополучной Домиции Лепиды, ласковой тетки Нерона. То обстоятельство, что сам Нерон, по воле суровой матери, дал в процессе Домиции Лепиды показание против нее, свидетельствует лишь о его запуганности и жалкой сыновней трусости, но, конечно, отнюдь не о ненависти к сестре своего отца. С оставшейся в живых теткой, Домицией, Нерон остался в отношениях любимого племянника: следовательно, подневольный грех его против загубленной родственницы и благодетельницы был отцовской родней понят и прощен. Сделавшись

принцепсом, Нерон, как будто вспомнил, что он по крови Аэнобарб. Это отмечено и Тацитом, и Светонием. Отказываясь от почестей и знаков отличия лично для себя, он выпрашивает у сената статую для отца своего, Гн. Домиция Аэнобарба, и консульские знаки для опекуна, Аскония Лабеола. Это, конечно, не могло быть приятно Агриппине, употребившей столько усилий, чтобы изгладить из памяти народа время, когда сын ее не был членом императорской фамилии. Со стороны Нерона напоминание, что он сын Аэнобарба, а не кровный Клавдий, звучит дерзким вызовом клавдианству и, быть может, должно было снова подчеркнуть первое заявление молодого государя, — что права его на верховную власть законно обоснованы уже провозглашением в войсках и утверждением сената. Нерон смело воскрешал забытое слово, что система принципата покоится на избирательном начале, и династическое преемство и соображения династических надежд играют в ней роль второстепенную, поддерживаемую обычаем, но не законом. Называя себя Аэнобарбом, цезарь как бы умалял услугу матери,

сделавшей его Клавдием, и парализовал династическое соперничество Британика, Силанов, Плавтов и других возможных претендентов: — Мое, дескать, право не в родстве с покойным принцепсом, но в воле сената и народа. — Я не берусь защищать эту догадку, как очень вероятную гипотезу, но считаю не лишним указать на то знаменательное обстоятельство, что ходатайство Нерона за память отца-Аэнобарба упоминается в рассказе Тацита по соседству с самыми яркими конституционными манифестациями цезаря. Тут — отказ от статуи, от почетной реформы календаря, прекращение политических процессов сенатора Карината Целера и всадника Юлия Денса, недопущение к верноподданической присяге соконсула Л. Антистия Ветера, то есть торжественное признание старой выборной республиканской власти равной в верховных правах с властью принцепса. Не мешает прибавить к этому и маленькое доказательство от противного, — что впоследствии, когда конституционное настроение соскочило с Нерона, и он вернулся к деспотическому режиму своих предшественников Кладвиев, ни-

что не приводило его в большую злость, как имя Аэнобарба.

Не найдя состава преступления в обвинительном акте Юлия Денса (его привлекли было к суду за симпатии к Британику), новое правительство тем самым символически отказалось от привычных со времен Тиберия злоупотреблений законом об оскорблении величества (см. выше в трактате Сенеки, «О гуманности») и лишней раз выставило на вид условный, избирательный характер принципата. Цезарь не усматривает вины в том, что свободный римский гражданин желал бы видеть принцепсом не его, но другого претендента. Разумеется, при таких условиях, казнь Нарцисса, которого тоже, кроме откровенных симпатий к Британику, политически обвинить было не в чем, оказалась особенно неуместной и бестактной, бросив преждевременную тень и на конституционную искренность, и на милосердие юноши-государя. Ведь Нерон заявил, принимая власть, что старых обид не помнит и — хотел бы разучиться писать, чтобы не подтверждать смертных приговоров.

А что люди Нарциссова закала становились нужны Нерону и его правительству, доказывал каждый наступающий день. Заносчивость Агриппины росла неукротимо. Надо отдать справедливость этой смелой женщины: она много способствовала расширению женских прав в Риме — если не через закон, то через обычай, через привычку народа видеть хладнокровное и уверенное господство женщины над законом. Недаром Тацит характеризовал свадьбу Клавдия и Агриппины, как поворотную эру гражданского строя: **versa ex civitas!** «Все повиновалось женщине, не относившейся шутливо к делам государственным: узда ее была твердо натянута и держалась как бы мужской рукой». Переступив через закон о кровосмешении, входит она во дворец Клавдия и сразу являет себя в нем хозяйкой, равноправной с мужем, если не больше мужа. Тацит удачно обмолвился, назвав ее идеал власти царственным (**regnum**). В конце концов, авантюристка, навязанная Клавдию в жены сватовством из лакейской, умела повернуть дело так, что брак ее с дураковатым

принцепсом должен был являться в глазах общественного мнения чуть не *mesalliance*'ом с ее стороны. При каждом удобном случае Агрипина выставляет на вид свое династическое превосходство над мужем: она дочь Германика и Агриппины, внучка Агриппы и Юлии, правнучка Августа; это ее предки основали империю и утвердили ее пределы; на ней играют лучи их исторической славы. В ее лице принципат Клавдия получил подкрепление последней юлианской кровью, и за эту услугу она считала себя в праве требовать соучастия в принципате, и властью, и внешним почетом. Ее претензии простирались даже на военную власть. Она настояла, чтобы прирейнский город Убян (*oppidum Ubiorum*), в котором она родилась, центр германского края, когда-то присоединенного дедом ее, Агриппой, был превращен в военную колонию и получил ее имя: «*Colonia Agrippinensis*», — ныне Кельн. В качестве внучки Агриппы и дочери Германика, распространителей римского могущества и на германский север, Агрипина председательствовала, как триумфаторша, в торжественной церемонии по поводу плене-

ния британского царька Каратака. Она восседала — хоть и на отдельном помосте, но наравне с Клавдием, — впервые для женщины, впереди римских знамен, — и перед ней, наравне с цезарем, склонился знаменитый пленный вождь, благодаря за помилование. В не менее торжественной обстановке явилась Агрипина на празднество открытия канала из Фуцинского озера.

Это замечательное торжество заслужило себе у Тацита красноречивую страницу подробного описания, на несообразностях которого ловят старого римского историка скептики, вроде П. Гошара, отрицающие не только правдоподобие Тацитовой летописи, но и самую ее подлинность. У Тацита праздник на Фуцинском озере изображен в размерах грандиозных и красками ярко размалеванного лубка.

«Около того же времени была прорыта гора между Фуцинским озером и рекой Лирисом. Чтобы заставить посмотреть на великолепие работы большее количество народы, устроили на самом озере морское сражение, какое, вырыв пруд за Тибром, но только с бо-

лее легкими судами и с меньшим их количеством, дал некогда Август. Клавдий снарядил триремы и квадриремы с девятнадцатью тысячами человек, опоясав окружность (озера) плотами, чтобы не было возможности для бегства, но так, чтобы все-таки был простор для действия веслами, для ловкости кормчих, набегов кораблей и всего обычного сражения. На плотам стояли манипулы преторианских когорт и взводы конницы, а впереди их укрепления, с которых могли быть пущены в дело катапульты и баллисты. Остальную часть озера занимали матросы на крытых кораблях. Берега, холмы и горные вершины были наполнены наподобие театра бесчисленным множеством народа, прибывшего из ближайших муниципий и даже из самого Рима по жажде к зрелищам или из угождения государю. Председательствовали он сам в роскошном военном плаще и неподалеку от него Агрипина в хламиде из золотой ткани. Хотя бой шел между преступниками, но с воодушевлением храбрецов, и когда было много раненых, сражавшиеся были освобождены от избиения.

По окончании зрелища был открыт канал. Небрежность работы была очевидна, так как он не был достаточно углублен, сравнительно с дном озера или серединой его. Поэтому, по прошествии некоторого времени, были вырыты глубокие подземные каналы и для нового привлечения народа было дано зрелище боя гладиаторов на мостах, накинутах для битвы пехотинцев. Было даже предложено на месте истока озера угощение, но оно причинило всем большой страх, когда хлынувшая с силой вода стала увлекать за собой то, что находилось всего ближе, между тем как находившееся дальше опрокидывалось или было напугано треском и шумом. В то же время Агрипина, воспользовавшись испугом государя, стала обвинять Нарцисса, заведовавшего этими работами, в жадности и хищении, Но он не смолчал, жалуясь на женскую несдержанность и на чрезмерные ее виды (на господство). («Летопись», XII, 56, 57. Пер. В.И. Модестова.)

— Что сказать об этом зрелище? — недоумевает П. Гошар. — На озере оказался флот трирем и квадрирем, достаточный, чтобы

поднять 19,000 человек. Какими же путями доставлены были туда, в сердце Марсийских гор, за двести километров от моря, по ущельям, трудно проезжим и для простой-то тележки, все эти триремы и квадриремы?

В самом деле, несколько похоже на то, как если бы Екатерина II или Николай I, хозяева еще деревянного флота, затеяли морские маневры где-нибудь на Ильмене или Онежском озере.

Можно было бы предположить, что суда были выстроены на Фуцинском озере. Но сколько же тогда времени должна была взять подготовка этою праздника, если для него надо было выстроить целый флот? сколько тысяч рук она заняла? каких безумных денег должна была стоить и как кормилось это огромное скопище, равное населению большого города в горной пустыне? И так как канал не удался, то куда же девались потом с озера морские суда — все равно, привезенные ли, на месте ли выстроенные?

— Девятнадцать тысяч вооруженных «смертников» должны были биться между собой и убивать друг друга. Это целый военный

корпус. Одного хорошо вооруженного человека достаточно, чтобы конвоировать пятерых безоружных и даже более пленников. Но когда оружие находится в руках людей, обреченных на смерть, которым терять нечего, да еще представляют они собой сплоченную массу почти двадцатитысячного корпуса, — вряд ли даже тройное количество надежных солдат могло быть достаточной гарантией, что «смертники», чем избивать друг друга, не вступят в кровавый рукопашный бой со своим конвоем. Картина, воображаемая Тацитом, требует мобилизации громадной армии мало-мало в 60.00 солдат, — десять легионов! Такого количества солдат при Клавдии не было в Италии. Это значило бы вытребовать на Фуцинское озеро более трети всех, рассеянных по провинциям, войск, разделавшихся при Клавдии на 26 легионов (Пфитцнер). Скопление же громадной двадцатитысячной массы вооруженных рабов и преступников совершенно противно римской общественной психологии, всегда видевшей в вооруженном рабе опаснейшее пугало (см. I том, — сколько политических процессов за вооруже-

ние рабов!), всегда смущенной памятными тенями Спартака, Эвна и др. Войско Спартака началось с шайки в 78 человек, вооруженных вертелами и кухонными ножами, и когда он в пух и прах колотил преторов Клавдия и Вариния, у него еще не было и трети тех сил, что будто бы собрались для самоубийственных игр на Фуцинском озере. Любопытно знать, — иронизирует Гошар, — если эти люди были так мало расположены драться, каким образом их туда привели?

Для того, чтобы поддерживать порядок на судах и вынуждать «смертников» к бою, озеро было опоясано плотами, на которых расположились преторианские когорты, легионы, кавалерийские отряды и артиллерия: катапульты и баллисты (метательные орудия). Как и в недоумении с флотом, позволительно спросить: легкое ли дело мобилизовать все это в горной местности, удаленной от жилых центров? Но допустим: на эту часть спектакля могли смотреть, как на артиллерийские маневры, почему и Клавдий председательствовал на празднике в военном плаще главнокомандующего. Зато совсем невообразим пояс

из плотов вокруг всего озера. Ведь это пятьдесят километров понтонного сооружения! Да еще — будто бы достаточно солидного, чтобы не только держать на себе целую армию, но, в случае надобности, и дать ей простор к военным действиям.

В той подробности, будто первая неудача открытия разбила праздник как бы пополам и он был окончен, по исправлении канала, «по прошествии некоторого времени», чувствуется, что Тацит неявно представляет себе происшествия, о которых пишет. Если финансовое напряжение государства для Фуцинского праздника было так велико, вряд ли возможно было повторить его на близком расстоянии: маневры стоили бы дороже всякой войны! «Вырыть глубокие подземные каналы», т.е. пробить в горах туннели, тоже нельзя скоро... Сверх того, из Плиния Старшего нам известно, что Фуцинский водоотвод при Клавдии так и остался не конченным, а при Нероне и дальнейших принцепсах работы были заброшены. Возобновил их, по свидетельству Спартиана, только Адриан. Фуцинское озеро (Lago di Celano) благополучно про-

существовало до половины XIX века. Между 1854—1865 годами римские банкиры, князь Торлониа, усиленно предприняли его осушение — по древним следам — чрез выводной туннель в реку Лирис (Гарильяно).

Но как бы то ни было, правду ли пишет Тацит или заблуждается по неверным источникам, был ли то праздник открытия канала или только закладки работ, но какой-то праздник на Фуцинском озере при Клавдии был. Может быть, вдесятеро менее людный и великолепный, но был. Это несомненно, как и то, что Агриппина на празднике этом играла роль первенствующую, председательскую, и настолько вошла в нее, что возвысила голос, как государственная представительница, по государственному делу, в присутствии самого принцепса.

— Это не твое бабье, а государево дело! — дерзко возражает ей виноватый казнокрад Нарцисс. — Ты превышаешь свои права, это с твоей стороны узурпация власти! — Но сам Клавдий не посмел ее остановить, чувствуя за женой авторитет более сильный, чем простое гражданское возмущение слишком очевид-

ным государственным хищением.

Агрипина пожелала подниматься на священный Капитолийский холм в коляске, что допускалось только для жрецов, да в случае перевоза богослужебной утвари. Ранее посягнула было на подобное право Мессалина, но ее выходка произвела огромный скандал и была признана незаконной. Агриппине извинили; даже строгий Тацит снисходительно замечает, что, хотя почет был и не обычен, но Агрипина заслужила его, как единственный в истории Рима пример женщины, которой выпало счастье быть дочерью, сестрой, женой и матерью императоров. Она раздавала высшие должности (напр, претуру — Сенеке) и погубила целый ряд властных врагов, забирая себе их имущество, — в том числе такого важного чиновника, как проконсула Африки, Статилия Тавра. Ее совет решал вопросы первостепенной государственной важности, — например, об единоличном командовании гвардией. Заступаясь за Вителлия, она повлияла на Клавдия не столько просьбами, как угрозами (*minus magis quam precibus*), и, как мы видели, эта Августа, наследница Юлиев,

действительно, имела чем пригрозить.

Завоевав столько привилегий от Клавдия, Агрипина одержала несколько побед и при Нероне, хотя уже не столь блестящих и более показных, чем существенных. Ее кровожадная мстительная энергия немедленно споткнулась о противодействие Бурра и Сенеки. Но — на словах — сын допустил мать ко всем делам государственным и своим частным, провожал ее носилки, как низший, славословил ее по войскам лучшей матерью, облагодетельствовал город Анциум, в котором она произвела его на свет. Агрипина желала присутствовать при заседаниях сената. Ей уступили, но лишь на половину: сенат стал собираться не в курии, а во дворце государя, и Агрипина слушала прения из соседней комнаты, через нишу, завешанную ковром. Нельзя сказать, чтобы первые заседания правительствующей корпорации порадовали императрицу. Вопреки ее противодействию, оживший сенат сломал некоторые клавдианские постановления: восстановил в полной мере Цинциев закон, воспрещавший брать плату за хождение по судебным делам, тогда как

Клавдий только ограничил аппетиты предельным гонорарам в 10,000 сестерциев, (1,000 рублей); отменил тяжелое обязательство давать гладиаторские бои, навязанное при Клавдии лицам, вступившим в низшую магистратную должность, — в квестуру. Бесцеремонность, с какой сенат отнесся к невыгодным для аристократии законам, освященным волей покойного и уже божественного (divus) принцепса, возмутила Агриппину. А — что до Цинциева закона — конечно, он должен был казаться диким в особенности ей — наследнице покойного Крипса Пассиена, который нажил адвокатурой миллионные средства. Но протест ее пропал даром. Зато сенат определил вдовствующей императрице-матери двух ликторов, тогда как даже Ливия, вдова божественного Августа, лишь с великим трудом получила одного, и назначил ее главной жрицей, то есть блюстительницей культа, нового бога Клавдия. По Диону Кассию, Агриппина давала аудиенции посольствам, рассылала рескрипты народам, администраторам и царям. Но знаменита сцена, как на приеме армянского посольства, она

вздумала председательствовать в торжественном собрании сената, наряду с императором, и уже направилась было к ступенькам трона. Наглость вызова к равенству, который решительная женщина бросала в лицо принцепсу и курии, ошеломила присутствующих: все оцепенели от испуга. Скандал предотвратил Сенека. Он шепнул Нерону, — тот, встав с трона, пошел навстречу матери — как бы в порыве сыновней почтительности — и, не допустив до дерзкой выходки, под видом особого внимания и ласки, увел Агриппину из зала заседания. Впоследствии Нерон жаловался, что мать его протягивала руки к дипломатическим отношениям и военным делам. Но главнокомандующим для армянской войны, все-таки, был назначен не ее кандидат, бездарный, но богатый куртизан Уммидий Квадрат, а Домиций Корбулон — и именно затем, чтобы показать народу благонамеренную самостоятельность государя от дурного материнского влияния; чтобы опровергнуть ходячий упрек, что — «уж какой оплот республике молокосос, которым командует женщина» (*quod subsidium in eo qui a femina regeretur*).

Герман Шиллер хорошо замечает, что, — не оформленное никаким государственным актом, — сорегентство Агриппины принималось гораздо серьезнее в провинциях, чем в Риме, где оно сводилось к внешним знакам императорского почета. День рождения Агриппины праздновался, как день рождения самого Нерона. Арвалы возносили за Агриппину молитвы, творились обеты в ее честь. Шиллер проводит, по Mionnet, длинный список греческих и азиатских монет, с изображением Агриппины — одной или вместе с Нероном. В Риме голова одной Агриппины явилась лишь на медных монетах; на золоте и серебре она только сопровождала Нерона.

Женщину, лишь внешне честолюбивую и менее одержимую жаждой деятельности, все эти побрякушки власти должны были удовлетворить с избытком. Но Агриппина была глубже. Она мечтала о военной и всенародной присяге, о руководительстве международными отношениями, о владычном праве над жизнью и смертью сановников государства. Впоследствии Нерон и Сенека, оправдываясь в убийстве Агриппины, говорили, что,

когда надежды императрицы не сбылись, она восстала против льгот, милостей и подарков государя народу. Тут нет ничего невероятного. Разочарования такой гордой и сильной женщины, как Агриппина, должны быть мстительны.

Тем не менее и побрякушки внешних почестей, которые сперва ее не удовлетворяли, а потом стали раздражать и наталкивать на бестактные протесты, повлияли на исторический склад принципата гораздо больше, чем предполагала гневная императрица. Благодаря Агриппине, сильно развилась и шагнула вперед в римском государственном строе и общественном создании идея «императорской фамилии». Ее вообще родила и воспитала для Рима семья Германика. При Августе и Тиберии, Рим знал лишь «семью принцепса», — конечно, весьма влиявшую на правительственный курс, но — частным порядком. Официально она оставалась к нему неприкосновенной, за исключением тех случаев, когда члены цезаревой семьи получали важные должности и назначения, напр. Марцелл, Агриппа, Друз, Германик. Но и тут — в тео-

рии, по крайней мере, — влияние их объяснялось занятыми должностями, а не близостью к «первому из граждан». Государство делало цезарю любезность, избирая своих главных чиновников из его семьи, но твердого догмата, что семья эта фатально превозвышена над другими уже одним своим правом родства с принципсом и должна быть снабжена исключительными привилегиями, — не существовало. Императорская фамилия — понятие династическое. Августу не позволили создать и укрепить ее (попыток он делал много), с одной стороны, республиканские фикции и декорации, которыми он одел свой принципат (*induit se reipublicae*); с другой — семейные несчастья, болезни, ранние смерти и нравственное банкротство его кровного потомства. Тиберий менее всего заботился сохранить около себя какую-либо «фамилию»: этот странный скептик, злодей и талант, всю жизнь провел, по возможности, среди чужих ему людей, а родственников своих истреблял с методической последовательностью, которой выучился у деспотов Востока. Особенно ярая и напряженная вражда его к Агриппине

Старшей и сыновьям Германика обострялась именно тем, что он не выносил династической кичливости плодовитой внучки Августа. А она, скончавшись в ссылке чуть ли не голодной смертью, все-таки, победила Тиберия из-за гроба: в лице Кая Цезаря (Калигулы) принципат сделался достоянием не только сына Германика, но именно всего Германикова дома. Шальной характер безумного Цезаря Кай придал его фамильным пристрастиями дикую окраску скандала и преступления, но, во всяком случае, он, первый из принцепсов, сделал решительный опыт, хотя и очень грубый и бестактный — распространить престиж императорской власти на свою кровную родню. Кай заставил сенат поминать в официальных актах сестер его, и, когда старшая из них, Друзилла, умерла, объявил ее богиней, святой, *diva*. Требования цезаря выполнялись, но с отвращением, казались незаконными, вызвали насмешки и негодование. Агриппина шла по следам покойного брата гораздо более твердыми и успешными шагами. Она первая объяснила римским принцессам, что значит титул Августы, и показала

собственным примером, как им надо пользоваться. Агриппина создала и начала придворно-политическую женскую эру. Ее предшественница, Мессалина, при всех своих властных капризах, — еще только жена императора: ее преемница, Поппея Сабина, — уже императрица.

Конечно, нарастание женовластия и мощная его представительница имели против себя сильную мужскую оппозицию. При Клавдии Агриппина ее не ощущала, потому что, как ни велики и заметны были нравственные недостатки Августы, она все же представляла собой лучшую, умнейшую, наиболее надежную часть правительства. Властная женщина в соседстве принцепса не смущала самолюбия патриотов, потому что Клавдий, — выражаясь сильным русским словом, — был «сам хуже всякой бабы», и жена внушала надежд и уважения больше, чем муж. Со смертью Клавдия, политическая фигура Агриппины потеряла выгодный фон и не только перестала симпатично выделяться, но еще — неожиданно — сама вдруг сделалась для Нерона и его министров таким же фоном —

контрастом, как для нее был Клавдий. Передовая интриганка сороковых годов оказалась вредно отсталой в половине пятидесятых. И, как скоро женовластие уже не окупало себя общественной пользой, мужская гордость римлян возмутилась против него. Агриппина потеряла всякую популярность, в ней видели символ и орудие реакции и, негодуя на возможность реакции, еще больше негодовали, что она может быть создана капризами женской воли. Общее недовольство образом действий императрицы, явно клонившимся к ущербу и расчленению верховной власти, было на руку всем, желавшим положить бездну между державными матерью и сыном. А в особенности, конечно, министрам Нерона, которым императрица-мать стала — как терн в глазу, парализуя назойливым деспотизмом своим лучшие начинания новой правительственной системы.

Гримм хорошо замечает, что «лицемерный характер государственного строя, созданного Августом, не только лишал все сделанные им уступки значения, но даже содействовал развитию чисто деспотических склонностей

некоторых принцепсов. Обладая фактически совершенно не ограниченной властью, такие личности, как Калигула, как Нерон, как Месалина и Агриппина, постоянно раздражаются необходимостью соблюдать известные установившиеся формы вежливости по отношению к фактически бессильному сенату, к магистратам и народу. Эти чисто внешние, но обязательные формы вызывают в них желание показать, что это лишь формы и что на деле они всемогущи. Калигулу, например, раздражала даже мысль, что именно сенат дарует и подносит ему всякие титулы и почести, «точно они (сенаторы) стоят выше его» и что они оказывают ему приятное, «точно он стоит ниже их». В сестре Калигулы, Агриппине, матери Нерона, эта строптивая надменность своеволия, — очень заметная и в матери ее, добродетельной Агриппине Старшей, только в более симпатичных проявлениях, к тому же заметно смягченных и прикрашенных благоволением к ней Тацита, — сказывалась постоянными взбалмошными капризами. Не только по адресу сената, магистратов, министров и народа, но и — всего более — по адресу сына

ее, принцепса Нерона Цезаря. В ней решительно не было политических чувств и поддержки Филарета Романова, который, при первой встрече с венчанным сыном-юношей обменялся с ним земным поклоном — «и долго оба оставались так, не могли ни тронуться, ни говорить от радостных слез». За сим Филарет пробыл соправителем Михаила Федоровича, а, в сущности, не венчанным царем русским четырнадцать лет, при невозмутимо мирных отношениях с сыном-государем, который тоже шел пешком за его отцовскими санями, как Нерон за носилками Агриппины. Горячая и нервная — вся в мать — Агриппина поссорилась с сыном в первый же месяц соправительства, обострила отношения до совершенного разрыва в четыре месяца, перевоспитала уважение в трепет, а трепет в ненависть, у которой хватило терпения на пять лет, а потом ненависть уже потребовала убийства.

При всем своем огромном уме и талантах, Агриппина имела множество чисто женских слабостей и, в числе их, — отсутствие чувства меры: что может вместить человеческое тер-

пение, чего — нет. Как ни тяжеловесна была она для нового режима, с ней не хотели и боялись ссориться. Это очень заметно и понятно. Нет оснований не верить впоследствии исповеди Нерона о том, как мать измучила его необходимостью вечно оберегать свой государственный престиж от ее властных выходов. Тем не менее, шероховатости сглаживались, стараний к миру было много, на императрицу сыпались почести. Если бы столкновения между ней и цезарем не сошли с политической почвы, то, по всей вероятности, выработался бы какой-нибудь *modus vivendi*, если не к взаимудовольствию, то к взаимотерпимости обеих сторон. Но, когда Агриппина вздумала вмешаться своим запоздалым материнским надзором еще и в интимную жизнь Нерона, произошла одна из тех внезапных ссор, которая так часто и остро вспыхивают между полувзрослыми сыновьями и родителями, не умеющими своевременно понять, что чада их уже не малолетки, слепо подвластные наказующей руке и должны получить за хорошее поведение — конфеты, а за дурное — розги.

Случилось это, как водится, из-за «первой любви».

АКТЭ

В один прекрасный, хотя и несколько скандальный, день 809 года римской эры, 56-го по Р. Х., палатинский двор цезаря Нерона, а еще больше двор императрицы-матери, Августы-Агриппины, были взволнованы известием, довольно обыденным во все времена и при всех дворах: юный принцепс обзавелся фавориткой. Честь разбудить дремавшее доселе сердце государя первой любовью выпала на долю вольноотпущенницы Актэ — женщины, которую привязанность Нерона и еще более ее любовь к Нерону обессмертили и сделали предметом идеализации для несчетного числа поэтов, драматургов и романистов. Где Нерон спознался с Актэ, неизвестно. Быть может, он влюбился в нее, при встрече в каком-нибудь кабачке, во время пресловутых ночных бродяжничеств своих по Риму. Но вернее, что ее предоставили Нерону его министры, Сенека и Бурр, заметив, что юный повелитель их вступил в возраст, когда трудно

обойтись без постоянной женской привязанности, а свою законную супругу, унылую и скучную Октавию, он, при всей ее знатности и добродетели, терпеть не может. Фавориток государей всюду не любят и презирают, но когда государь начинает мечтать о фаворитке, каждая дворцовая партия старается, чтобы в фаворитки попала ее женщина, а не чужая. Известно, что Актэ принадлежала к фамилии, то-есть к дворне Аннэев, — род, главой которого в данное время был именно Сенека. Этот великий государственный муж, моралист и философ, играл в эпизоде с Актэ некрасивую роль посредника-попустителя и даже, чтобы императору не было слишком зазорно любезничать с недавней горничной, пристроил родственника своего, Аннэя Серена, служить ширмой для нежных походов Нерона. Был пущен слух, будто Актэ в связи с Сереном. Он осыпал ее подарками, за которые платил Нерон, и посещал ее, как влюбленный содержатель, но не далее, чем до прихожей, уступая затем свои показные права и место цезарю. Роль— нельзя сказать, чтобы из завидных. Она была бы смешна на сцене, в опе-

ретке, в жизни же — просто гнусна.

А между тем Серен это оставил в сочинениях Сенеки и в одном стихотворении Марциала след и имя, как личность не заурядная среди золотой молодежи своего времени — среди «центурионов с козлиными бородами», которых сатирик Персий высмеивал, как одну из пошлейших язв Неронова двора. Уже из того обстоятельства, что человек этот был впоследствии назначен префектом римской полиции, *praefectus vigilum*, явствует, что он имел некоторый образовательный ценз. Должность эта, вначале, при Августе, соответствовавшая бранд-майору, начальнику пожарной части, впоследствии осложнилась и расширилась; будучи полувоенного, полусудебного характера, она требовала от офицера, ее занимающего, юридических знаний, настолько серьезных, что иногда императоры римские назначали на обер-полицеймейстерский пост своих чиновников *ab epistulis* и *a libellis*, что соответствует современным начальникам «собственной его величества канцелярии» и «комиссии прощений, на высочайшее имя приносимых». Еще менее можно

сомневаться в философской эрудиции Аннэя Серена. Ему посвящены три весьма важные трактата дяди его, Сенеки, — в том числе одно из самых сильных и глубокомысленных произведений философа — «De tranquillitate animi» («О спокойствии души»). Трактат этот изобилует данными для характеристики Серена. Он открывается, вместо предисловия, подлинным письмом молодого человека. Серен рисует Сенеке свой нравственный портрет, жалуется на обуревающие дух его сомнения и страсти и просит у мудреца лекарства от духовного недуга, который можно было бы назвать этическим малокровием, нравственной бледной немочью. Пред нами — душа, отравленная сознанием своей пустоты, пылкая, но слабая; ей внятна, доступна и любезна теория добродетели, но внедрить ее в себя, усвоить ее к практическому житейскому опыту, дать ей прикладное направление Серен бессилён. Раздвоенность мысли и воли наполняет его смутным беспокойством, он изнывает в тоскливом недоумении: откуда эти темные муки? что, собственно, творится с его душой? Он любит жизнь простую, скромную,

душевную, но — насмотрится на блеск и роскошь придворного света, и уже смущен, захватывает его обаяние этой театрально-мишурной жизни. Дух восстает против нее, а глаза не сыты: *facilius adversus illam animum meum quam oculos attollo*. — Я возвращаюсь из дворца не хуже, чем был, но тревожнее. Меня мучит сомнением что-то вроде тайного сожаления: а вдруг вся эта, мной пренебрегаемая, жизнь лучше моей?.. — Конечно, Серен владеет своими сомнениями: ничто в них не меняет его, но он не смеет сказать, чтобы ничто его не задевало. Сегодня Серену противны все виды деятельности, созданные честолюбием человеческим, завтра он вне себя от стыда, что ничего не делает, да и нечего ему делать. Он способен на благие порывы, умеет вдохновляться идеей благородного подвига. Но — «рыцарь на час». Первое препятствие, затруднение, оскорбление, — и энергия его разбита; он возвращается к безделью, лени, с готовностью лошади, которая, когда хозяин правит домой, ускоряет шаг, чтобы поскорее добраться на покой в конюшню. «Суждены нам благие порывы, но свершить ничего не дано». —

Я ни болен, ни здоров (*nevaegroto nee valeo*). Не тянет меня определенно и сильно ни к добру, ни к злу, в том-то и есть мое несчастье. Я последователь стоической философии, ученик великих мудрецов, Зенона, Клеонта, Хризиппа. Если из них ни один не управлял государством, то, с другой стороны, ни один из них не отказывался от надежды, что его последователи управлять государством будут (*quorum tarnen nemo ad rempublicam accessit, nemo non misit*). Не пуститься ли мне в погоню за консульским саном? Не потому, чтобы меня соблазняли пурпур и связи ликторов, но чтобы быть полезным моим друзьям, моим близким, моим согражданам, наконец, всему роду человеческому? Но, едва подумаю так, глядь, уже ползет в мысли какое-либо житейское возражение, чтобы обескуражить мою волю, представить мне и почести, и власть не стоящими нужной для них затраты сил. И снова погрязаю в одинокой, томительной апатии. Оставьте меня в покое, человечество! Потратить день на что-либо, кроме самозерцания, тогда для меня самая жестокая, невознаградимая потеря. Мне хочется са-

моизучения и самосовершенствования, я становлюсь только сам себе интересен, мне нет дела ни до чего постороннего, я не любопытствую, как в чем обо мне судят, я желаю одного: чтобы дух мой, отстранив от себя все заботы общественные и частные, наслаждался совершенным спокойствием.

Разумеется, все эти уединенные минуты обращаются Сереном на тот себялюбивый самоанализ, который в наше время многие грубо, но справедливо называет «самоковырянием». Это резкое слово подходит к состоянию Серена тем более, что он сам прибегает к такому же грубому уподоблению:

— Когда я внимательно исследую свои недостатки, некоторые мне кажутся до того очевидными, что я как бы нащупываю их рукой; другие не так наглядны и прячутся в недрах моей природы; третьи владеют мной не постоянно, но перемежающимся припадками: и вот эти то, в особенности, страшные враги мои... Никогда не знаешь ни места, ни обстоятельств, в которых они на тебя нападут.

Как все раздвоенные и тоскующие умы, Серен много и внимательно читает. Но книга

для него — новый источник нравственных самоистязаний. Возвышенные, достойные подражания книжные примеры дарят его «пленной мысли раздраженьем», честными гражданскими побуждениями благородного и литературно-образованного воображения, но, в то же время, и новыми насмешливыми доказательствами полнейшего отсутствия в нем воли. Он быстро воспламеняется, но жизнь брызнет на него холодной водой, — он и погас. Всякая цель теряет в его глазах цену, как только он начинает к ней стремиться. Начнет заниматься литературой, — помнит очень хорошо, что взялся за перо с утилитарно-дидактическими целями, чтобы беседовать с современностью на пользу ее, а никак не с расчетом на посмертную славу в потомстве. Значит, надо говорить с публикой попросту, только дело, не тратя времени на словоизвитие, простым слогом. — Но, едва я начинаю мыслить, ум наполняется красивыми фразами, они растут, надуваются, речь начинает парить еще выше мысли, и, наконец, я забываю свои первоначальные намерения и строгий план, заношусь в облака и уже как буд-

то не сам я говорю, а кто другой за меня (Sublimis feror et ore iam non meo)... — Больше всего Серен, не без основания, боится того, чтобы, в привычке к припадкам своей интересной болезни, не потерять сознания, что она — аномальное состояние. «Частое упражнение в хорошем ли, в дурном ли, причащает любить то, в чем упражняешься» (Tam bonorum quam malorum longa conversatio amorem induit.)

— Заклинаю тебя, — взывает к своему ментору бедный Серен, — если известно тебе какое-нибудь лекарство от моей болезни, не считай меня недостойным стать в число пациентов, обязанных тебе своим успокоением. Добро бы, в плавании жизни, бури меня мучили, а то просто делает несчастным морская болезнь, да еще в виду берега.

Благодушный Констан Марта, обожатель Сенеки и всего, что этически соприкасается с Сенекой, находит, что Серену недостает только черт несчастного любовника, чтобы быть римским Вертером или Рене. Нам, русским с нашей *improductivite slave* и огромной о ней художественной литературой, еще легче най-

ти потомков и кровных родственников римскому *blaise* в среде наших родных, любимых героев. Немножко Онегин, немножко Обломов, очень много «лишний человек», Серен, по справедливости, должен быть поставлен во главе хронологического реестра литературных гамлетиков, которых, к сожалению, бывает слишком много в обществах каждой переходной эпохи, то есть либо недоразвитых, либо перезрелых, начинающих вырождаться. В первых появление гамлетиков — симптом и фактор прогрессивный: они — начинатели общественного брожения, недовольства стоячей действительностью, первых порывов к новым этическим и гражданственным идеалам. Но для обществ, совершивших исторический подъем своего развития, дошедших в нем до сужденной им вершины, размножение гамлетиков — вещей показатель близкого упадка, начала разложения национальной культуры. Гамлетик, которому «суждены благие порывы, но свершить ничего не дано», самогрыз, самооплеватель, рыцарь на час, орел мечтой и тряпка делом, — типическая литературная фигура

XIX-го века. Но начало столетия, ознаменованное пробуждением народностей и великими упованиями национальных культур, — с Шатобрианом, Байроном, Пушкиным, Лермонтовым, Гейне, Мюссе, — было очень довольно своими пестро-разнообразными гамлетиками. Как бы последние ни были, — они выше века. Они — стон настоящего о будущем, сила, изнемогающая от невозможности развернуться в узкой действительности, — значит, герои своего времени, лучшие, передовые люди, соль земли. И лишь со второй половины столетия, гамлетик, повсеместно обманувший ожидания народов, повсеместно же понемногу выходит из моды и милости общества и начинает отчисляться в архив явлений отрицательной категории. Здесь — «герои» Тургенева (после «Рудина»), Гончаров в обоих больших романах, сатир Писемского и Авдеева. А, на самом уже переходе от девятнадцатого века к двадцатому, вдохновенный славянский писатель, Генрик Сенкевич, в гениальном романе своем «Без догмата» прорыдал нам устами Леона Плошовского ту самую обидно горькую и еще обиднее жалкую испо-

ведь, что восемнадцать с половиной веков назад, принес Серен Сенеке. Со своим бесхарактерным равнодушием к добру и злу, со своей безвольной и бессильной неразборчивостью к жизни, гамлетик-декадент — начинатель общественного отчаяния в цивилизации, — живой симптом своеобразного социального безумия, которое, отбыв период меланхолический, переходит затем в период буйный: открывает оргию бесшабашного, на все исторические условия и требования культуры махнувшего рукой, декаданса, порождает «сверхчеловеков» и новую эгоистическую этику, стоящую «по ту сторону добра и зла». Серен, должный быть несколькими годами старше Нерона, еще только меланхолический гамлетик. Нерон — уже бесноватый сверхчеловек. Серены еще сокрушаются о духовном несоответствии своем с ростом и сущностью современной им культуры. Нероны эту неудобную культуру уже отметают, рушат и на развалинах ее громоздят, как новость, храмы себялюбия и религию самообожания, провозглашают новые этические эры человеческой жизни, когда «все позволено», а себя са-

мых человекобогами, ее законодателями. Не так ли в нашей литературе идея разочарования свершила быструю и резкую эволюцию от красивой поэтической скуки Онегина, чрез самолюбование Печорина, чрез самобичевание Рудина и «лишних людей» к грозному этическому отрицанию Ивана Карамазова? Затем к поклонению типам людей, сохранивших себя вне культуры, к анафематствованию цивилизации Львом Толстым, к босякам Максима Горького, затем к трусливым, но крикливым восторгам пред отчаянными страхами смерти в писаниях Леонида Андреева и Федора Соллогуба, и, наконец, к беспардонному бегству от обязательств действительности в дикарское скотство, вместе с «Саниным» г. Арцыбашева? В Германии, родине Вертера, литература разочарования введена в неронический период философией Ницше, этого Ивана Карамазова научно-публицистической мысли.

Марта очень восторгается целебными советами, которые Сенека будто бы преподал хандрящему приятелю и родственнику в своем ответном трактате. Но, собственно говоря,

последний не включает в себе прямых и практически указаний, как побороть бессилие воли, и гораздо ценнее те части его, в которых Сенека мастерски, как глубокий художник-психолог, анализирует самое чувство сплина, терзающего душу Серена, и, судя по многим указаниям и намекам трактата, не его одну. Диагноз общественного недуга поставлен философом, действительно, гениально. С орлиной зоркостью усматривает он и ловит на лету мгновенные порывы этой беспочвенной тоски, этого «самоболения», чтобы потом описать их в стройной и меткой системе. Он создает поразительную картину дурных нравственных наслоений. Самонедовольство, отвращение к окружающей среде, бесхарактерные колебания из стороны в сторону души, лишенной привязанностей, но не чуждой сильных порывов, слагают мрачную атмосферу какой-то нетерпеливо мучительной праздности, накопляющей так много желаний, что, клубясь в беспорядочной давке, не находя себе выхода, они умирают, как бы задушенные одно другим. Глубокая меланхолия, томление духа — неразрывные спутники подобного ду-

шевного состояния — прерываются вспышками неустойчивой энергии, бросающей начатые дела, не кончив, надрывающейся в жалобах, что вот ни в чем-то не везет, ничего-то не удастся. И вот человек начинает негодовать на свою судьбу, проклинать свой век, ожесточенно и сосредоточенно уходит в себя, обретает жестокое наслаждение растравлять свои душевные раны придиричивым и насмешливым самоанализом. Следующая ступень: человеку становится жаль себя, его стремление — бежать от себя, ослабить привередливые муки взыскательного самосознания. Он пускается в бесконечные путешествия, мыкает горе от берега к берегу, но горе-злосчастье бежит за ним, как верный спутник, и на море, и на суше. Переложив эти последние строки пушкинскими стихами, как не вспомнить тут:

**Им овладело беспокойство,
Охота к перемене мест
(Весьма мучительное свойство,
Немногих добровольный крест.)**

... ..

Он начал странствия без цели,

**Доступный чувству одному
И путешествия ему,
Как все на свете, надоели.**

И вот, наконец, пред нами странное и жалкое, изношенное существо, какой-то обглодок жизни: радости его не радуют, печали не печалят — он так развинтился и ослаб нравственно, что уже не в состоянии видеть себя самого в зеркале без дрожи отвращения. Ну, что же? Да здравствует самоубийство! Оно — исход из опостылевшего круга, где нет уже надежды найти хоть какую-нибудь новую черту. Влача безрадостное однообразие жизни, скучая несносным постоянством застывших рамок жизни, римские Чайльд-Гарольды восклицали:

— Как? всегда, всегда одно и то же? — с неменьшим упорством и с не менее трагическими интонациями, чем, восемнадцать веков спустя, «москвич в Гарольдовом плаще» декламировал свои красивые жалобы:

**Зачем я пулей в грудь не ранен?
Зачем не хилый я старик,
Как этот бедный откупщик?
Зачем, как тульский заседатель,**

Я не лежу в параличе?

Зачем не чувствую в плече

Хоть ревматизма? Ах, Создатель!

Я молод, жизнь во мне крепка;

Чего мне ждать? Тоска, тоска...

Любопытно, что, быть может, сходство между Онегиным и Аннэем Сереном не вовсе случайное. Говоря о классических знаниях А.С. Пушкина, принято брать на веру его собственные насмешливые отзывы о своем лицейском полуобразовании: «читал охотно Апулея, а Цицерона проклинал», «он знал довольно по-латыни, чтоб эпитафьи разбирать, потолковать об Ювенале, в конце письма поставить vale, да помнил, хоть не без греха, из Энеиды два стиха». Но мы не должны забывать, что этот классический полуневежда, еще в тридцатых годах, умел читать и понимать Тацита несравненно лучше, чем тридцать лет спустя, прочел и понял его знаменитый Кудрявцев. Пушкинский взгляд на Тиберию опередил на целую четверть века характеристику Штара и на сорок лет Сиверса и Германа Шиллера. Мы должны припомнить, что сюжет «Египетских ночей» найден Пуш-

киным в короткой, но энергической фразе Аврелия Виктора, а чтобы найти у Аврелия Виктора красивую энергическую фразу, надо иметь много терпения и опытности в обращении с его сухой латынью, — да и кто, кроме историков-специалистов, заглядывает в Аврелия Виктора? Знакомство с этим скучным и малодаровитым автором неинтересно и почти невозможно для дилетанта. Бесчисленное множество цитат, разбросанных по стихотворениям, письмам, дневнику, мелким статьям Пушкина, доказывают, что в области латинской лирики он был свой человек и, когда нуждался в классической справке, не подолгу рылся за ней по полкам своей библиотеки. Он любил и тонко понимал Овидия и подражал Горацию с совершенством и изящной свободой родственного таланта. Наконец знаменитый отрывок «Цезарь путешествовал» — начало рассказа о смерти Петрония — дышит таким исключительным проникновением в дух и быт римского общества в первый век империи, такой красивой и метко направленной античной правдой, каких не показывал ни один из романистов, писавших

на античные сюжеты ни до, ни после Пушкина. Эта страница напоминает мозаики и фрески Помпеи, один день среди которых скажет внимательному и чуткому наблюдателю о быте древнего дачного города больше, чем можно извлечь из целой библиотеки исследований — фолиантов. Отрывок Пушкина, по красноречивой сжатости своей, достоин быть поставлен рядом с лучшими образцами латинской выразительной краткости. Тон, стиль, характер выдержаны с таким совершенным мастерством, что, если бы не имя Пушкина и не известность латинских авторов данной эпохи, отрывок можно было бы принять за перевод одного из них. Правда в дневнике Пушкина, — по поводу опечатки в латинской цитате шестой главы «Онегина», — имеется и такое признание: «С тех пор, как вышел из лица, я не раскрывал латинской книги и совершенно забыл латинский язык. Жизнь коротка, перечитывать некогда», и пр., и пр. Если поэт написал эти автобиографические строки вполне искренно, то надо удивляться, во-первых, его изумительной памяти, полной верных и точных классических

воспоминаний через четырнадцать лет по окончании лицейского курса. Во-вторых — со-
вершенству, с каким в лицее преподавали
древние языки, если даже посредственный
ученик выходил из стен его с такими обшир-
ными и прочными знаниями. Вряд ли теперь,
после тридцатилетней тирании мнимо-клас-
сической системы графа Д.А. Толстого, най-
дется в русских учебных заведениях юноша
16—17 лет, владеющий латинским языком на-
столько свободно, чтобы читать Апулея, да
еще «охотно», рыться соn amoge в сухих рас-
сказах Аврелия Виктора и т.п. Правда, впро-
чем, что именно господство названной систе-
мы и убило классические знания в русском
интеллигентном обществе, загородив для
несчастливых питомцев своих Ходобаем и Кур-
циусом весь чудный мир латинской и грече-
ской поэзии. Больше того: сделав его, через
тех же Ходобаев и Курциусов, противным и
ненавистным и юношеству, и родителям
юношества, и всякому сострадательному
сердцу, хоть сколько-нибудь соприкасающе-
муся с «плинфоделанием египетским», кото-
рое в гимназиях наших процветает под псев-

донимом изучения древних языков»

Однако как бы ни была великолепна память Пушкина, как бы ни прекрасно учили лицеистов, но факт безошибочных цитат наизусть, четырнадцать лет спустя после знакомства с источником, довольно невероятен, и я позволяю себе думать, что фразу Пушкина об отвычке своей от латинской книги и языка надо принимать *cum grano salis*. С Сенекой Пушкин был несомненно знаком, и именно с трактатами, посвященными Серену. Диалог «De otio» отразился в романе Пушкина даже прямой цитатой, с указанием источника:

**Мы рождены, сказал Сенека,
Для пользы ближних и своей.**

Да и вся эта строфа, выброшенная Пушкиным из текста восьмой главы романа, легко могла бы сойти за пересказ современным языком и в применении к современным понятиям и бытовым условиям тех строк диалога «De tranquillitate animi», где Сенека убеждает Серена лечиться от разочарования усердием к общественной деятельности, в какой бы то ни было форме, — ибо:

Блажен, кто понял голос строгий

**Необходимости земной,
Кто в жизни шел большой дорогой,
Большой дорогой столбовой,
Кто цель имел и к ней стремился,
Кто знал, зачем он в свет родился,
И Богу душу передал,
Как откупщик иль генерал.**

Затем следует уже приведенная цитата из Сенеки. Конечно, шуточный тон пушкинских стихов превращает заключенное в них нравоучение в пародию; но великий поэт наш никогда не чуждался пародии; из пародических затей возникли многие создания его гения. Пародия на «Двенадцать спящих дев» породила четвертую песнь «Руслана и Людмилы», пародия на «Лукрецию» Шекспира дала толчок к «Графу Нулину».

Целительная практическая мораль трактата, как уже замечено выше, невысокого уровня. За исключением практических паллиативов, применительных к правам и политическому строю века, ее легко уложить в короткий афоризм: покуда жизнь сколько-нибудь сносна, ее надо терпеть, а жизнь вовсе несносная не стоит, чтобы ей дорожили, и ле-

карство от нее в самоубийстве. Это — обычная панацея стоиков: устами того же Сенеки они настойчиво предлагали ее всякому, кто «мудр». И восторгаться, вместе с Марта, дидактическими находчивостями Сенеки тут, право, не от чего. Скорее надо согласиться с Гастоном Буасье, который, анализируя трактат «De tranquillitate animi», видит в нем не духовную, так сказать, аптеку, но свидетельство, что вопли Серена разбудили душевные раны самого Сенеки, и последний напрасно старается «на проклятые вопросы дать ответы нам прямые». Буасье справедливо замечает, что в письме своем ученик-племянник — маленькое зеркало для самого дяди-учителя. Серен выражается так же, как Сенека, любит, подобно ему, озадачить читателя смелой фразой, пикантным, словцом, не боится резких переходов от грубой обыденной прозы, от низменных понятий и выражений к самой приподнятой риторике, словом, у него манера и стиль Сенеки. Поневоле задаешься вопросом, — говорит Буасье, — не пошло ли подражание дальше внешности? Не от своего ли наставника заразился Серен противообще-

ственным недугом сплина? Сенека превосходно рисует нравственное равновесие, которое противопоставляет, как желанный идеал, недугу воли, удручающему его конфидента. Но такое равновесие было самому ему вряд ли хорошо известно, при его беспокойном образе жизни. Да и этический метод его не таков, чтобы создавать из учеников людей уравновешенных. Сенека учитель благородных экстазов, искусный подчас воспламенить фанатика до готовности бестрепетно сложить голову за идею, но неспособный закалить питомцев своей морали в совершенном умении и привычке владеть собой, придать им ровную ясность духа и ума, то хладнокровие, то постоянство выдержки, которыми вооруженный человек остается верен себе во всяких обстоятельствах, не меняясь по их воле, но, наоборот, их подчиняя своей. Пылкая и в высшей степени восприимчивая душа Аннэя Серена рекомендована нам из ряда вон впечатлительной самим же Сенекой в другом его трактате «De constantia sapientis». Но впечатлительности молодого офицера равна и его нравственная неустойчивость. Мы видим Се-

рена то в высоком подъеме книжного благородства, то в низменном житейском падении, совсем недостойном не только философа, но даже просто порядочного человека. Он выходит из себя от благородного гнева и скорби при воспоминаниях об оскорблениях, отравивших жизнь любимцу стоиков, Катону, — и, по долгу службы, играет в истории с Актэ роль, только что не сводническую. Это необычайно чуткая впечатлительность к страданиям, так сказать, литературным, требующим для оценки своей усилий воображения, при полной моральной неразборчивости в фактах действительной жизни совершенно декадентская черта, и, притом, одна из опаснейших. Нерон был сантиментален, и бедствия театральных героев заставляли его плакать горькими слезами. Больше того: вернее будет сказать, что он вовсе не мог представить себе житейского несчастья, если оно не объяснялось литературной цитатой. Лишенный власти, преследуемый, вынужденный к самоубийству, он иллюстрировал греческими стихами и громкими театральными фразами решительно все моменты своего бегства и

смертного часа.

История с Актэ, разумеется, не становится красивее от сопоставления ее с гамлетовской декламацией Серена в диалоге

«О спокойствии души». Напротив, и без того уже трагикомическая, фигура «рыцаря на час» делается еще курьезнее, когда мы вообразим, что свои красивые чувства и громкие фразы он, может быть, обдумывал и сочинял, сидя в какую-нибудь темную, скучную ночь у дверей своей мнимой любовницы, в качестве послушного Лепорелло при шаловливом цезаре Дон-Жуане. Удивительнее всего, что исполнение столь незавидных обязанностей уживалось в Серене не только с философским настроением, но и с большим личным самолюбием. Он был очень щекотлив в вопросах личной чести, дурно принимал обиды и злые шутки на свой счет, которых, по фальшивому своему положению, должен был выносить немало. Только что упомянутый другой трактат Сенеки, из трех посвященных Серену, «О твердости мудрого» («De Constantia sapientis», что в точности можно передать словами, о выдержке характера), касается именно этой

черты характера Серена. Он даже имеет другой, более интимный и выразительный подзаголовок «Ad Serenum nec injuriam nec contumeliam accipere sapientem», то есть «Наставление Серену, который не умеет считаться ни с обидами, ни с насмешками». Эта, по выражению Дидро, апология стоицизма близко сходится с современным учением о непротавлении злу и насмешливой теорией Шопенгауэра о рыцарской чести и ее щекотливых вопросах. Мораль здесь сводится к довольно дешевому утешению, что «мудрый оскорблен быть не может». «Мудрый или обрацает поношения в шутку, или смотрит на людей, как врач на больных, и, что бы не случилось, всему противостоит спокойно».

Стоические ли утешения подействовали, классический ли девиз императорского двора, что «нет стыдного, когда велит цезарь», но со временем Серен примирился с своим двусмысленным жребием. Он живет в свое удовольствие, уже не помышляет о самоубийстве, служит, делает карьеру, философствует на досуге и, — судя по тому, что Сенека посвятил ему еще один, на этот раз, уже откровен-

но автобиографический, трактат «De otio», Серен даже выучился, если не действовать, то упрекать других в бездействии. В свое время я еще вернусь к трактату этому, необходимому в своде общей характеристики Сенеки. Здесь достаточно указать, что со времен трактата «De tranquillitate animi», учитель и ученик успели поменяться ролями. Серен зовет и ободряет, а Сенека отнекивается. Трактат «De otio» занят разбором и защитой прав трудящегося человека на отставку от карьеры, на уход от общественной деятельности, за усталостью. Назначение человека, — доказывает философ, — не ограничено только деятельным началом жизни: должно быть место и время и для начала созерцательного. Трактат написан Сенекой уже после добровольной отставки его от поста первого министра, которой стоическая партия двора, сената и знати была очень недовольна. Содержание трактата вежливо и твердо отвечает на дружеские упреки за отказ от полезной и важной службы, приносившей так много добра и отечеству, и партии. Лицом, которому партия поручила передать отставному вельможе лестные упреки

эти, был именно Серен. Очевидно, он успел завоевать себе положение и почет среди стоической интеллигенции: одной родственной близости к Сенеке было, конечно, недостаточно, чтобы партия выбрала Серена своим глашатаям в столь важную минуту и по столь важному для ее существования вопросу. Тем более, что в составе партии имелся еще ближайший родственник Сенеки, к тому же человек крупного дарования, самый блестящий поэт эпохи, Марк Аннэй Лукан.

Успокоительные рассуждения Сенеки относятся к ранней молодости Серена. «De tranquillitate animi», — из первых трудов философа, по возвращении его императрицей Агриппиной из ссылки, что случилось в 49 году по Р. Х. С годами, отбив Sturm und Drang стоической юности, Серен, конечно не лез уже из кожи вон, слушая о неприятностях Катона, как случилось однажды в доброе студенческое время. Не порвав своих связей со стойками, он в то же время умел остаться угодным двору. По крайней мере, даже когда Нерон стал уже коситься на стойков, поссорился с Луканом, глухо враждовал с сенат-

ской оппозицией и открыто разорвал добрые отношения с Тразеей, Серен все-таки не потерял его милости. Даже падение дяди министра не принесло ему вреда по службе. Напротив: тут-то вслед за смертью знаменитого Бурра — и попал Серен в римские обер-полицеймейстеры (*praefectus vigilum*), заместив в ней Тигеллина, назначенного одним из двух командиров гвардейского корпуса (*praefectus praetorio*). Если верить, вместе с Гиршфельдом, что Аннэй Серен, упоминаемый в 81-й эпиграмме VIII-й книги Марциала, не какой-либо другой одноименный нашему герою, — то придется отметить, что, вместе с полицейской службой, Серен заразился и типическими полицейскими пороками. Дело идет о привязанности некой Гелии к ее жемчугам: «Если бы ей бедняжке, случилось их потерять, так, по словам ее, она не проживет и часа». — Вот бы, насмешливо заключает Марциал, — где поработать руками Аннэя Серена! Фет и, следовательно, редактор его переводов Марциала, граф Олсуфьев, считают, что речь идет о каком-то знаменитом воре Марциаловой эпохи. Но, строго проверяющий

свои тексты, Гиршфельд относит насмешку к Аннэю Серену, обер-полицеймейстеру. Пре-
вращение ученика стойков в полицейского
хапугу, конечно, совсем неожиданно и весьма
мало последовательно. Однако, если вспом-
ним, что и сам великий ментор Серена, Сене-
ка, был не вполне чист на руку, то метамор-
фоза становится не так уже невероятной. На-
слаждался своим полицейским благополучи-
ем Серен очень недолго. В конце 63-го года по
Р. Х. его уже не было в живых. Он умер смер-
тью скоропостижной и вовсе не стоической:
от несварения желудка, объевшись грибов за
каким-то товарищеским полковым обедом.
Отравление было массовое: кроме Серена, по-
гибло несколько трибунов и центурионов.
Чтобы, так сказать, добить поэзию философ-
ской легенды Серены, добросовестный старик
Плиний сохранил и убийственно прозаиче-
ское название грибов, от которых он умер:
suilli — свинухи. И что за удовольствие обра-
щать в пищу столь сомнительное расте-
ние? — удивляется натуралист.

Саркастическая гримаса смерти Серена
удивительно цельно дополняет и заключает

обобщение его фигуры в историко-литературный тип. Как много Гамлетов кончили жизнь Фальстафами!.. Гениальнее прозрение заставило Пушкина прервать свой роман, как биографию Онегина, на полпути его жизни. Ведь, в будущем, нашего любимого героя почти наверное ждало бы самое грустное опошление. Разве, что какая-нибудь шальная пуля — на дуэли или в прибежище всех тогдашних разочарованных — кавказской войне — спасла бы его от жалкой судьбы, которую пуля самого Онегина отвела от его друга Ленского:

**Прошли бы юношества лета,
В нем пыл души бы охладел,
Во многом он бы изменился,
Расстался б с музами, женился,
В деревне, счастлив и богат,
Носил бы стеганный халат,
Узнал бы жизнь на самом деле,
Подагру б в сорок лет имел,
Пил, ел, скучал, толстел, хирел
И, наконец, в своей постели,
Скончался б посреди детей.
Плаксивых баб и врачей.**

Именно по такому безжалостному, но вер-

ному рецепту окончил жизнь литературный внук Онегина Илья Ильич Обломов. Ничтожество его попусту разменной жизни не помешало, однако, сохранить к нему — до самых последних дней — самую пылкую и участливую дружбу таким умным, мыслящим и деятельным людям, как Штольц и Ольга. Пращур всех героев безволия, бедный Л. Аннэй Серен, также не был лишен дружеского утешения.

Привязанность к нему Сенеки осталась неизменной до самой смерти. Учитель горько оплакивал своего безвременном и бесполезно погибшего ученика. «*Annaeum Serenum, carissimum mihi tam immodice flevi, ut, quod minime velim, inter exempla sim eorum, quos dolor vicit*». (Я так неумеренно плакал об Аннэе Серене, друге моем милым, что мог бы, хотя совсем того не хочу, быть зачисленным в образцы того, как людей побеждает скорбь.) Память об их философской дружбе не умерла в потомстве. Еще тридцать лет спустя, о ней говорил с почтением и ставил ее в пример искренних человеческих отношений даже несмешливый и далеко не робкий пред авто-

ритетами эпиграмматист Марциал. Хваля пред К. Овидием, добровольным эмигрантом нероновской эпохи, восковой бюст его друга, когда-то сосланного Нероном, Максима Цезония, поэт начинает характеристику последнего стихами:

Вот он — могучий друг блестящего речью
Сенеки,

Бывший ему ближе Кара, роднее Серена...
(*Facundi Senecae potens amicus,
Caro proximus auf prior Sereno...*)

II

Тацит, как большой аристократ, говорит о вольноотпущеннице Актэ очень презрительно: она для него — «бабенка», *milierscula*. Но, даже и при столь надменном освещении, образ Актэ — тень милая и симпатичная. Именно тень, потому что Актэ, — может быть, даже не собственное имя. Еще Тиллемон считал Актэ — вероятно нарицательным определением «вольноотпущенницы». Если бы это было так, то мы имели бы красивый символ женщины, олицетворившей собой положительные стороны целого класса: женскую де-

мократическую мораль перед лицом аристократического мужского повелительства. Но — собственное ли имя Актэ, классовое ли прозвище (как имя Эпиктета), — во всяком случае, под этим именем, Нерону посчастливилось полюбить женщину очень хорошего сердца. Сам Тацит признает, что от Актэ никому не было обиды, и при дворе даже радовались этой связи, так как любовь к Актэ удерживала Нерона от преступных вторжений в лоно аристократических семейств, с их более, чем не строгими, — по крайней мере, в этом веке, матронами.

Надменное отношение Тацита к Актэ смутило некоторых историков думать и писать о ней гораздо хуже, чем она заслуживает. Между ними — наш Кудрявцев, всегда чересчур доверчивый к симпатиям и антипатиям Тацита. Герман Шиллер, так часто предостерегающий своего читателя против писателей, охочих вводить роман в историю и затемнять вымыслом факты, тем не менее сам сочинил, без всяких к тому данных, догадку, будто Нерон впоследствии отстранил от себя Актэ не за что другое, как за взятки. Гораздо более

правдоподобны и доказательны характеристики Актэ французскими исследователями, с Э. Ренаном во главе. Из немцев им вторит Крейер.

Актэ любила Нерона с первой встречи до самой смерти. Уже отвергнутая им для других женщин, она все-таки оставалась вблизи его. Мы встречаем ее при Нероне в самые критические минуты его жизни. Когда императору грозит опасность или бесславие, Актэ является к нему добрым ангелом-хранителем, со смиренным, но смелым словом обличающей правды на устах. По-видимому, Нерон, даже утратив любовь к Актэ, сохранил к ней уважение и веру. Говорить ему правду в глаза осталось как бы нравственной привилегией Актэ. Когда партии Сенеки над было открыть государю глаза на какую-нибудь интригу, а ни у кого не хватало на то духа, подсылали к Нерону верную Актэ. Многие историки полагают, что Актэ была христианка, подтверждая свое мнение ссылкой на послание апостола Павла к филиппянам, в заключительных стихах которого апостол передает своим духовным детям привет от «святых из дома Цеза-

ря». Апокрифические Деяния апостолов Петра и Павла также свидетельствуют, что апостол языков обратил к вере в Распятого одну из любовниц Нерона, и св. Иоанн Златоуст повторил это предание. Вряд ли, однако, апокриф имеет в виду Актэ. Последний исторический акт, в котором является ее имя, тому противоречит категорически. Дело в том, что впоследствии этой женщине выпала грустная радость воздать последние почести праху Нерона и зажечь его похоронный костер. Похороны Нерона обошлись Актэ в 200.000 се-стерциев — 20.000 рублей. Сумма значительная, говорит о хорошем состоянии. Что Актэ не была брошена Нероном без средств, свидетельствуют, сверх того, многочисленные надгробные надписи ее рабов и рабынь, дошедшие до нашего века. Время сохранило могилы ее двух камердинеров, скорохода, пекаря, евнуха и греческой певицы. У нее были собственные виллы в Путеолах и Веллетри, от которых сохранились водопроводные трубы, с штемпелем — «Клавдия Актэ, вольноотпущенная Цезаря». Она имела кирпичные заводы в Сардинии, что доказывается найденными

ми кирпичами, тоже заштемпелеванными с маркой. Актэ совершила погребение Нерона строго и благоговейно по ритуалу римской государственной религии. А ведь обряд учинен был над трупом человека, объявленного вне закона. Это отверженное тело Актэ могла бы похоронить по какому ей угодно обряду. Будь она христианкой, конечно, она похоронила бы прах любимого человека по тому обряду, который сама признавала, то есть по обряду иудейскому, как была погребена императрица Поппея. К ней, к слову сказать, некоторые (Бароний, Лун) тоже относили выше приведенные намеки апокрифических «Деяний». Затем: в этот период свой, христианство еще не выделилось в определенную и отграниченную от иудейства религиозную группу и представляло собой — а уж в особенности для римлян-то, которые, и пятьдесят лет спустя, в вероисповедных вопросах сиро-палестинского востока разбирались плохо, не более, как иудейскую секту. Если бы Актэ была христианкой, т.е. христиано-иудейкой, то, при ее влиянии на Нерона, вряд ли она, столь важная дворцовая сила, осталась бы не замечен-

ной иудейскими посольствами к двору Нерона, историю и хлопоты которых рассказывает Иосиф Флавий. Он отметил всех юдофилов Рима, содействовавших ему, и, в том числе, именно «богобоязненную» Поппею Сабину и танцовщика Алитура (еврея родом). Но имени Актэ нет у него. Иудейской ненависти к новой христианской секте это умолчание никак нельзя приписать. Во-первых, потому, что у Иосифа Флавия ее, вообще еще не было, и, наоборот, впоследствии сочинения его были найдены даже удобными для интерполяций, выгодных христианству. Во-вторых, потому, что Иосиф Флавий был фарисей, а в фарисеях первобытное христианство, с ап. Павлом во главе, видело не гонителей своих, но скорее защитников против нетерпимости господствующего саддукейского духовенства.

С другой стороны, есть, пожалуй, слабые доводы и в пользу гипотезы о христианстве Актэ. Она была родом из Азии, края, с которым римские христиане имели чуть не ежедневные сношения. Не раз случалось, говорит Ренан, что прекрасные вольноотпущенницы — и как раз те самые, что наиболее были

окружены поклонниками, — предавались всей душой восточным религиям: так, напр., Овидий, Проперций, фрески Помпеи равно свидетельствуют о значительном распространении в мирке этом культа Изи́ды. Самое имя Актэ близко к Акме (Накта, по-сирийски — «умница»), имени еврейки, влиятельнейшей вольноотпущенницы и камер-юнгферы двора Ливии Августы, о неудачных политических интригах которой в пользу иудейского принца Антипатра против отца его Ирода Великого рассказывает Иосиф Флавий в XVII книге «Иудейских Древностей». Затем — по-видимому, Актэ навсегда сохранила простые вкусы и никогда не покидала совершенно своего мирка дворцовых рабов, то есть именно того «дома Цезаря», о «святых» из которого говорит апостол. В надгробных надписях имя Актэ упоминается в сопровождении целого ряда имен христианского характера: Клавдия, Феликула, Стефан, Кресцент, Фебея, Онисим, Фалл, Артемас, Эльпис. Наконец, «фамилия» Аннэев, откуда вышла Актэ, по многим признакам, стояла близко к христианской общине, быть может, даже и к самому апостолу

Павлу. Вольноотпущенники Аннзев, правда, много позже в III веке, носили имена обоих римских апостолов — и Петра, и Павла. Самого Сенеку многие считали тайным христианином, и существует целая литература по поводу этого романтического заблуждения, дошедшего до нас через средние века, от отцов церкви. Мы с ним еще встретимся в четвертом томе «Зверя из бездны», Когда христианство победило, торжествующая церковь с такой прямолинейной простотой и безапелляционностью зачеркнула возможность языческой нравственности, что все прошлое четырех веков, считая с начала христианства, резко разделилось на черное и белое. Если на черной половине замечались белые просветы и пятна, церковь, не задумываясь, объявляла их христианскими или стоявшими под влиянием христианства. Поэтому в церковной и зависимой от нее поэтической легенде оказались христианами не только Актэ, Поппея, Помпония, Грецина, Сервилия и Сенека, но даже Эпитект и сам Тацит.

Во всяком случае, была ли Актэ христианкой, нет ли, уже самое желание так многих,

чтобы она была христианкой, доказывает, что милая девушка заслуживала чести быть в рядах лучшей части современного ей человечества. В мрачной ночи жизни Нерона Актэ — единственный светлый луч, единственная нежная лирическая строфа в этой грозной, бурно-беспутной, беспредельно-декадентской поэме.

Доведавшись о романе императора, Агрипина взревновала сына до какого-то безумия. Она повела себя в отношении Нерона и Актэ — как отмечает Тацит — даже не поженски, а по-бабьи (*muliebriter*). Кричала, что ее меняют на вольноотпущенницу! что не доставало только, чтобы Нерон дал ей в невестки дворцовую девку! и тому подобные пошлости. Очень может быть, что — воздержись Агрипина от сцен грубой беспредметной ревности, Нерон позабавился бы хорошенькой Актэ неделю — другую, а там пресытился бы, заскучал и бросил надоевшую игрушку. Но препятствия разжигают страсть. Волнуемый медовым месяцем первой любви, император возмутился грубыми выходками матери до бешенства. Привязанность его к Актэ

обострилась противодействием, в самом деле, до готовности жениться или, по крайней мере, до громких заявлений о такой готовности. Думать об ее осуществлении ведь возможно было бы только по разводе с Октавией, а до развода не допустили бы Нерона не только мать, но и Сенека с Бурром. Их мнение о необходимости для Нерона крепко держаться за клавдианскую фамилию и за «приданое» жены своей хорошо известно.

Сверх того брак, которым Нерон угрожал матери, был просто таки невозможен по легальным условиям римского семейного строя. Светоний, тоже упоминающий об этом романе Нерона, говорит о его брачных намерениях, как о величайшей нелепости: *Acten libertam paulum a fuit quin justo sibi matrimonio coningere, summissis consularibus vins qui regio genere ortam perjurent*. Малого не достало, чтобы он женился законным браком на вольноотпущеннице Актэ, причем нашлись угодливые консуляры, которые клятвенно успели вывести для нее царскую родословную. Римский законный брак — дело веское, прочное, строгое и формальное — до такой

степени, что как бы даже ледяное. Рим — государство с условной религией, предписывавшей обряды, но не требовавшей веры, и с основой семьи, браком, предписывавшим деторождение, но не требовавшим любви. Передовой, развитой, тонкий Сенека со спокойной совестью характеризует отношения римских законных супругов афоризмами, достойными Кабанихи в «Грозе» Островского: «Мудрец должен любить супругу свою по рассуждению о достоинствах ее, а не по чувству». «Нет ничего постыднее, как любить жену с такой страстью, будто она любовница (uxorem amare quasi adulteram)». Последний афоризм имеется в «Грозе» дословно.

Кабаниха. Прощайся с женой!

Тихон. Прощай, Катя!

(Катерина падает ему на шею)

Кабаниха. Что на шею-то виснешь, бесстыдница! Не с любовником прощаешься! Он тебе муж — глава! Аль порядку не знаешь? В ноги кланяйся!

Точно так же знаменателен в этом отношении афоризм великого римского юриста Павла: «Конкубина отличается от жены только

страстностью любовного к ней отношения (solo delectu separatur)». Жена берется «ради рождения детей» (liberorum procreandorum causa), конкубина — «похоти ради» (libidinis causa). Супружеское чувство (maritalis affectus) древнего римлянина до такой степени далеко было от «любви», которая предполагается основой современного европейского брака, что человеку не-латинской расы и цивилизации даже трудно вообразить себе это чувство, до сих пор живое, хотя и замаскированное, в итальянской и французской буржуазии. Быть может, ничем другим оно не может быть характеризовано с большей выразительностью, как фактом, что брак древнего Рима, на протяжении добрых тысячи лет, не оставил следов ни одной крупной драмы супружеской ревности. Все ревнивые страсти Рима разыгрывались на почве внебрачных отношений. (Понция и Октавий Сагитта, Пoppея и Нерон и т.п.) В браке ревность создавала либо водевиль адюльтера, либо драму не столько половой любви, сколько фамильной чести. В Риме не было Отелло, но было множество «Врачей своей чести»: психология

Кальдерона античному миру была ближе, чем психология Шекспира. Единственное сильное изображение супружеского чувства у Тацита относится к варварским нравам: кровавая история иберийского принца-разбойника Радамиста и жены его Зиновии.

Законный брак, *justum matrimonium*, в глазах римлянина, есть мастерская для производства детей. Государство — гигантская фабрика гражданских поколений, а брачная постель каждого отдельного гражданина — станок на этой патриотической фабрике. И, как всякое фабричное производство, римское деторождение подчинено строгим ограничительным законодательством, предусматривающим, чтобы дети, по возможности получались как раз той марки, которая нужна государству, им принимается и покровительствуется.

История римского брачного права, вся сплошь, укладывается в борьбе двух полов с государством за свободу выбора. При этом на долю мужского пола приходится, главным образом, борьба за *jus conubii*, за облегчение права брачного сожителства, за расширение

и упразднение первобытных ограничительных условий, в в которых замкнутый аристократизм богатой мужицкой общины, называвшейся семихолмным Римом, признавал брак правильным (*justum*), а деторождение законным. Сравнительно с *jus conubli*, остальные условия римского законного брака — возрастная зрелость, согласие родителей, отсутствие слишком близкого родства, торжественное бракосочетание по законом предписанному обряду, самое одноженство даже, — имеют роль сравнительно второстепенную. Обычай, по мере надобности, либо упразднял их, либо вынуждал послабления, либо заменял их существо символами, либо, в обход им, придумывал формы нового, более удобного для граждан, типа. Исконный, религиозный обряд римско-латинского бракосочетания, *confarreatio*, торжественная свадебная церемония с участием церкви-государства — нашла себе суррогаты в формах захватного брака — древнейшего, через *usus* (право давностного обладания), и позднейшего, возникшего из потребности корректива к чересчур гетерическому характеру, который сохранился в

usus'e — через coemptio (благоприобретение). В обеих формах сохранились наглядные следы борьбы победоносной экзогамической культуры с эндогамической первобытностью Рима и даже, как доказывал Бахофен, с пережитками и отражениями матриархата. Jus conubli, главное и основное условие законности брака, медленно ломает, стесняющие его, запретительные стены: сперва стены сословия, потом гражданства, наконец народности. Только его наличие утверждает правильный брак, justum matrimonium, и возможность сыграть законную свадьбу (nuptias legitimas). Только наличие законной свадьбы определяет законность деторождения и дает ребенку отца и семью. «Отец определяется свадьбой» (Peter is est quem nuptiae demonstrant). «Дети слышат по отцу только, когда свадьба была законна; ребенок, прижитый вольно, пригульный (vulgo quasitus), слышит по матери». Таковы определения юристов в императорскую эпоху; первое принадлежит Павлу (III век по Р. Х.), второе Цельзу (I век).

Быстрый рост Рима из деревни в город, из города в господствующий центр Лациума,

Италии, Средиземного бассейна, Европы, наконец, всего известного древней цивилизации мира, обогнал брачную эволюцию великого государства. Формы законного брака в Риме застыли в архаической тягучести, медленно поддававшейся прогрессу государства, вынужденного расширять *jus conubii* по мере того, как Рим приобретал между сословность и международность. В полуисторический период царей и начала республики, *jus conubii* было тесно заключено в кастовых рамках: патрицианские роды женились, плодились и множились внутри тесного своего сословного союза «отцовских детей». Плебеи получили *jus conubii* только по плебисциту Канулея, в 447 г. до Р. Х.: значит, Рим триста лет слишком брачился строго кастовым порядком. Да не будет брачного права между отцами и плебой! — повелевали законы XII таблиц (*ne conubium patribus cum plebe esset*). Тем же ленивым шагом двигалась передача брачного общения к соседним народностям. И, притом, *justum matrimonium juris gentium*, законный брак в силу международного права, никогда (раньше уравнительных реформ Каракаллы)

не достигал того круглого совершенства, как законный брак по праву гражданскому. Медленно, веками *jus conubii* распространялось сперва на латинов, потом на италиков и, наконец, только при Каракалле, в силу дарования римского гражданства всем подданным империи, оно стало взаимодостоянием всех народов всего римского мира.

Несомненно, что право, которое ползет тысячу лет, медленно и лишь частично преобразуясь на столетних этапах, не может жить без поправок обычаем, без суррогатов и фикций, придумываемых обывательской жизнью в обход государственного закона, с сохранением вида законности и с приобретением от нее большего или меньшего количества поправок и уступок. Подобно тому, как исконный римско-латинский религиозно-государственный брак (*Confarreatio*) не мог победить гражданского захватного и должен был упроститься в просто государственный (*coemptio*), так и последний должен был раздаться перед запросами жизни, которые постоянно обгоняли в росте своем *jus conubii*. В поправку законной бракоспособности, общество выработало

формы свободного брачного сожителства, настолько постоянные и распространенные, что государство оказалось вынуждено сперва их терпеть, затем оградить полупризнанием и, наконец, признать совершенно и снабдить некоторыми гражданскими правами. В древнейшем римском праве это полу-брачное состояние, признанное обществом и терпимое государством, выражается словом «пеликат» (*pelicatus*), позже, значительно преобразованное и окрепшее, оно приобрело официальное название «конкубината».

Кроме борьбы с *jus conubii*, римский государственный брак имел еще один болезненный задаток к разложению: совершенное бесправие в нем женщины, которая, в браке, раскрепощалась из-под руки (*ex manu*) отца только для того, чтобы закрепоститься под руку супруга, — муж становился ей «в отца место», а она к нему — в отношении дочернего повиновения (*filiae loco*). Эманципацию женщины от порабощающего супружества начинает (или продолжает, как остаток до-патриархального гетеризма) давностный брак, чрез *usus*, с его льготой ежегодного возобновления

союза жены с мужем, чрез трехночное отсутствие жены из-под мужней кровли (*usmratio trinoctii*). Мужевластный строй государства не мог долго терпеть такую срочную страховку женской инициативы к разводу. Брачная форма чрез *usus* официально никогда не была отменена, но общество, идя вперед по условным путям буржуазной морали, само сумело заморить ее без употребления, как архаическую неприличность. Узуальный брак с сопутствующей ему льготой трех ночей очень быстро заглох и вымер. Гай, в эпоху Адриана, говорит об узуальном браке, как явлении ожившем. Но такие победы мужского права над женским не могли проходить без протестов и коррективов. Если женщина проигрывала в законе, то она вознаграждала себя в обычае. Если она теряла свое право, то находила в области общественной морали и совести средства поднять в эквивалент или хоть суррогат права положения полу брачные, ранее считавшиеся бесправными и даже позорными или преступными. Потеряв в мужевластном режиме остатки гетерического допатриархального развода, женщина изыскивает исходы

из рабства своего, жертвуя выгодами формального брака в пользу бракоподобных союзов. В них же непрочность семьи, не защищаемой государством, искупается сравнительной свободой женщины от мужчины, с которым она живет. Государство не благословляло их, когда они сошлись, государству нет дела до их потомства, но государству нет дела и до того, как они разойдутся. Сошлись, разошлись — это дело частного соглашения мужчины и женщины. Жена — в свободном браке никогда не имеет права на государственную защиту от мужа, но зато и муж не находит в государстве покровительства, когда жена от него уходит. И это последнее несомненное право настолько велико, что женщины хватаются за него, как за якорь спасения, вопреки всем остальным общественным невыгодам и ущербам, вопреки опасности быть заклейменными, как *probrosae* (опозоренные), *infamae* (ославленные) и т.п. Мужчина в Риме борется с ограничительным *jus conibii*. Женщина — с порабощающим *manus mariti*. Естественное недовольство обоих полов искусственным удержанием в государстве архаиче-

ских мужевластных и тесно националистических принципов брачного права и согласных с ними форм вызывает к жизни компромиссы сожительств внеправовых и полуправовых. Суровым исключительностям закона, созданного с государстве-деревне, противопоставляются здравый смысл и инстинкт общества, расплывшегося на весь мир и сползшегося со всего мира. Нет, не было, да вряд ли и будет такая политика, в которой здравый смысл удостоился бы совершенной победы. Но, если мы сравним движение вопроса о гражданском браке в государствах после римской культуры с движением конкубинатного компромисса в культуре римской, то на стороне первых не окажется перевеса ни в туманности, ни в здравомыслии, ни в политической целесообразности, ни даже в условной морали.

Слово *rellex*, правильное *raelex* (женщина, живущая с мужчиной вне брака) заимствовано римлянами или у греков, или у карфагенян, через Сицилию, Πάλλαξ, παλλαξί, у Гомера — рабыня, приобретенная в доме куплей или захватом на войне; позднее — узаконен-

ная наложница, которую домовладыка имеет право держать даже при наличии законной жены; дети ее признаются им как законные, покушение на ее честь и ее половая измена караются, как преступления противобрачные. Пауль Мейер с множеством других ученых, признают «пелику» заимствованием скорее из семитической, финикийской культуры, от еврейского «pilegesch». В древнейшее время римляне почитали «пеликатом» всякую длящуюся половую связь какой бы то ни было женщины с неженатым мужчиной, вне условий законного бракосочетания (*justae nuptiae*). Юрист века Тиберия, Сабин, отождествляет «пелик» древнего времени с «конкубинами» и «подругами» (*amicae*) своей эпохи, что, однако, для времени Сабина, уже не точно. Если второе название тогда еще совпало и осталось совпадать с древним, то первое уже не годилось и могло трепаться, лишь в качестве обычного пережитка, в неточном бытовом языке, так как конкубинат был уже узаконен Августом в особый, полуправный вид однобрачия.

В конце республики, накануне принципа-

та, *raelex* начинает пониматься, как любовница женатого человека, и часто — просто, как «соперница» законной жены, — то, что по-русски, народно называют «разлучница». В этом смысле слово постоянно употребляется поэтами. Оно часто у Овидия и Горация и переходит в дальнейшую литературу — в век цезарей, к Сенеке, Марциалу. Слово до такой степени утратило свое древнее техническое значение, что в одной надгробной надписи плачущая мать обозначает им свою одиннадцатилетнюю дочь, желая сказать, что та — единственная — разделяла с ней любовь своего отца, а ее, матери, мужа. Это — лучшее доказательство, что еще раньше слова совершенно переродилось и бытовое понятие, которое слово выражало. Сравнивая пеликат греческий и римский, нельзя не заметить, что это — два института, совершенно различные и даже противоположные, один другому. Греческий пеликат — умертвие, застрявшее в жизни: пережиток многоженства, отражение восточных гаремов, медленно погашаемое европейской культурой. Греческая *παλλαξίς* раба, излюбленная из многих налож-

ниц, но рождает свободных детей, и иногда отец их даже признает. Это — фаворитка-ода-листка древне-персидских и позднейших мусульманских сералей. Древне-римский пеликат — наоборот — протест брачного обычая против узости сакрального и государственного брачного права. Женщина в нем предполагается свободной, — что же касается детей, они не имеют отца, считаются «пригульными», «беспорядочно-прижитыми» (*vulgo quaesiti*) и приписываются к обществу по словесному положению матери. *Paeflex*, в глазах общества, не преступна, но и не порядочна. Она *probrosa* (покрыта позором). Ей запрещено прикасаться к алтарю Юноны, покровительницы браков. В случае, если нарушит запрет, она должна принести богине, простоволосая, в знак покаяния и наказания, очистительную жертву.

Латинское слово *concupia*, первоначально (у Плавта, например) было лишь переводом греческого *παλλαξί* и, неразборчиво употребляясь для определения всякой женщины, живущей с мужчиной во внебрачных отношениях, звучало близоруким презрением и даже

ругательством со стороны закономерного добронравия и лицемерия против полового вольнодействия и бунта. Слово это к концу республики выросло социальным значением. Настолько, что щепетильный ханжа Август, пересматривая брачный обычай своей эпохи, не только не в состоянии был упразднить «конкубинат», но, наоборот, вынужден был и общественным давлением, и здравым смыслом государственного человека, узаконить его, обратить в юридическую норму, если не в новый вид, то в подспорье брака.

Я уже имел случай говорить о том, что, обеспокоенный падением брачности и деторождения в Италии, Август думал поддержать прирост населения законами, направленными частью к поощрению браков, частью к охране семейной жизни и к прекращению преступлений против супружеского союза. Это — *lex Julia de maritandis arduibus* (736—757) и *lex Papia et Poppaea* (762). Первый закон, карательный, преследует «блуд» (*stuprum*), то есть беспорядочную временную связь со свободной женщиной честного рода и приличного звания, незамужней или вдово-

вой, и «прелюбодеяние» (adulterium), такую же связь с женщиной замужней. Временные связи с женщинами деклассированными: рабынями, проститутками и т.п., в понятия эти не входят и почитаются не наказуемыми.

Совокупностью двух других законов Август установил правила учрежденной им государственной брачной повинности:

О степенях родства, брак дозволяющих. 2) О моральных и общественных условиях брака. 3) О возрасте обязательной брачности: мужчинам от 25 до 60 лет, женщинам от 20 до 50. 4) О мерах, споспешествующих вступлению в брак и затрудняющих развод. 5) О наградах женатых и многодетных преимущественными правами при замещении общественных должностей, по опекам и патронату, а, главное, в области права наследственного. 6) И, наоборот, об умалении соответственных прав для холостяков и одиноких.

Как ни желательно было Августу расширить область законного брака и такого же деторождения в народонаселении, опустошенном гражданскими войнами, однако, аристократические традиции республики и личный

консерватизм не позволили ему демократизировать государственный брак, открыв настежь двери в область его для всех граждан и гражданок в свободном равноправии. Напротив, наравне с поощрительными премиями, он вынужден был вычислить длинный ряд категорий, принадлежащие к которым женщины объявлялись недостойными «законного брака, государством освященного» (*justum matrimonium juris civilis*). Категории этих, запретных к браку по непорядочности (*infamae*), особ делятся на две группы.

I. Для всех вообще свободнорожденных (*ingenui*) запретны браки:

1. Со сводней или вольноотпущенницей сводника либо сводни, т.е. с хозяйками и проститутками публичных домов.

2. С явной прелюбодейкой (*adulterio deprehensa*), причем достаточно факта что она была застигнута на месте преступления, независимо от того, была ли она судима и осуждена.

3. С женщиной, осужденной за какое либо преступление приговором народного собрания (*iudicio publico damnata*) или сената, к ко-

торому в это время перешли функции народного собрания.

4. С женщиной скандальной профессии (*mulier famosa*): с танцовщицей, певицей, вообще, платной участницей увеселительных зрелищ (*quae artem ludibriam fecerit*). Не хочу употреблять слово «актриса», так как это не совсем то. И с всякой женщиной, о которой доказано, что она торгует своим телом.

II. Для сенаторов же, сенаторских сыновей и прямого мужского потомства, сверх того запрещены браки:

1. С вольноотпущенницами.

2. С дочерьми опозоренных (*famosi*) родителей. Они признаются особами темного происхождения (*obscuro loco natae*). Это запрещение имеет силу и в обратном порядке, т.е. для женского потомства сенаторов — против браков с сыновьями темных личностей.

Нарушение брачных запретов каралось штрафами по тому же разряду, как холостячество и бездетность, но, главным-то образом, тем, что брак объявлялся уничтоженным и никогда не отвечавшим действительности (*nefariae nuptiae*), а, следовательно, низводил-

ся на уровень беспорядочной связи, со всеми роковыми последствиями ее бесправия. Я подчеркнул курсивом статью о вольноотпущенницах потому, что ей как раз подлежал бы брак с Актэ, которым влюбленный Нерон — сенатор и глава сената — угрожал Агриппине. Если бы даже Нерон был свободен от брака с Октавией, то, во всяком случае, жениться на вольноотпущеннице он не мог, и даже то обстоятельство, что придворные выводили Актэ родословную от царя Аттала, нисколько ей не помогло бы. Последняя из римских свободнорожденных женщин, в представлении римского закона и народа, была существом гораздо высшей и предпочтительной породы, чем все варварские царицы и царевны каких бы то ни было славных своих там туземных родов. Романы Антония и Клеопатры Египетской, Тита и Береники Иудейской — достаточно выразительные тому примеры. Есть отношения, приличия и требования среды, которых перепрыгнуть не в состоянии никакой произвол, даже самый безудержный и безумный. А Нерон в эту пору еще не впал в безумие безудержного произво-

ла и, наоборот, всю свою политическую игру вел на той статье, что он человек безусловной порядочности, в рамках требований века: как государь — новый Август, истинно конституционный принцепс; как человек — гражданин по Августовым же законам. Мы знаем из Нероновской эпохи имя Феликса, «мужа трех цариц», но это — выскочка, вольноотпущенник, брат Палланта. Женитьба на принцессе варварской, т.е. иностранной, для римлянина той эпохи почти такой же неизвинительный, дикий, *mesallianse*, как если бы кто-либо на английских принцев или даже только пэров женился на сиамской королевне или дочери какого-нибудь бедуинского шейха или кафрского вождя. Другое дело отношения конкубината. Нерон — первый пример цезаря, влюбленного в вольноотпущенницу, но не последний. Его ближайший прочный преемник, добродетельный Веспасиан, полжизни прожил в связи с вольноотпущенницей Кэнидой (*Caenis*), секретаршей жены своей, и, по смерти последней, Кэнида заняла в семье Веспасиана место госпожи своей во всех отношениях, кроме официально показных. Этот конкуби-

нат был настолько открыт, признан и уважаем, что когда юный Домициан оскорбил Кэниду, грубо дав ей понять, что она не мачеха ему, но только выскочка служанка, выходка принца возбудила всеобщее негодование. Но жениться на Кэниде Веспасиан, все-таки, не мог. Вдовея, многие императоры, вслед Веспасиану, вступали, вместо новых браков, в конкубинат с какой-либо вольноотпущенницей, объясняя это предпочтением нежеланием давать детям своим новую мать, то есть рожать новое полноправное и, следовательно, соперничающее потомство, вводить во дворец, и без того всегда полный интриганами, новую родню и новые дрязги. Что значит для государства потомство государя, составленное из сводных братьев и сестер, испытало — в одном из наиболее выразительных примеров царство московское, по смерти Алексея Михайловича, в свирепой розни его детей — от двух матерей: Наталии Кирилловны Нарышкиной и Марии Ильиничны Милославской. В числе императоров-вдовцов, предпочитавших конкубинат второму браку, значится такое уважаемое имя, как Марк Авре-

лий. Влияние Кэниды на Веспасиана прости-
ралось до того, что она торговала должностя-
ми, прокуратурами, назначением по команде
войск, жречеством и даже императорскими
приговорами. Настолько властно и система-
тически, что злые языки утверждали, будто
Кэнида только ширма для взяток, стяжаемых
самым Веспасианом. Другой добродетельный
император, Антонин Пий руководствовался
рекомендациями своей конкубины Лизистра-
ты даже в назначении главнокомандующего
своей гвардии (*praefectus praetorio*). Еще боль-
ше знамениты: конкубина императора Лю-
ция Вера — прекрасная Пантия, прославлен-
ная восторженным панегириком сатирика
Лукиана, — и конкубина Коммода блиста-
тельная амазонка — Марция. Эта последняя,
действительно, была христианка или, по
крайней мере, дружила с христианами и ока-
зывала им серьезные услуги. Очень может
быть, что, по сходству Коммода, императо-
ра-гладиатора, с Нероном, императором-акте-
ром, предания третьего и четвертого века
смешали их легенды, и на древнюю Актэ пе-
ренесены были христианские черты поздней-

шей Марции.

Раз даже императоры, — притом императоры, считавшиеся с уважением общественного мнения, — могли себе позволять отношения открытого конкубината, это достаточный показатель его твердого и отнюдь не унижительного места в обществе. В надгробных надписях мы то и дело встречаем рядом жену и конкубину, детей от брака и конкубината. На некоторых упоминается конкубина, дети конкубины и законные дети от названной жены. Вдовый и детный римлянин решительно предпочитал конкубинат второму браку. Бывало и так, что, овдовев, римлянин брал конкубину и годами жил с ней; она умирает, — тогда он позволяет себе вступить во второй брак. Бывали случаи, что конкубинат, по испытанию годами, увенчивался официальным «покрытием греха», игралась свадьба, и конкубина обращалась в «жену законно родящую» (*uxor justorum liberorum quaerendorum gratia*).

Наилучшим свидетельством общественного признания конкубината можно указать то обстоятельство, что положение конкубины не

лишало женщину возможности быть жрицей, притом, взыскательного и тщательно охраняемого государством, Августова культа (*flaminica Augusti*), как то обнаружено одной надписью из гальского Немаузуса (нынешний Ним). Настолько часто употребляется, что можно считать ее общепринятой и постоянной, надгробная надпись родовых склепов: таким-то, потомству всех их, женам и конкубинам (*uxoribus concubinisque*).

Итак, наибольшее, что мог предложить Нерон прекрасной вольноотпущеннице, даже рискнув быть свободным от брака с Октавией, это — узаконенный конкубинат.

Возведенный Августом в юридический институт, — главным образом, ради нужд армии, разбросанной на долгие стоянки оккупационными отрядами и гарнизонами в трех частях света, и ради чиновников, которые, служа в провинции, не имели права ни брать к месту служения жен своих, ни, покуда служат, жениться на провинциалках, — конкубинат, уже в веке Нерона, сделался как бы второй ступенью брака. За ней, хотя и более льготной, власть следила таким же внима-

тельным пословным надзором, как за государственным законным браком (*justum matrimonium juris civilis*). Сенатору и потомству сенатора, как мы видели, был запрещен брак с вольноотпущенницами и женщинами сомнительного происхождения, но разрешен конкубинат с ними. При этом вольноотпущенница могла быть, как своя (это само собой разумелось), так и чужая (*aliena liberta*): как раз случай Актэ, которая была вольноотпущенницей кого-то из фамилии Аннэев.

Впрочем, и все знаменитые конкубины императоров, упомянутые выше, были *libertae alienae*, чужие вольноотпущенницы. Не лишнее также отметить, что на такой конкубинат требовалось согласие патрона вольноотпущенницы: значит, хотя бы лишь формально, но Аннэй должны были так сказать, благословить Нерона и Актэ на сожительство «вне оного, но как бы в ономе». Но сенатор не имел права на конкубинат с женщинами зрелищ, ни даже с дочерьми зрелищных профессионалок, ни с уличенными в торге телом своим. То есть со всеми теми, с которыми для остальных свободнорожденных, несенатор-

ского класса, был запрещен брак. Можно формулировать так: сенаторской конкубиной имеют право быть женщины, запретные для государственного брака сенаторов, и не имеют права быть женщины, запретные для брака остальных свободнорожденных. Конкубиной свободнорожденного может быть всякая женщина, независимо от того, разрешен ей или запрещен государственный брак со свободнорожденным: своя (*ancilla propria*) и чужая вольноотпущенница, свободнорожденная и дочь опозоренных родителей (*obscuro loco nata*), и проститутка. Таким образом, Августов конкубинат является совершенно правильным заполнителем всех запретных пробелов в *jus conubii*. Живи в правильном конкубинате с той, с которой ты не имеешь права сочетаться государственным браком: вот система и предложение Августа нововведения. Охранитель и консерватор, принужденный быть реформатором, Август, как всегда, вводил новое так, чтобы не обидеть старины. Конкубинатом он не расширял рамок государственного брака, но сузил рамки блуда (*stupri*). Август боялся смешанных междусо-

словных браков и, лишь скрепя сердце, позволял браки свободнорожденных с либертами. Ему здесь приходилось ломать старину. Еще во втором веке до Р. Х. право вольноотпущенной выйти замуж за свободнорожденного могло быть дано только в виде особой наградной привилегии, как то изображает Тит Ливий в случае вольноотпущенной Гиспалы Фецении. Старину Август сломал осторожной рукой, скорее согнул, чем сломал. Но, с другой стороны, реформатору необходимо было спасти государство от разврата, которым грозило непомерно выросшее число небракоспособных по закону женщин полугражданского, промежуточного между свободой и рабством, класса. И вот конкубинат открывает дорогу к этической классификации вольноотпущенниц, из которой затем возникает обычно-правовая. Появляется понятие о «вольноотпущеннице честного поведения» (*libertina honeste vivens*). Если такая вольноотпущенница сожительствует не с посторонним человеком, но со своим собственным патроном, то она не только занимает в фамилии почтенное положение невенчанной, но фактической

женой (это мы видели, и в первом случае было возможно), но и удостаивается от общества звания матроны, матери семейства. Из старинных определений внебрачного сожителства для таких почтенных особ сохраняется только «конкубина», которое часто заменяется, еще ступенью выше, знанием *coniux* (супруга). *Arnica* (дружка), *hospita* (хозяйюшка, барская барыня) отпали в словарь беспорядочных связей. Даже рабыня, занявшая положение конкубины, — хотя, собственно говоря, этот тип связи относится уж к типу не конкубината, но *contubernium*'а, — и та приобретала некоторое подобие гражданских прав: господин не мог продать ни ее самой, ни прижитых с ней детей, — *bonis venditis excipiuntur concubina et liberi natmales*. Конкубина из разряда «своих вольноотпущенниц» до такой степени уподобляется жене, что для нее затрудняется выход из конкубината: нужно согласие патрона-сожителя, она может быть обвинена в прелюбодеянии, и т.п. Закон выучился понимать конкубину, как женщину, взятую вместо жены (*uxoris loco*), общество — как «почти что законную жену» (*paene iustae*

uxoris loco). Майер упоминает надпись, где конкубина зовется *vicaria*, викария, — слово, понятное без перевода. В виду этого признания обычаем, закон берет под защиту, во-первых, возраст конкубины: запрещен конкубинат с малолетней, не достигшей 12 лет. Во-вторых — кровное родство: «должны соблюдаться естественное право и стыд»; римлянин не мог безнаказанно посягнуть на грех, постоянный и безнаказанный в дворнях русского крепостного права, на кровосмесительное сожительство с своей незаконной дочерью или сестрой. Наконец, конкубинат совершенно уподоблялся браку в том отношении, что конкубинатная связь была невозможна между опекаемой опекуном и всем родством опекуна. Дети конкубины, если не признаны отцом, признаются принадлежащими к сословию матери, но они — *sui juris*, т.е. самостоятельны к жизни, не принадлежат ни отцу, предполагаемому неизвестным (*patre incerto*), ни матери. Однако, мать имеет право, буде ее натуральное дитя что-либо наследует по завещанию, назначить ему опекуна, утверждаемого в Риме претором, в провинции прокон-

сулом. Вообще, по словам Нерация, эти отношения, в зависимости от общего бесправного положения женщины, были сильны лишь постольку, поскольку им сочувствовала верховная власть. Сенатусконсулты Тертулиана (158) и Орфитиана (178) идут в этом отношении прямо таки наперекор основному римскому праву XII таблиц, — берут под защиту свою то, что те, шестьсот лет назад, казнили. Но, во всяком случае, римский конкубинат обеспечивал только приличное положение женщины в современном обществе, а не детей ее в будущем. Дети от конкубината считались по матери, а не по отцу. Однако нельзя не заметить, по вышеназванным двум сенатусконсультам, что под давлением этих ограничений практика жизни, идя по линии наименьшего сопротивления, начала было вырабатывать что-то вроде возврата к родству по материнству. В законе появляется понятие «детей одной матери» (*liben eadem matre na'i*). На конкубину распространяются, до некоторой степени, покровительственные поощрения брачных законов Августа. Она причастна к *jus liberorum*, она имеет место в наслед-

ственном праве (*jus capiendi in tes'amenio*) и т.д.

Но, вместе с тем, оберегая выгоды брака, закон ставил между конкубиной и ее сожителем стенку отчужденности не только полулегальным положением детей, но и в отношениях имущественных. Конкубина для сожителя — особа, стоящая вне фамилии, лицо «чужого права» (*juris estranei*). Поэтому дар сожителя конкубине имел действительную силу и не мог быть отобран назад. Завещание сожителя в пользу либерты-конкубины рассматривалось, как совершенное посторонним лицом, и действительность его обуславливалась только общей гражданской наследоспособностью (*saracitas*). Зато присвоение конкубиной имущества сожителя преследовалось в уголовном порядке, как кража (*actio finti*), тогда как такое же присвоение законной женой носит деликатное название «перемещения имущества» (*actio rerum amotarum*) и разбирается семейным судом. Примеры наследования конкубиной без завещания имеются только при наличности детей, силой «детского права». Бездетная конкубина не получает по

смерти сожителя ничего, тогда как жена — по меньшей мере — десятую часть наследного имущества.

Брак Нерона и Актэ был невозможен, но выдумка его казалась романической и красивой. Молодой человек тешился в своем влюбленном воображении игрой в развод и новый брак, а при дворе льстили ему, притворяясь, будто верят в его любовные проекты. Светоний сообщает, что палатинские прихвостники успели уже сочинить для мнимой невесты цезаря пышную родословную, выводя простенькую Актэ от пергамского царя Аттала. Подобные усердствования Нерон должен был принимать тем охотнее, что они раздражали и унижали его мать. Резко отвернувшись от Агриппины, он перенес все свои симпатии туда, где его не бранили, а наоборот ободряли и укрывали, любезно потворствовали его увлечению и даже пристанодержательствовали. Сенека торжествовал. Агриппина спохватилась в своей ошибке, но было поздно. К тому же, меняя политику, она, что называется, перестаралась — сложила гнев на милость поворотом чересчур уж резким и неожиданным.

ным: вдруг пожелала заменить Серена в укрывательстве сыновней связи, предложила поселить Актэ на своей половине и отделить ей комнату для свиданий с Нероном, стала навязывать императору денег займы и т.п. Но, разумеется, в гонимой и напуганной Актэ Агрипина к тому времени имела уже заклятого врага. А Нерон, предостерегаемый друзьями, что императрица фальшивит и готовит что то недоброе, тоже не дался в ловушку и решительно уклонился от коварных любезностей матери. Все-таки, чтобы соблюсти вежливость и отблагодарить императрицу за ее заботы, — Нерон, после ревизии наследственных кладовых, перешедших в его владение по смерти Клавдия Цезаря, послал Агрипине богатый туалет и подбор драгоценных камней, выбрав щедрой рукой самые дорогие вещи из сокровищницы цезарей и гардероба бывших принцесс. В подарке этом не было ничего обидного; напротив, он полон любезной предупредительности: без всякой просьбы со стороны матери, сын посылал ей лучшее, что имел, чему все завидовали, и рады были бы выпросить хоть частицу. Но, должно быть,

императрице уж очень приелись приторные внешние почести, при систематическом урезывании действительного влияния, как на государственные дела, так теперь уже и на семейные отношения. В Агриппину как будто вселился злой дух. Ее обуяло какое-то именно «бабье» упрямое затмение ума. Она приняла дары как нельзя хуже и наговорила посланцам Нерона самых оскорбительных резкостей.

К чему эти подарки! Они ничего не прибавляют к блеску моего положения, а, наоборот — доказывают, что у меня отнято все остальное. Какое великодушие, что сынок посылает мне от своих милостей частицу богатств, которые все целиком я же ему доставила!

Наговорила Агриппина много и дерзко, а натолковали о том Нерону, конечно, еще больше и еще хуже. Цезарь очень обиделся, Вокруг него было достаточно людей, охочих поддержать в нем злое настроение против матери. Ими могли быть даже не Сенека с Бурром, а Сенецион или Отон — изящные господчики из «золотой молодежи», закадычные

приятели Нерона: против дружбы сына с ними императрица-мать восставала почти так же бурно и надоедливо, как и против связи с Актэ. Судя по тому, что Тацит упоминает о них впервые в соседстве с именем вольноотпущенницы, они были с ней заодно, образуя вокруг нее, вместе с Сереном, маленький приятельский дворик. Подобные дворики, интимно развиваясь, очень часто становятся сильнее больших дворов: они переманивают к себе душу государя и, предлагая ему дружеское убежище от этикета и декораций власти, мало-помалу отбивают его у чопорной семьи для своей непринужденной, запросто, общечеловеческими страстями живущей, веселой среды. Отон, которому в это время исполнилось 23 года, впоследствии показал себя умным и ловким администратором, а, по смерти Нерона и Гальбы, на короткий срок сам став императором, явил много человеколюбия и мягкости в характере. Тому, кто тридцати семи лет отроду пожертвовал собственной жизнью, чтобы прекратить междоусобную войну, кровавая, грозная, женщина, как Агриппина, должна была внушать сильную антипатию.

Клавдий Сенецион, сын вольноотпущенника, — по-видимому, тоже не дюжинный человек и несомненный конституционалист. Со временем мы увидим его в Пизоновом заговоре — одним из немногих участников, прикнувших к предприятию вопреки личным выгодам и под наибольшей из всех опасностью, — в точном смысле слова, ради идеи. Такие товарищи очень могли разжечь в Нероне желание обуздать «зазнавшуюся» родительницу, раз навсегда показать, что он не мальчишка, которому ей вольно делать выговоры и читать нравоучения, но правитель, принцепс, которому она должна повиноваться, а не то — он властен и наказать. Но способ обуздания, примененный Нероном, слишком политичен, хитер и остроумен, чтобы если не зародиться, то получить практическое развитие в таких молодых головах. Тут уже сверстники цезаря, конечно, ни при чем, — тут чувствуется рука Сенеки. Тем яснее, что принятая мера как нельзя более играла в руку партии конституционной и почти совершенно разрушала деспотическую, лишая последнюю главной опоры. В ответ на вражду матери,

Нерон дал отставку Палланту.

МИНИСТР ФИНАНСОВ

Пал человек замечательный. Вольноотпущенник матери Клавдия Цезаря, Антонии, — двор этой принцессы, вообще, был каким-то рассадником способных авантюристов (Кэнида, о которой упоминалось в предшествующей главе, тоже была вольноотпущенница Антонии), — Паллант попал в императорскую дворню, — как уверяли враги его, — с рынка, где он, босым разносчиком в лохмотьях, подавал *frutti di mare*. Умный, дальновидный, очень осторожный, двусмысленно увертливый, Паллант быстро становится доверенным лицом принцепса, потом его казначеем. Принцепат Клавдия очень важная эпоха в истории римского финансового управления. В это время многочисленные кассы разнообразных императорских доходов и расходные бюро были объединены в центральное ведомство отчетности (*a rationibus*), которое, именно по инициативе, энергии и деловитости Палланта, приобрело компетенцию и силу министерства государственных

финансов.

Диархическая форма правления, введенная Августом, территориально выразилась в делении государства на провинции сенатские и провинции государевы, цезарские. Сенатскими, на первых порах, были признаны: Африка с Нумидией, Азия, Эллада с Эпиром (Ахайя), Далмация, Македония, Сицилия, Крит с Киреной, Вифиния с Понтом, Сардиния и Корсика, Испания Бэтийская. Август оставил за собой: остальную Испанию (*Tarracoenensis*), Галлию с Германией Верхней и Нижней, Сирию с Финикией, Киликию, Кипр. Деление это нельзя считать ни обязательным, ни прочным. Императоры и сенат часто менялись провинциями — в зависимости от их внутреннего состояния, вернее же — от точки зрения, которую цезари считали выгодным и нужным брать на это состояние. Цезарские провинции предполагались и, соответственно тому, управлялись на военном положении; сенатские — на мирном, общегражданском, за исключением Африки, где, со времени Калигулы, гражданская и военная часть были разделены, и военная была

подведомственна императорскому легату, а гражданская осталась в руках сената. Взяв на себя заботы о провинциях военного положения, принцепсы, тем самым, оставили за собой всю армию. Из сенатских провинций только Африка имела на постое легион, да и тот командуемый от лица императора; для остальных большие части войск, как гарнизоны, почитались ненужными. Таким образом, армия и флот стали как бы личным достоянием принцепса. Но за правом следовала и обязанность: на него упало их содержание. Это выделение важнейшей по росписи расходной статьи на счет и ответственность государя ввело в римскую финансовую систему начало двойственности касс. Исконная римская государственная касса (Aerarium), наполняемая доходами с государственного имущества и течением прямых и косвенных налогов, уцелевших от республиканского строя, обратила свою деятельность исключительно на удовлетворение внутренних государственных нужд. Войско, двор, милости государя армии и народу — все, в чем так или иначе сказывалось личное распоряительство принцепса, — не

касались ее более, или если и касались, то лишь в самой малой доле, способной поддержать скорее символ соучастия в правлении, чем действительную нужду правления. На императорские расходы император должен был найти и доходы.

Первой кассой принцепата, обособленной от общественной казны, хранившейся при храме Сатурна (*aerarium Saturni*), явился пенсионный фонд для солдат-инвалидов (*aerarium militare*), учрежденный Августом в 759 г. (6 по Р. Х.). Учреждение его было непосредственно результатом упорядочения, в предшествовавшем году, сроков военной службы: для легионеров — 20 лет, для преторианцев — 16. Основной капитал (170 миллионов сестерциев = 17 миллионам рублей) пожертвовал сам Август от имени своего и Тиберия, а в качестве постоянных питательно-доходных статей даны были фонду: пятипроцентное обложение наследств по завещанию (*Vicesima hereditatum*) и однопроцентная пошлина на аукционные приобретения (*centesima rerum venalium*). Это старые республиканские налоги, лишь воскрешенные и

реформированные Августом, вероятно, под влиянием и по образу однородных египетских податей. Как справедливо указывал Гиршфельд и подтверждает его взгляд наш Вишпер, административное и финансовое устройство эллинизированного Египта произвело на Августа, его присоединителя, глубокое впечатление и отразилось заимствованиями во множестве его учреждений и реформ. Кроме указанных сумм, Август отдал военному эрарии имущества внука своего Агриппы Постума, когда тот был изгнан на Планазию (ныне Пьяноза, остров между Корсикой и Ильвой). Устроенный в начальную пору принципата, когда последний нуждался в особенно густой маскировке наружными республиканскими приметам, военный эрарий был также снабжен ими. Новую податную коллегию, поставленную ведать приход-расход инвалидного капитала, с префектом во главе, Август организовал не как свое государство управительство, но как учреждение государственное. А именно: доходные статьи свои военный эрарий собирал в том же откупном порядке, чрез публиканов (*publicani*),

как поступали обложения в пользу эрария Сатурнова, главной республиканской казны; префектом военного эрария (*praefectus* или *praetor aegarii militaris*) назначался, а сперва даже избирался, чиновник из римских всадников — и, опять-таки сперва, даже из бывших преторов, — а отнюдь не из вольноотпущенников, которых цезари имели обыкновение ставить во главе дел и учреждений, рассматриваемых как действительная или фиктивная часть императорского хозяйства. Избираемый на трехлетний срок, префект военного эрария имел вид республиканского магистрата и даже получил двух ликторов. Когда в республиканских масках надобность уменьшилась, избрание заменилось назначением, ликторов у префектов отобрали, и остался, вместо республиканского магистрата, простой бюрократ военного ведомства, управляющий инвалидным капиталом. Военный эрарий просуществовал два века. Зыбкость его конституции не позволила ему вырасти в ярко выраженное государственное учреждение. Застряв между сенатским эрарием и цезаревым фиском, он влачил мало вли-

ательное существование и, по мнению Эмбера (Humbert), слился, наконец, с первой из двух касс, т.е. с сенатской казной. Последнее упоминание о военном эрарии имеется от эпохи Гелиогабала.

Фикция частновладельчества, распространенная на императорские провинции, возникла из старых республиканских полномочий, по которым главнокомандующий-завоеватель считался, так сказать, антрепренером войны своей и затем хозяином присоединенного края, покуда последний оставался на военном положении. Уже упоминалось однажды выразительное мнение Красса, что он не считает богатым того человека, который не в состоянии принять на свой счет ведение войны. Плутарх весьма оспаривает это заносчивое мнение, по Плутарх писал два века спустя после Красса, когда мир и война лежали в руках его государей; для первой же половины последнего столетия пред Р. Х. слова Красса и основательны, и практичны. Расширяющейся и укрепляющейся республике нужны были конквистадорские экспедиции, и они явились, руководимые либо богатыми банкирами, как

Красс, либо их несостоятельными должниками, как Юлий Цезарь, которого долги были настолько велики, что Красс, как хозяин денежного рынка, нашел выгоднее принять их на свой кредит, чем банкротством Цезаря вызвать кредитную панику во всем Риме. Оккупация страны после военной победы являлась для республиканских генералов-конквистадоров, достаточно богатых, чтобы вести войну за свой счет, как бы залогом возмещения понесенных ими расходов. Когда количество этих генералов-конквистадоров, последовательно сокращаемое взаимосоперничеством или военными неудачами (Красе), свелось к двум — Цезарю и Помпею, — мир сделался свидетелем междуусобия не только политических партий с двумя крупными честолюбцами во главе, не только политических принципов и социальных групп, но и, прежде всего, экономического напряжения двух гигантских имений, в которые, именем Рима, но на давностных правах частной оккупации, входили целые павшие государства и покоренные народы. Запад и Восток Средиземного бассейна сошлись в драке великой соседской

размежовки, для которой Адриатикоионическая полоса Балканского полуострова последовательно указывала им Фарсалу, Филиппы и Акцииум. Юлии выиграли этот великий земельный процесс, рассуженный оружием против аристократической олигархии в пользу демократического единовластия. Объединяя в государстве части спорных имений, Август имел возможность брать с двух сторон обеими руками: принял Испанию, Сирию и малоазиатские земли, на полу-вотчинном, так сказать, праве, как наследник завоевателя Помпея, а Галлию — на том же праве, как наследник завоевателя Юлия Цезаря. Облеченный своим проконсульским повелительством, Август всюду в провинциях стоит как правитель-завоеватель и преемник завоевателей. Диархия принципата подразумевала для цезаревых провинций военное положение вечно длящимся, что и обуславливало такую же длящуюся фикцию полномочий над ними цезаря. Военные силы, расположенные главными массами своими в императорских провинциях, император содержал на доходы, им из этих провинций извлекаемые. Каждая

провинция имела свое податное учреждение, фиск (напр. *fiscus Gallicus*). Развивая свои операции, провинциальные фиски, естественно, вызвали необходимость в центральной кассе и отчетности, каковое учреждение и возникло в Риме под названием «фиска Цезаря» (*fiscus Caesaris*) или просто «фиска». Это новое ведомство получило очень сложную компетенцию. Сан принцепса считался верховно-магистратным, следовательно, был почетный и государством не оплачивался. Понятие гражданского листа принципату чуждо; цезари окупали стоимость своих дворцов из «собственных», то есть фискальных сумм. Итак, даже в первоначальном своем устройстве, сообразном с относительно умеренными финансовыми обязательствами к государству, которые принял на себя Август, — фиск был центральной приходо-расходной кассой принцепса по доходностям и нуждам его провинций. Из статей государственной росписи касса эта давала питание бюджетам: 1) армии и флотов (военного министерства),

2) министерства двора, а также — конечно прежде всего —

3) внутренней администрации тех самых провинций, что доставляли фиску его доходы, — ведомство, срединное между министерством внутренних дел и современными европейскими министерствами колоний. В связи с этими тремя категориями, фиском оплачивались: хлебное продовольствие города Рима; пути сообщения, в особенности дороги стратегические; почта и разные государственные сооружения, возводимые императорами как бы в дар республике.

Недостаточность доходов сенатского эрария обнаружилась еще при Августе. Иначе и не могло быть. Замкнутая в первоначальном кругу своем, доходность сенатских провинций представляла собой поле, производительность которого должна понижаться по мере истощения почвы, рудник, который осужден на истощение, пропорциональное выработке. Главный элемент этой доходности — общественные земли, *ager publicus* — был очень значителен, заключая в себе громадные богатства пахотной землей, лесами, пастбищами, рудниками. Но площадь их быстро таяла в системе ассигнаций, в учреждении военных

колоний, и даже просто в частновладельческих захватах, — особенно в Италии. Военные расширения Рима мало поддерживали эту площадь, да и, в эпоху принципата, захватные расширения шли по землям богатств не настоящих, но будущих. Работая на грядущие свои поколения, Рим завоевывал дикие дебри заальпийских и задунайских германских народов, девственные пустыри, которые для того, чтобы стать государственными сокровищами, сперва сами требовали громадных расходов на культивировку. Значит, если сенату и перепали прирезки к *ager publicus*, то постигала их судьба русских государственных имуществ землями, лесом и рудами на Печоре, в Закавказье, на Урале, в Средней Азии. Казна не в силах была решиться на эксплуатацию мертвых богатств своих и, в конце концов, за бесценок или даром отказывалась от них или в пользу частного откупа во владение, либо аренду, или в пользу соседнего и смежного ей ведомства, — государева фиска, — обладавшего достаточными подъемными и оборотными капиталами. Расхищение общественных земель Италии осуществилось

с такой быстротой, что в эпоху Домициана оно представляется уже завершенным и непоправимым фактом, а затем мало-помалу, вся эта громадная недвижимость, пройдя стадию частновладельческих крахов, переползла в собственность коронную. Таким образом, эрарий римский сидел, в некотором роде, на «Шагреновой коже» Бальзака. Он не смел иметь желаний, ибо, при каждом исполнении желания, роковая кожа злоеще сокращалась. Прозябание этой кассы при цезарях — картина дрящегося банкротства, которое постоянно висит в воздухе и не падает к решительному печальному концу только потому, что государи приходят на помощь эрарию иногда денежными субсидиями, чаще же снимая с него и перенося на свой фиск разные обязательства государственного хозяйства. Субсидии Августа государству достигли четырех миллиардов сестерциев (400 миллионов рублей). Нерон ежегодно снабжал эрарий из фиска 60 миллионами сестерциев (шестью миллионами рублей). Об одной из Нероновых субсидий (под 57 г. по Р. Х.) Тацит совершенно определенно говорит, как о вспомогательной

ссуде, вызванной падением кредита казны: дано сорок миллионов сестерциев (четыре миллиона рублей) для того, чтобы поддержать в народе доверие к государственным кассам *ad retinendam populi fidem*. Август, в своей политической автобиографии (*Monumentum Ancytanum*), хвалится, что четыре раза помогал эрарию и передавал крупные суммы управляющим казной. Что касается второго вида помощи, то, благодаря ему, хозяйство цезарей мало-помалу коснулось всех отраслей государственной жизни, а важнейшие из них приняло в себя всецело. Народное продовольствие в Риме и отчасти в Италии, пути сообщения, общественные постройки и водопроводы, монетный выпуск и т.д., — статьи государственной росписи, из которых каждой достаточно, чтобы дать работу целому министерству, — зависели теперь от средств императорского фиска. Вместе с обязанностями, фиск, конечно, приобретал и права, понемногу отобрав у эрария некоторую долю прямых налогов (*tributa*), значительную часть косвенных (*vectigalia*), вмешавшись в операции ценза, наложив руку на су-

дебные пени, на секвестрацию имущества по судебным приговорам (*bona damnatorum*), на водоснабжение. Более того: кредиты и ссуды, передаваемые из ведомств в ведомства, не могли обходиться без контроля ведомства государева над ведомством государственным и, понятное следствие, без господства ведомства ссужающего и богатого над ведомством ссуду получающим и бедным. Императорские ревизии эрарий испытал и при Августе, и при Тиберии, и при Нероне. В завещании Августа, которое, по тяжкой болезни его, когда все ждали его смерти, получило прижизненную огласку, заключались счета не только фиска, но и эрария, и недоимок по податям. Характерно, что счета эти Светоний определяет, как *rationarium imperii* (отчетную государственную роспись) или — впоследствии *breviarium totius imperii* (свод счетов по всему государственному бюджету). Конечно, Светоний мог примениться к понятиям своего века, когда принципат совершенно переродился в монархию и она фактически торжествовала по всему фронту государства. Но еще возможно, что он, как добросовестный компи-

лятор, просто переписывал дословно все эти выразительные термины со старых документов. Систематически режутя в пользу фиска крупнейшие обложения, коими пополнялся эрарий. Государи великодушно предоставляют сенатской казне такой сбор второстепенных доходов, как налог на содержателей публичных отхожих мест (*logicaeii*), на торговцев, ремесленников, носильщиков (ручных возчиков), публичных женщин и т.д. Но либо отнимали, либо урезывали такие, например, постоянные и огромные доходности, как 2 1/2-процентный налог на процессы, учрежденный Калигулой и уничтоженный Гальбой. Отмена последним этого налога, очевидно, была радостным событием для государства, потому что правительство даже нашло нужным увековечить свою реформу специальной бронзовой медалью — «в честь отмены сороковой доли», «*quadragesima remissa*». Вообще, старые налоги и подати, которыми питался эрарий, по-видимому, были для населения предметами величайшей ненависти. Когда Август искал уступок от сената, он запугивал сенаторов угрозой восстановить для Рима и Италии

подходный налог (*tributum ex censu*), заменивший Риму «внутренние займы» на предметы военных надобностей и исчезнувший в 167 до Р. Х. Когда Нерон, в идеалистическом либерализме первых дней своей власти, вознамерился осчастливить весь род человеческий, он думал достигнуть цели своей простой мерой — чрез отмену всех косвенных налогов. Сенат пришел в ужас: он жил косвенными налогами. Удар по ним сразу разрушил бы то своеобразное дворянско-кулаческое земство, в порядке которого управлялись сенатские провинции. Из всего того становится ясным один из наиболее влияющих факторов деморализации обессиленной римской республики и роста деспотического единовластия: постоянная задолженность государства пред государем. Фиск богатеет, дает займы и бросает от щедрот своих подачки. Громадные размеры последних ясно выражают широкий приток средств в кассы ведомства, несколько не смущаемого риском истощения. Эрарий нищает, занимает и переходит понемножку на оскуделое положение приживалки. Диархическая республика — фикция, покрываю-

щая монархический абсолютизм. Государственная казна — фикция, покрывающая зависимость страны от государева кошелька. Собственно говоря, в это время — после гражданских войн и, по крайней мере, на сто лет вперед — только содержимое императорского кошелька и есть для отпускной государственной казны «вещь», а не «гиль». Потому что единственно оно обеспечено тем правом, которое единственно же гарантирует правильное вышибание денег из податных слоев государства, — правом силы. Силы не только грубой, грабительски требовательной (в этих качествах не имело недостатка, а скорее страдало от преизбытка их и управление сенатских провинций), но и организованной в правильное, стройное, машинообразное и машиномерное хозяйство. Все это опять подразумевает сложную организацию пестрых фискальных должностей.

Фактически доходы фиска и судьбы императорских провинций находились в ведении принцепса бесконтрольно. Однако правовая фикция длящихся военных полномочий, отдавшая провинции принципату, никогда не

забывалась, и государь как будто был обязан сенату известным отчетом по течению фискальных сумм. Но, параллельно сложной системе фиска, существовало еще огромное вотчинное управление частными владениями государей (*patrimonium, res* или *ratio privata*), семейными и благоприобретенными. Крупные земельные владения Августа, выращенные быстрым темпом конфискации и якобы наследственных захватов в эпоху и после гражданских войн, положили начало колониальной политике цезарей и перенесли на нее центр государственной экономики. Наследники аристократических «династий», как называет Дион Кассий фамилии военных захватчиков, генералов-авантюристов последних дней республики (Помпея, Красса, Цезаря, Антония и самого Октавия), Цезари присоединили к присвоениям чрез военную силу присвоения чрез брачные союзы. В начале «Зверя из бездны» было показано, что фигура Нерона создавалась, как фокус вырождения пяти знатнейших и богатейших семейств Рима, вымерших для того, чтобы перелить жизнь свою в один род Клавдиев, который, в свою очередь,

как будто не выдержал этого чудовищного наплыва сил и погиб их жертвой, как слишком полнокровный человек гибнет от апоплексического удара. То, что я говорил о психологии Клавдиев, применительно также к экономии их и к политике, которую они основали на своей экономии. Цезарь, — прежде всего — помещик, соединивший во владении своем земли основных фамилий, из которых вырос род его, Юлиев (следовательно, и побежденных Юлиями: Помпеев), Актавиев, Антониев, Клавдиев и Домициев Аэнобарбов. Это естественное и законное (формально) скопление стало ядром колоссальной недвижимой собственности цезарей, нараставшей частью чрез наследование от знатных сенаторских родов (*hereditates*), частью чрез конфискацию имущества государственных преступников (*bona damnatorum*), частью чрез новые богатые браки. Императорская фамилия становится как бы магнитом, притягивающим к себе земли и золото. За 95 лет династии Августа, она, кроме перечисленных, втянула в себя роды и веками накопленным состоянием Силанов, Лепидов, Марцеллов, Плавтов, Валериев

Мессал. Это — не считая сравнительно мелких, случайных и розничных поглощений, которых примером может быть хотя бы переход в руки цезарей, через Агриппину, колоссального состояния Криспа Пассиена. Вотчины государей раскинулись очень широко и в сенатских провинциях. Они не платили налогов в эрарий и пользовались самоуправлением под ведением прокураторов (*procuratores patrimonii*). Значит, и здесь они имели все данные для того, чтобы расти и множиться, округляясь и тучнея за счет слабеющей податной силы частного владения и пустующих либо разоренных государственных земель. Опять таки и в вотчинном управлении было тонко проведено различие между собственностью цезаря, как помещика, — частной в полном смысле слова (*Patrimonium privatum*), и собственностью по праву государя (*patrimonium Angusti*). Так, например, знаменитые римские *horti Sallustiani*, Саллюстиев парк, считались принадлежащими только правящему принцепсу, как владение не по роду, а по должности. Патримониальные владения цезарей управлялись, как всякие вот-

чины, через приказчиков (procurators, rationales), обязанных, — каждый по кругу или предмету своего наблюдения, — отчетностью (ratio). Старший управитель, дворецкий или бухгалтер, в ведении которого суммировалась отчетность приказчиков, назывался главным счетоводом — a rationibus. Домашний титул этот звучал очень скромно еще при Тиберии. Совершенно исключительное место в ряду патримониальных владений императорских занимал Египет. Август не зачислил Египта ни в те, ни в другие, но объявил его своей вотчиной, — или, как настаивает Ростовцев, не весь Египет, но бывшие коронные и частные земли египетских царей. Этот огромный и лучший угол своих вотчин Август устроил, как вицекоролевство, с префектом из римских всадников во главе управления (praefectus Aegypti). Вотчинный, частновладельческий характер Египта под рукой цезарей выразительно рисуется тем обстоятельством, что сенат не только лишен был возможности вмешательства в дела этого края, но более того: ни один сенатор не имел права въезда в Египет иначе, как спросив разреше-

ния у цезаря. Разрешение здесь равно приглашению — быть гостем императора. Человек низших сословий свободно въезжал в Египет, потому что был для императора не ровней и понимался в посещаемой стране как путешественник по частным делам, под охраной местной власти и в зависимости от нее. Но сенатор — пэр, ровня государя, и если его посещение цезаревой страны — вотчины совершалось с государева ведома, то он принимался в ней как государев гость; если же без ведома, то как злоумышленник, забравшийся в чужое имение с какими-то тайными, а следовательно, подозрительными намерениями. Выше упомянуто было о громадном влиянии, которое Египетская вотчина римских государей возымела на дальнейшее устройство римского государства. Политической системе принципата, стремившейся и сознательно, и инстинктивно, к уничтожению самоуправлений и замене выборных форм бюрократическими, оказались необычайно на руку примеры египетской административной централизации. Как это часто бывало, победитель нашел, что им побежденные управлялись на-

столько выгодно и удобно для хозяев страны, что, ради пользы своих, не только надо сохранить этот порядок, но, по возможности, распространить его и на всю родную страну. И вот — не покоренная Александрия подражает Риму, по покоритель, Августов Рим, подражает Александрии и надевает на шею свою ее полицейские хомуты. «В Августовых префектах повторяются александрийские чиновники. «Начальника ночного дозора» с его *νυιτοϋυλαιεξ στρατευομενοξ*; не трудно узнать в римском *praefectus vigilum* (NB. пост, который при Нероне занимал сперва Софоний Тигеллин, потом Аннэй Серен) с его командами для тушения пожара и обхода города ночью. Экзегет был воспроизведен в префекте хлебоснабжения или, может быть, в префекте города, в римском полицеймейстере» (Вишпер). Ту же подражательность египетским образцам обнаруживает Август в переустройстве финансовых учреждений. В самом Египте он прямо таки сохранил финансовую организацию упраздненного царства Птолommeев. Вице-король (*Praefectus Aegypti*) представлял собой государя, как генерал-губернатор края, но

сверх того имелись: *juridicus*, законоблюститель, постоянный ревизор судебных учреждений округа, и *idiologus*, главноуправляющий финансами. (Маквардт.) И так как, несмотря на колоссальные размеры, значение и влияние Египта, он был все-таки не более как грандиознейшим имением частновладельческого типа, — то все эти префекты, юри-дики, идеологи — под разными громкими титулами — тоже, в конце концов и все-таки, не более как старосты и управители необычайно богатых и знатных помещиков. А Египет дал образцы для всего императорского народохозяйства, к которым одна провинция приближалась больше, другая меньше, но каждая сколько-нибудь приближалась, и ни одна совершенно не удалялась.

Таким образом, управление фиском было организовано императорами по образцу вотчинного, — вернее сказать: вотчинное устройство перебросилось и расширилось в фискальное. Порядки вели за собой и имена. Чиновники фиска, назначаемые также из вольноотпущенников государевых, и по существу, и по названию, остались прежними

приказчиками на отчете, но прокуратуры их разрослись в работу казенных и контрольных палат, понятие «ratio» стало обнимать деятельность целых департаментов и специальных финансовых или промышленных ведомств-подразделений. Чиновники фиска назначались из вольноотпущенников: этот вечный «оптический обман», поддерживаемый презрительными кличками аристократических историков и сатириков, как Тацит и Ювенал, слишком долго вводил исследователей в соблазн смотреть на государственные учреждения принципата, как на какую-то огромную дворню фаворитов. То обстоятельство, что фискальная служба предоставлялась по преимуществу чиновникам, происходившим из вольноотпущенников, представляется мне просто поисками новых свежих людей, подобными тем, которые в русском XVII веке отгеснили на задний план родовое боярство служилым дворянством, в веке XVIII сочинили табель о рангах, в веке XIX выдвинули знать владимирского креста. «Птенцы Петровы», и первый из них Меньшиков, а сто лет спустя такая фигура торжествующего

parvenu, как М.М. Сперанский, аналогичны этим преуспевающим вольноотпущенникам: они — Палланты XVIII и XIX веков. Но говорить, что римским фиском управляли вольноотпущенники, равносильно тому, как — если бы сказать: по смерти Петра Великого Россией управлял пирожник, при Александре Первом — семинарист, а в начале XX века — начальник железнодорожной станции. Уже самая необходимость поднять авторитет фиска в глазах народа не позволяла цезарям оставлять своих министров финансов на полурабском уровне вольноотпущенников. Ведь их контролю и распорядительству подлежали управляющие провинциями, прокураторы и т.п., часто — всаднического происхождения. В современной «Зверю из бездны» маленькой Иудее в роли прокураторов мы видим то вольноотпущенников (Феликс), то самых настоящих, столбовых, так сказать, римских дворян: Фест, раньше Понтий Пилат. Гордость народа не могла бы потерпеть ни подобных чередований, ни подчинения в должностных отношениях свободнорожденных граждан вчерашним рабам, если бы власть цезарей не

умела возвышать креатуры свои чинами и отличиями, соответствующими их государственному значению. Когда Паллант стал у власти, мы видим его, конечно, не вольноотпущенником, но всадником в преторских знаках отличия, государственным человеком, заслуги которого увековечены доской на Форуме и т.п. Сто лет спустя, директора фиска, т.е. министры финансов, старшие чиновники *arationibus*, получили титул «ваше совершенство» (*perfectissimus*), который, конечно, общественным обычаем был присвоен им гораздо раньше, чем в официальном порядке.

Письменные люди, выскочки-бюрократы античного мира сделали свою сословную эволюцию из грязи в князи с такой же быстротой, теми же средствами и по той же необходимости, как «дьяки» в старом Московском государстве. Еще в XV веке дьяки, «которые ведали прибыток князя» (значит, как раз прокураторы *a rationibus*), — рабы. В XVI веке дьяк Ивана Грозного — «введенный», т.е. уже вольный. Сословие смешано: «тут были рабы и свободные, ближние и дальние дьяки. Нет повода думать, чтобы дьяки-рабы не достига-

ли близости (к царю)»... В течение XVI века «из неважного придворного чина, каким были до того времени дьяки, ведавшие письмоводство своего князя, его прибутки и казну, они становятся правительственным классом, деятельность которого обнимает все важнейшие дела и на пространстве всего Московского государства». А в XVII веке — «один дьяк и десять подьячих определены для наблюдения всех высших чинов в государстве. О результатах своих наблюдений они докладывают прямо царю, помимо бояр и думных людей» (Тайный приказ у Котошихина). В 1619 году дьяк Иван Грамотин произносит от имени царя Михаила Федоровича, в его присутствии, просительную речь к Филарету Никитичу о принятии им на себя звания патриарха. В судной боярской коллегии думный дьяк — настоящий хозяин: он — и инициатор-преследователь, и решитель расправы, — в одном характерном эпизоде о местничестве рассказывает, как думный дьяк Томило Луговской бьет костылем неправильного местника Ивана Чихачева, причем его примеру послушно следует дядя царя, Иван Никитич Романов. «Пра-

вительственную власть, исходящую из центра вновь возникшего государства, в окраинах его гораздо полнее представляет дьяк, чем старый наместник-кормленщик, хотя бы и боярин». И так далее. Но, за всем тем, всемогущие дьяки «отцовской чести не имеют» — «они и в XVII веке считаются худым чином» и продолжают оставаться «неродословными». Но «дьячество не мешало выслуге. Думный дьяк Лар. Дм. Лопухин был сделан думным дворянином; думный дьяк Сем. Ив. Заборовский возведен в звание думного дворянина, потом окольного, а наконец, и боярина» (Сергеевич).

При Клавдии, под давлением даровитого Палланта, все фискальные и вотчинные императорские кассы получили единство: учрежден был центральный римский фиск. Управляющий им чиновник *a rationibus* возымел значение министра финансов — притом, как легко видеть даже из описанной уже, сравнительно узкой области первоначально фискального влияния, с чрезвычайно широким государственным авторитетом. Его министерство (*officium*) потребовало огромного

множества чиновников, комплект которых собирался, как только что говорилось, из вольноотпущенников или — на низшие должности — даже из рабов. Министр фиска объединял в руке своей все операции фисков провинциальных; дирекции последних, как в Риме, так и за его чертой, были строго подчинены контролю центральной римской кассы, которая оплачивала ордера по выдачам. Фиск сделался главной государственной кассой, которая держала в зависимости от себя государственную казну сената (Aerarium) чрез постоянный текущий с ней счет и частную авансировку крупных сумм. (Humbert.) Таким образом, Паллант был настоящим финансовым диктатором своей эпохи. Он неограниченно распоряжался бюджетом, стоя не только во главе всех фискальных учреждений, но и выше администраторов, управляющих провинциями, так как, без его контроля и санкции, кассиры фиска (argarii) не погашали представляемых к уплате провинциальных ассигновок. Вот как изображает правительственную роль чиновника а rationibus поэт Стаций в стихотворении на смерть воль-

ноотпущенника Клавдия Этруска — приемника Паллантова: «Вот уже одному блюстителю вверена роспись императорских капиталов, богатства, рассеянные между всеми народами, и расходы вселенной. Добыча золотоносных рудников Иберии, сверкающий металл Далматских гор, жатвы африканских нив, умолоть на гумнах знойного Нила, ловли водолазов в восточных морях, развитие скотоводства на лакедемонском Галезе, прозрачный хрусталь, дубовые дебри Нумидии, великолепие индийской слоновой кости, — все вручено одному министру! все, что влекут в нам Борей, суровый Эвр и тучегонитель Австр. Легче сосчитать капли зимних дождей и листья в лесах, чем твои обязанности. Ты поставлен бодрствовать, твоего чуткого ума дело соображать ежедневный расход по римским войскам, раздачи милостей народу, потребности храмов, устройство высоких водопроводов, портовые сооружения, длинно растянутую дорожную сеть; на твоей ответственности — золото, предназначенное сверкать на плафонах государева дворца; бронзы для отлива божественных кумиров; чеканка

звонкой монеты для Италии. Редко выпадает тебе отдых, не до наслаждений твоей душе, ты наскоро обедаешь, и некогда тебе утопить заботу в глубоком кубке». Между тем Клавдий Этруск, не гонявшийся за политическим влиянием, имел все-таки меньшую компетенцию, чем Паллант, который, подняв значение своего ведомства до повелительного первенства в строе всей государственной машины, положил на ход ее властную руку и, понимая роль свою, как роль первого министра, мешался во все. Может быть, именно реформа объединения розничных государственных касс в общий фиск и поссорила Палланта с Нарциссом. По крайней мере, последний открыто восстал против Агриппины и Палланта именно после того, как был обличен императрицей, — а это все равно что самим Паллантом, — в денежных злоупотреблениях по сооружению канала из Фуцинского озера в реку Лирис. Гиббон высчитывал приходные статьи римской империи в 350—450 миллионов франков в год. Дюро де ла Малль предполагает годовой доход сенатской казны около 40 миллионов франков, — значит, в 10% Гиббо-

новой суммы. Это — выразительная иллюстрация и к тем соотношениям между фиском и эрарием, о которых шла речь выше, и к тем громадным (относительно к времени и дороговизне денег) суммам, которыми ворочал министр римского фиска. Обреченность римской государственной казны может быть понятно выражена таянием ее сбережений. По смерти Тиберия их оказалось на сумму двух миллиардов семисот миллионов сестерциев (270 миллионов золотых рублей). По смерти Антонина Пия — на сумму 745 миллионов франков (1861/4 миллионов золотых рублей). Столетнее разорение всемирного государства, правда, однажды потрясенного страшной гражданской войной, но зато постоянно обогащаемого внешними войнами и развитием торгового оборота в растущем населении, выражается — 84 миллионами рублей дефицита. Правда, у римлян зато не было внешнего государственного долга. Но, ведь, им и не у кого было занимать.

Трудно сомневаться, что Паллант был государственным человеком редких дарований. Но применял он их в антипатичном, узко дес-

потическом направлении, а характер имел весьма противный. Одним из главных придворных талантов его было поразительное умение выезжать к успеху на чужом горбе. По трусости, он уклонился от заговора вольноотпущенников против Мессалины, но когда она погибла, вышло, что Нарцисс уничтожил ее как будто для того, чтобы еще усилить могущество Палланта. Он выдал Агриппину за Клавдия, и вот, жена государя — его любовница. Сенат — у его ног. Ему вывели родословную от аркадийского царя Эвандра, одного из святых полубогов древнейшей римской мифологии, и выскочка сразу стал аристократом из аристократов. О бессердечной надменности его еще будет случай говорить. Пока — достаточно и того, что важная надутость Палланта была одной из главных причин антипани к нему Нерона. По мнению Гастона Буассье, едва ли не в Палланта метил любимец Неронова двора, гениальный Петроний, создавая в своем бытовом романе (*Satyricon*) знаменитую карикатуру вольноотпущенника Тримальхиона. Едва ли. В Тримальхионе нет ни капли Паллантова государственного ума, в

Палланте — ни капли Тримальхионова буржуазного добродушия.

Надо согласиться: Палланту — бывшему рабу с проколотыми ушами — было от чего зазнаться. Он получил всадничество и право присутствовать в сенате. Брат его Феликс, упоминаемый в «Деяниях апостольских», сделал блестящую прокураторскую карьеру и имел прозвание «мужа трех цариц»: родовые пороки этого человека — жестокость и корыстолюбие — постыдно сказались даже в таком сравнительно маленьком, обывательском деле, как процесс ап. Павла. Феликс, брат Палланта, — один из важнейших факторов-подготовителей национальной Иудейской революции.

Как часто бывает с выскочками в знать, Паллант примкнул в ней к самой крайней правой и стал заодно с партией суровых охранителей. Его инициативе обязан возникновением, не раз уже упомянутый, грозный карательный закон *lex Claudia*, против брака свободных женщин с рабами. Законопроект был доложен от имени Палланта самим Клавдием, и сенат объявил автора чуть не спасите-

лем отечества. Консул будущего года, Бареа Соран — впоследствии видный деятель республиканской партии, друг Тразеи Пета и один из мучеников гонимого стоицизма — так расчувствовался, что предложил наградить Палланта преторскими знаками и пятнадцатью миллионами сестерциев, то есть пожаловать ему полтора миллиона рублей. Корнелий Сципион потребовал благодарности Палланту от лица государства за то, что потомок Эвандра, ради пользы республики, не побрезговал стать в число чиновников государя. Паллант принял почести, но отказался от денег: он предпочитает, — выразился Клавдий, — остаться в прежней бедности. Постановлено было вырезать на меди и выставить на форум сенатом утвержденную хвалу бескорыстию и древней умеренности Палланта. А его, к тому времени, считали в трехстах миллионах сестерциев, то есть — в пятнадцати миллионах рублей золотом. Знаменитый государственный человек эпохи Клавдия, талантливейший и подлейший Л. Вителлий, держал портреты Палланта и Нарцисса в домашней божнице, наряду с ларами рода свое-

го. Правда, что об этом аристократе тоже ходило предание, что дед его вольноотпущенник, а бабушка — девица зазорной профессии. Но мы видим, что Сораны и Сципионы гнулись перед Паллантом столько же низко, а об одном из них — первом, знаем, что он был не только не низкий, но, наоборот, исключительно порядочный человек в темном веке своем. Значит, Паллант ценился не только придворной камарильей, но имел за себя и серьезную партию в сенате, которая верила в его политику и имела охоту идти за ним и поддерживать его. Огромный капитал Палланта надолго остался в памяти родовых аристократов, оскорбленных роскошью выскочки. В полемике против сословия вольноотпущенников, которой громит первая сатира Ювенала, не забыто и Паллантово имя. «Дай пройти вперед претору и трибунам! убеждает» какого-то наглого вольноотпущенника чиновник-докладчик в приемной такого же министра из вольноотпущенников. Но тот возражает:

— Я первый пришел, чего мне бояться? Небось, сумеем отстоять свое место, — даром,

что я родился на берегах Евфрата, и это плачевное обстоятельство — даже, если бы я сам вздумал его отрицать, — обличают дыры в проколотых ушах моих. Мне, брат, пять магазинов моих дают четыреста тысяч сестерциев дохода. Скажешь, пурпурная тога больше дает? Знаем мы, что последнего из Корвинов нужда заставила наняться в пастухи к стадам какого-то лаурентинского овцевода. Я, любезный мой, богаче Палланта и Лициниев. Так пусть посторонятся передо мной трибуны. Дорогу богачам! (*Vincant divitiae*).

Надпись в честь Палланта, в которой он величался стражем государевых капиталов (*custos principaliū orūm*), украсила здание одного из императорских казнохранилищ — «у панцырной статуи Юлия Цезаря» (*ad statuam loricatedam divi Julii*). Главным казнохранилищем цезарей и вместе государственным банком служил, кажется, храм Кастора и Поллукса, удобно расположенный у самого подножия Палатина. Калигула даже соединил храм со своим дворцом. Возможность здесь казнохранилищ подтверждается обширными подвалами храма; стихом Ювенала о том, что

в его время ссудо-сберегательная касса Касторова храма перебила частные капиталы у такой же кассы при храме Марса Мстителя (Mars Ultor) ; и, наконец, открытой Гиршфельдом печатью некоего Мартиала, одного из директоров Касторова банка — *procuratoris Aigusti ad Castorem*.

Полновластное и — по воле Клавдия — бесконтрольное управление Палланта римскими финансами продолжалось лет пятнадцать. Удалить его оказалось не так-то легко; пришлось с ним торговаться за отставку. Покидая министерство, Паллант выговорил, чтобы его не подвергли следствию по действиям в сдаваемой должности и, таким образом, сквитали бы его счета с государством чуть ли не на честное слово. Гиршфельд именно в этом видит доказательство, что Паллант был творцом новой финансовой системы государства. Действительно, министру, разлученному с ней так внезапно, когда она была еще не закончена и бродила в переходном состоянии, необходимо было обеспечить себя в том отношении, что за путаницу, которую вызовет его уход, ему не придется отвечать, как за резуль-

таты прошлого его управления. Но любопытно, что этот вольноотпущенник-полуцарь (*viuet arbitrium regni agebat*, характеризует его Тацит) имел власть настоять на своих требованиях и, как мы еще увидим, не однажды. По всей вероятности, Палланта защищали и от Нерона, и от претензий республики какие-нибудь документы от Клавдия, быть может, даже и его завещание.

Для Рима отставка Палланта была полна такой же почти невероятной сенсации, как на нашей памяти отставка Вильгельмом II Бисмарка — для Берлина. Уходя из дворца после прощальной аудиенции у государя, Паллант был окружен на улице огромной толпой клиентов. Торжествующий Нерон зло сострил ему вслед: *ire Pallantem ut ejuraret*. Не переводимый лаконизм этой удачной (*non absurde dixisse*, одобряет Тацит) шутки по-русски выразится длиной фразой:

— Вот наш Паллант пошел сдавать дела — под присягу, что служил за честь и совесть.

Такую присягу, действительно, принимали всенародно при сдаче должностей республиканские магистраты. Но пост Палланта, во-

первых, не был республиканским. Во-вторых, — по условию отставки, — все возможные прошлые грехи министра, и без всякой присяги, были брошены в Лету. А в-третьих и в-главных: вступив нищим в Клавдиев дворец, Паллант уходил из Неронова дворца архимиллионером. Устраивая дела своего государя, он не клал охулки на руку и для себя. Недаром Клавдию, когда тот жаловался на безденежье, советовали — попросить займы у своих вольноотпущенников. Тацит определяет состояние Палланта в 300 миллионов се-стерциев, Дион Кассий — в четыреста.

БРИТАНИК

I

Уволить Палланта от министерства финансов — значило закрыть Агриппине доступ к государевой казне, главному нерву власти. Удар был верен и жесток. Агриппина пришла в ярость. Гнев заставил ее окончательно выйти из роли нежной матери. Выбитая из колеи недавним торжеством Актэ, она все еще не могла возвратиться к трезвому распоряжению своим умом и железной волей, нервничала, капризничала и, в неистовстве своем, натворила множество промахов.

Хуже всего было то, что она стала грозить.

«Если сын открыто идет против нее, — кричала она и за глаза и в лицо самому цезарю, — так и она его не пожалеет, а без нее он — нуль. Ей ничуть не трудно и не страшно разрушить популярность императора, которую она же сама вокруг него создала. Стоит лишь огласить во всеуслышание пути, какими доставлена Нерону узурпация власти, в ущерб законному наследнику: ведь, там — преступление за преступлением. Она не побо-

ится раскрыть всю глубину их, не пожалеет даже самой себя. Пусть все выплывет на чистую воду: и прежде всего, история кровосмесительного брака с Клавдием и отравление старого государя. Если все гнусности, совершенные, чтобы возвысить Нерона, привели только к тому, что сын стал издеваться над матерью, так пусть же покарает его тень Клавдия, вместе с преисподними манами напрасно загубленных Силанов!»

Нерон струсил. Он знал характер матери и, видя бешенство Агриппины, слыша ее ругательства, понимал, что если она уже грозит ему кулаками и призывает на голову его нечистую силу, то, значит, она и в самом деле способна компрометировать его, да уже и компрометирует. Был говорено выше, что вряд ли Нерона, в то время мальчика от десяти до пятнадцати лет, посвящали подробно в интриги, сплетенные для его возвышения. Прикосновенность Нерона к убийству Клавдия обличается лишь указанием Светония на нелюбовь юного цезаря к памяти своего предшественника, да остротой самого Нерона, что «грибы — любимое кушанье богов». Но

нелюбви и презрению к Клавдию Нерона выучил, конечно, прежде всех Сенека — блестящий автор «Отыквления» и трактата «О милости». Мы видели, что оба эти произведения, хотя и в разных тонах, но одинаково настойчивая школа анти-клавдианства. Мальчику только и твердили, что — будь не похож на это посмешище рода человеческого. Острота же свидетельствует лишь, что Нерон знал, как умер Клавдий, но не говорит — когда он узнал. И сатира, и трактат, понятно, вовсе замалчивают преступление, а историки винят в нем одну Агриппину, а не семнадцатилетнего Нерона. Весьма может быть, что лишь теперь злобная откровенность матери открыла последнему бездну, из которой возникло его царственное могущество, во всем ее демоническом ужасе. Человек, который почитал себя, со слов воспитателей и руководителей своих, ангелом, посланным с небеси, чтобы умиротворить и облагодетельствовать человечество, вдруг осведомился, что он — черт, выкинутый адом. Это острый психологический кризис, который средневековье впоследствии пыталось разрешить легендой о Робер-

те Дьяволе. Это — тяжкий и мучительный перелом молодой души, в которой язвительное откровение пессимистической действительности сразу выжигает и вытравливает все, заготовленные образованием, идеалы и миражи.

История знает многих принцев, которые отказались от возможности стать государями, потому что она была обусловлена преступлением. История знает принцев, которые, имея право на престол, не дерзали вступить на него, потому что чувствовали свою совесть обремененной тяжким преступлением. Знает, наконец, государей, которые, воспривя власть через тяжкое преступление, хотя бы даже совершенное и не их руками и волей, всю жизнь потом мучились своим нравственным несоответствием сану и даже, не стерпев, слагали его. Но все эти принцы и государи были или христиане, или, вообще, люди мистического мирозерцания, верующие в загробное возмездие, воспитанные евангельским или близким к нему философским идеалом и напуганные своей житейской рознью с теми внушениями, которые обуславливали их этику и слагали религию. Нерон евангельского

идеала не знал, мистиком не был, а воспитан был практической земной мудростью, которая гласила, что власть есть высшее благо, что государь есть бог на земле, и, впоследствии, будет богом на небе. Уму гордому, пылкому, жизнерадостному, даже и при воспитании христианской этикой, отречься от верховной власти — огромное, в большинстве случаев, непосильное испытание. Екатерина II вступила на престол путем военного заговора, более решительного в династической ликвидации своей, чем какой-либо другой в новой истории: зачеркнуты были сразу обе ветви потомков Алексея Михайловича — и по Петру, и по Иоанну.

Принцесса Ангальт-Цербстская перешагнула через труп Петра III и оставила задыхаться в каменном мешке Шлиссельбургской крепости Иоанна VI Антоновича, — значит, взошла на трон при условиях, ничуть не менее мрачных, чем *pronunciamento* Бурра, отравление Клавдия и устранение Силана, доставившие власть Нерону. Однако, когда стали восставать из мертвых ложные Петры III, а Мирovich сделал попытку освободить Иоанна Анто-

новича, встревоженная совесть отнюдь не заставила Екатерину отречься от короны и уйти в монастырь, как предлагали ей пугачевские грамоты. На лже-Петров она посылала своих генералов с войсками и пушками, Иоанна Антоновича приколот в темнице шлиссельбургский комендант, а Мировичу отрубили голову. И огромному большинству людей ничуть не странно, что Екатерина поступила именно так, а не иначе, современность прозвала ее великой, а история одобряет за то, что она умела обезопасить свою власть и упрочить свою династию. Тем более естественно, если открытия Агриппины разбудили в ее сыне, юном язычнике по наследственности, атеисте по воспитанию, отнюдь не великодушный порыв бежать от ужасной высоты, на которую мать подняла его кинжалом и ядом, а наоборот — грозную решимость держаться за столь дорогой ценой купленную власть всеми силами и средствами, жестокую готовность убить, казнить всякого, кто на нее посягнет.

К несчастью, Агриппина тут же, крича и проклиная, сама проговорила сыну о пер-

вой очередной жертве, которую надлежало ему с пути своего устранить.

— Хорошо еще, — язвила Нерона императрица, — что боги внушили мне сохранить жизнь Британика. Он уже достаточно на возрасте, чтобы принять отцовскую власть: империя — его, по праву, и мальчик вполне достоин ей повелевать. Я сведу его в лагерь преторианцев, и посмотрим, кого они предпочтут: дочь ли Германика и любимого сына цезаря Клавдия, или тебя, с твоим хромым Бурром и ссыльным Сенекой. Нечего сказать, хороши министры, у одного увечная рука, у другого язык школьного педанта, и, с таким-то калечеством, они воображают и берутся управлять вселенной!

II

Нерон был очень смущен. Мать права: она любима войсками, и он — в ее власти. Если она сумела сделать одного императора, то сумеет сделать и другого, — тем легче, что теперь задача будет лишь в восстановлении явно поправленного родового права, в торжестве, если не закона, то равного ему обычая и справедливости над преступной интригой. Юри-

дические тонкости, которыми было защищено и, в благоприятную минуту народного расположения, оправдано предпочтение Нерона Британику, были комбинированы очень ловко, но общественное мнение — не судебный процесс, а голос обычая и совести. Народ же привык, чтобы сын наследовал отцу, и только этот домашний порядок ему понятен и кажется естественным также и в престолонаследии. Притом же, если бы даже сослаться на главный мотив народных симпатий к Нерону, на «кровь Германика», так ведь и тут он Германик-то лишь в третьей степени и по женской линии, а по мужской только урожденный Домиций Аэнобарб, усыновленный Клавдий, тогда как мать его — истинная кровь Германика, родная дочь великого вождя, последняя ветвь, уцелевшая от этого красивого дуба. Ей принадлежал бы принципат, если бы римский закон допускал владычество женщин. У нее нет законных прав, но имеются общепризнанные моральные. Она умела грозить ими Клавдию, тем более у нее средств грозить сыну. В конце концов, Нерон — лишь ее наместник, облеченный

прерогативами власти, должными принадлежать ей, но недоступными ей по законам гражданства. Возмутившись на строптивного наместника, она заменит его другим, более или менее подходящим под законные требования, — и все тут. А кандидат в заместители — налицо. Британику уже четырнадцать лет от роду; недолго и до совершеннолетия. У мальчика есть характер и голова на плечах. Он — опасная обуза, вечно угрожающее пугало. Сама же Агриппина проболталась, что сберегла Британика, как камень за пазухой — на случай неповиновения и неблагодарности Нерона.

Роковой обмолвкой своей Агриппина погубила Британика и бросила в душу сына семя подозрительного недоброжелательства к ней самой. Нерон понял, что отнюдь не материнская любовь заставила Агриппину перешагнуть через ряд злодеяний, чтобы вручить ему империю. «Она хотела доставить сыну верховную власть, но не могла переносить, чтоб он властвовал». Стало быть, если не обессилить Агриппину до полной невозможности вредить, придется всегда смотреть из ее рук,

быть императором на маменькиных вожжах. У нее отняли Палланта, она грозит Британиком. Надо отнять и Британика.

Обмолвка Агриппины значительно уясняет странное поведение Британика в утро смерти Клавдия, подтверждая, что между мачехой и пасынком были хорошие отношения, что принц имел полное основание ввериться Агриппине и не ждал попасть в ловушку. Попав, — мальчик, по-видимому, умел догадаться, что теперь для него самое главное — уберечь свою голову, и вел себя с тактом. Из Британика — благодаря его жалкой участи — легенда сделала чуть не преждевременно погибшего гения, протестанта против безнравственности века и даже тайного христианина (Фаррар). В большой плюс ставят Британику его отроческую дружбу с Титом, сыном Веспасиана, впоследствии императором. Достигнув верховной власти, Тит воздвигнул Британику, давно уже всеми забвенному, две статуи: золотую — на Палатине, и слоновой кости, конную, — для ношения в священных процессиях, предшествующих цирковым играм. Статую эту носили в сказанных торжественных

ходах еще во времена Адриана и историка Светония. Хотел ли при этом Тит благодарно почтить память друга детства, или думал, как вообще старались Флавии, лишний раз подчеркнуть пред Римом свое нравственное сродство с семьей божественного Клавдия и глубокую антипатию к эпохе Нероновой узурпации? Во всяком случае, дружба Тита совсем не предлог возвеличивать Британика: Тит не всегда был «утешением рода человеческого», а юность проводил столь же беспутно, как и все подростки в знатных фамилиях века. Остепенился он только к совершенным годам, когда суждено ему было принять императорскую власть. Ранее он имел репутацию сквернейшую — развратника, свирепого хищника и вероломца. И Дион Кассий и Светоний рисуют Тита в ужасном свете: в отрочестве он — педераст (порок, в котором, мы видели, Тацит обвиняет и Британика), в юности — пьяница и ночной безобразник, у общественных должностей — взяточник и торговец доходными местами, на войне он зверствовал и предательски резал пленных, «даже в Риме, в Звании преторианского префекта, он выхо-

дил за пределы человечности и цивилизации, науськивая свою полицейскую шайку хватать всех, кто казался ему подозрительным, и убивать без суда. По всем этим причинам имя его было более, чем ненавистным, и, когда он наследовал империю, все боялись, не пришел бы в нем новый Нерон, которого кстати он напоминал также любовью к поэзии, музыке и танцам» (Vannucci). От Тацита мы знаем лишь, что Британик был не бездарен, хотя историк оговаривается, что, быть может, «он сохранил эту репутацию, снискав себе расположение опасностями, но не успев оправдать ее на опыте». От Светония — что у Британика был прекрасный голос и талант к пению, так что Нерон ему даже завидовал. Вот и все.

Наследственность Британика — ни со стороны Клавдия, ни со стороны Мессалины — не обещает ничего хорошего. Он страдал падучей болезнью. Кажется, в основе его характера, как и у сестры Британика, Октавии, лежала тупая, покорная пассивность. Будучи восьмилетним ребенком, он дразнил Нерона Аэнобарбом, но, очевидно, был к тому под-

учен. Затем — о неудовольствиях между Британиком и старшим братом не слышно до четырнадцатилетнего возраста. Могли быть холодные отношения, но не остро враждебные, и причиной тому были, конечно, такт и ловкость Агриппины. Мы видели, что старания Нарцисса составить партию Британика не увенчались успехом — едва ли, главным образом, не по равнодушию к тому самого Британика. Подрастая, принц вошел в приятельский кружок молодого императора, делил его общество, забавы. В городе ходили даже слухи, будто между сводными братьями возникли преступные отношения частой в то время греческой любви, причем роль женщины досталась Британику; по этой причине, Тацит почти отказывает преждевременно погибшему юноше в сожалении, чуть не говорит: так ему и надо!

Незадолго до того, как Агриппина, неосторожно раскрыв перед Нероном карты своей политической игры, объяснила ему, какой этот тихенький Британик важный козырь, принц имел неприятное столкновение с императором; оно не прошло бесследно и запало

В душу цезаря — может быть, потому, что произошло на почве артистического состязания, и, следовательно, затронуло Нерона за самые большие струны его ревнивого сердца. В праздник Сатурналий, во дворце, на половине государя, за вечерним столом, затеялась игра в фанты. «Царем» общества был выбран Нерон. Это положение — по карнавальной свободе Сатурналий — давало ему право приказать любому из участников игры исполнить любую глупость, какая «царю» придет в голову. Назначив другим застольникам испытания легкие и не обидные, Нерон, когда очередь дошло до Британика, приказал ему выйти на середину столовой и спеть какую-нибудь импровизацию. Тацит говорит, что император надеялся, что мальчик сконфузится, осрамится и будет осмеян. Однако, если Нерон знал голос Британика и даже завидовал ему, откуда бы взяться такой надежде. Другие полагают, что Нерон хотел унижить Британика, заставляя его, принца крови, как раба — увеселителя, потешать своих пьяных гостей. На это можно возразить, что Нерон сам охотно певал за столом, а главное, так

был предан искусству пения, так уважал его и высоко ставил, что ему не могло и в голову прийти, чтобы песня унижала человека. Да еще — во время Сатурналий, когда старинный веселый обычай освобождал слуг от обычного труда на господ, а господ заставлял обслуживать своим рабам и рабыням. Вернее, что злого умысла Нерон не имел, а игра в фанты и была игрой в фанты, но спьяну «царь пира», сам охотник до песен, не сообразил что дает брату поручение — по нравам римского большого света — довольно щекотливое. Британик, быв трезвее, оскорбился страшно и сумел немедленно отплатить Нерону за бестактность. Не показав даже вида, что обижен, он взял кифару, встал и запел грустную элегию на тему, как горько юноше его звания быть сиротой, отстраненным от престола, и, чем бы править самому, получать приказания от другого. Мальчик имел большой успех. Вино развязало пирующим языки. Многие, разнежившись пением, хвалили Британика и жалели об его судьбе больше, чем могло понравиться Нерону; он не любил соперников в искусстве, а тема, выбранная юным певцом,

впервые заставила цезаря призадуматься, что, пожалуй, сводный братец его — совсем не такое безобидное существо, как он до сих пор полагал...

Братья дулись друг на друга несколько дней; потом история улеглась и позабылась. Агрипина вновь разбудила ее, выставив имя Британика знаменем своих угроз. Бросая факел раздора, она не сообразила, что он упадет на почву, уже затлевшую чрез самовозгорание.

III

Трудно сомневаться, чтобы министры и наперсники Нерона не были призваны им на совет, какие меры предпринять против Агрипины? как поступить с Британиком? Ответ мог получиться только один: раз она грозит Британиком, Британик должен быть сделан безопасным. Как? Дион Кассий прямо обвиняет Сенеку в подстрекательстве Нерона к убиению Британика. Но Дион Кассий, в отношении Сенеки, почти что не свидетель: до такой степени тенденциозно ядовит у него умышленный подбор дурных сплетен о министре-философе. В одном, довольно, впро-

чем, общем и отвлеченном примере рассуждения Сенеки «О благодеяниях» (De beneficiis) Крейер усматривает намек, что, напротив, Сенека старался спасти жизнь Британика. Будем думать, что истина посередине: смерти Британика Сенеке желать был не за что, дорожить его головой больше своей собственной и отстаивать ее в ущерб своим надеждам и планам — также. Раз на суд представлялся обостренный выбор, кому быть — Нерону или Британику, то есть Агриппине с Паллантом, из-за которого и разгорелась дворцовая война, министры, как люди твердой и очень важной политической программы, конечно, должны были предпочесть того, в ком видели свою надежду и опору: цезаря Нерона, — а Британика, как грозное орудие Агриппины, согласились устранить. Но устранять принцев крови от принадлежащих им прав — даже в века более гуманные, чем Неронов, — не изобретено другого вполне верного и надежного средства кроме смерти. Решено было, что Британик должен умереть.

Я не думаю, чтобы такие люди, как Бурр и Сенека, понадобились в организации пре-

ступления. С их стороны важно было принципиальное согласие; они его дали и отошли в сторону. Черную работу убийства обдумали с Нероном его распутные куртизань!, челядь, вольноотпущенники.

Сперва раскинули умом: нельзя ли запутать Британика в какой-либо заговор или дело об оскорблении величества, чтобы явилось право умертвить его открыто, как государева изменника? Но принц, по молодости лет, еще не занимался политикой; наклепать на четырнадцатилетнего мальчика государственное преступление представлялось вопиющей бессмыслицей и несправедливостью, которую общественное мнение Рима встретит взрывом негодования и презрительных насмешек. Нерон не доверял своим сообщникам и не смел рискнуть на открытое убийство. Тогда положено было отделаться от Британика тайно, ядом.

Факт отравления Британика можно считать бесспорным, так как он засвидетельствован четверью античными писателями, работавшими самостоятельно друг от друга. Германн Шиллер указывает в исторической ли-

температуре XIX века трех авторов, которые оспаривают возможность убийства: Рейнгольда, Штара и анонимного писателя, цитированного Латур Ст. Ибаром. Но сам он, вопреки столь свойственной ему оправдательной тенденции, совершенно справедливо находит, что невероятный склад рассказов о факте не есть еще доказательство его невероятности. Обстоятельства убийства, как они рассказаны у Светония, а еще более у Тацита, скомпонованы противоречиво, сбивчиво и главное, чересчур эффектно. Дело произошло будто бы так.

Сварившая недавно яд для цезаря Клавдия, знаменитая знахарка-отравительница Локуста, осужденная за множество преступлений, содержалась в то время в тюрьме при преторианских казармах, под надзором трибуна преторианской кагорты Юлия Поллиона, или, быть может, под домашним арестом, на его ответственности, — подобных тому, как впоследствии помещен был, в ожидании цезарева суда, апостол Павел. По обстоятельствам дальнейшего рассказа второе предположение вернее. Осужденная на смерть, ведьма мало

тревожилась приговором, висевшим над ее головой, зная, что, по нравам века, она — человек нужный, и мрачное ремесло ее часто бывает в спросе у правящей власти. Юлий Поллион, — не лишнее отметить, что, по своему званию преторианского трибуна, он был прямой подчиненный Бурра, — становится посредником между поднадзорной узницей и тайным советом государя. Как раньше Агриппина удалила от Британика гувернеров-месалианцев, так теперь «позаботилась», говорит Тацит, чтобы при Британике остались лишь люди без чести и совести. Удаление педагогов-агриппианцев должно было вызвать шум в городе. Рим заговорил, что принцу готовится недоброе. Удивительно, как столь важная перемена не привлекла внимания Агриппины и не вызвала ее вмешательства.

Первый прием яда Локусты дан был Британику именно чрез этих негодяев, приставленных к нему якобы дядьками. Но городские слухи проникли в тюрьму и заставили Поллиона и Локусту действовать осторожно, чтобы отравление не вышло слишком откровенным: ведьма сварила яду слабого, медленно

действующего. Почувствовав себя нехорошо, Британик принял рвотного — и исцелился. А между тем были уже сделаны приготовления для его похорон.

Нет преступлений ужаснее, настойчивее тех, что совершаются подростками. «Предумышленные убийства, совершенные очень юными преступниками, — говорит D’Haussonville, — почти всегда сопровождаются отвратительными подробностями упорной жестокости». Молодые души с равной страстью бросаются что на путь добродетели, что на путь порока, и если на первом они совершают подвиги, которым умиляются ангелы в небесах, то, попав на второй, они дикой энергией злодейства способны удивить дьяволов в аду. Кто изучал психологию малолетних и несовершеннолетних преступников, тот знает, как неотступно и навязчиво завладевают ими преступные идеи, однажды запавшие в их мозги; как мало обескураживает их неудача; с каким упрямством они возвращаются к намеченной жертве, чтобы покончить с ней, во что бы то не стало. В особенности же развито это упорство преждевремен-

ной жестокости у тех несчастных детей, которые, помимо дурной наследственности или, точнее будет сказать, ее волей, слишком рано разбудили в себе чувственность и нашли ей преувеличенное или противоестественное удовлетворение. «Я всегда замечал, — говорит Ж.Ж. Руссо, — что молодые люди, рано испорченные и отдавшиеся разврату и женщинам, бывают бесчеловечны». «Легкость, с которой педерасты проливают кровь, поистине ужасна, — замечает Карлье; — эти люди, столь застенчивые, жеманные и робкие в обыденной жизни, вдруг становятся жестокими, наподобие самых закоренелых преступников. Развитие жестокости, конечно, есть мозговое последствие привычек противоестественного разврата». Нерон подходит, как пример, под положения всех трех авторов — графа Д'Оссонвиля, как ранний убийца, Руссо, как бесчеловечный воспитанник преждевременного разврата, и Карлье, как жертва противоестественного порока, наследственного в роде Клавдиев и с особенной лютостью свирепствовавшего именно в ветви «крови Германика».

Ужасная потребность доделать преступление стихийно охватила Нерона, когда ему доложили о выздоровлении Британика. Он пришел в бешенство. Выбрав, как нельзя хуже, трибуна, он собственноручно избил Локусту и приказал немедленно казнить старуху, раз она не умеет даже позаботиться о безопасности своего государя.

— Я требовал яду, — кричал он, — а ты ему дала лекарства!

Отравители оправдываются, что хотели обмануть общественное мнение и подготовить себе, на случай следствия, путь к оправданию.

— Так вам общественное мнение и возможность оправдания дороже моего спасения?

Локуста говорит, что она заботилась о самом же Нероне, старалась, чтобы слишком явное преступление не обрушилось своей тяжестью на него.

— Вот глупости! — презрительно возразил Нерон. — Чего мне бояться? Разве Юлиев закон для меня писан? (*Sane legem Juliam timeo!*).

Он, что называется, закусил удила. Преувеличивая опасность и все более и более разжигая себя злобой на Британика, он изнемогает от нетерпения видеть брата мертвым у своих ног. Подай ему смерть сейчас, сию минуту, мгновенную, «как бы от меча»! И вот — на его глазах, в его спальне, Локуста варит быстро убивающее зелье. Силу яда испытали на козле. Агония животного продолжалась пять часов. Нерон недоволен: долго! Ведьма уварила траву крепче и дала поросенку: тот издох на месте. Нерон успокоился.

До сих пор история, если и не без прикрас, то хоть сколько-нибудь вероятна. Эффектно-зверская острота о законе Юлия очень плохо вяжется с желанием Нерона, чтобы убийство было тайным, и, очевидно, придумано *post factum*, когда сложилась и обросла подробностями легенда о смерти Британика. Затем мы вступаем уже в область романа.

Вечером 13 февраля или немного ранее того у цезаря был пир. За высочайшим столом возлежали Нерон, императрица-мать и императрица Октавия. За малым столом — Британик со сверстниками. Соседом его по ложу

был Тит, сын Веспасиана, впоследствии император. Британик спросил пить. Предвкушатель подносит принцу кубок, отведав питье у всех на глазах. Британик попробовал, нашел напиток чересчур горячим и не захотел пить. Предвкушатель идет к буфету, чтобы разбавить питье холодной водой и, вместе с ней, вливает в кубок отраву Локусты. Британик пьет. Действие яда мгновенно. Принц падает на пол без единого крика, без дыхания. Общий ужас. Нерон — один из всех пирующих, ничуть не смущенный — оставаясь на своем ложе с видом совершенной невинности, беспечно успокаивает гостей: это-де пустяки; ведь вы же знаете, что Британик страдает падучей; припадок скоро пройдет, и мальчик встанет здоровым. Пусть его отнесут в постель и позовут врача, нам же нет смысла прерывать радость пира из-за такой безделицы.

И — «после короткого молчания» — веселье восстановилось. — Никогда я не думал, чтобы было так легко убивать! воскликнул юный преступник француз Gigaх, покончив свое первое двойное убийство, после которого

он отправился в фотографию снимать свое изображение на ограбленные деньги. Во время сеанса он был совершенно свеж и спокоен, причем на его лице отражалась такая ясность, что, по словам фотографа, было даже приятно смотреть (Дриль). Его сообщники, Вольф и Руф, после преступления, отправились ужинать и пригласили в свою компанию какого-то первого встречного рабочего. Когда, сутки спустя, их арестовали, их случайный собутыльник не хотел верить в их виновность. — Это невозможно, — убеждал он, — не едят с таким аппетитом, имея два убийства на совести! Французские убийцы-подростки, оставившие след в уголовных летописях, знаменитые Абади, Лепаж, Капе и др. — все, без исключения, поражали своим спокойствием по совершению кровавых злодеяний. Легкое, будничное отношение к кровавому акту дает этим жертвам преступного предрасположения выдержку хладнокровной сосредоточенности, которую редко сохраняют случайные убийцы. По словам профессора Жоли, «у сутенеров и мужских проститутов скоро вырабатывается в сообществе им по-

добных зверей характер, дающий им возможность ни перед чем не отступить. Они постоянно бывают расположены совершить убийство из-за слова, из-за пустой фантазии, на пари, самое большое — для кражи и притом для кражи всего нескольких франков». Жоли объясняет эти несомненные явления «презрением к человеческой личности, развивающимся у подобных субъектов». Это положение совершенно сходится с теми заключительными строками первого тома «Зверь из бездны», в которых я характеризовал позднейший самостоятельный режим Нерона, как «век убежденного и торжествующего неуважения к человеку».

Никто не исключая даже сестры Британика, нежно любившей брата, императрицы Октавии, не был так взволнован, испуган, подавлен неожиданным бедствием, как Агриппина. Ужас ее был всеми замечен. Смерть Британика упала, как снег на голову. Агриппина узнала свой яд, работу Локусты, — и поняла, что сын вырвал у нее из-под ног последнюю опору, что она разбита наголову и брошена на край пропасти: юноша, который так

спокойно отправил на тот свет брата, не колеблется, в случае надобности, послать вслед за ним и мать. Напрасно старалась она принять спокойный вид: испуг и скорбь ее были так очевидны, что возбуждали всеобщее сочувствие. Всем стало ясно, что если припадок принца последовал не от падучей, но от яда, то Агриппина, — на этот раз, не в пример прочим, — здесь ни при чем. Скорбь Агриппины по Британику отмечена даже анти-неронианским памфлетом, трагедией «Октавия», выплывшей на свет, вероятно, в эпоху первых Флавиев и написанную неизвестным автором в манере Сенеки которому ее многие и долго, но напрасно приписывали, — главным образом, на том основании, что в этой трагедии чрезвычайно много схожих выражений оборотов с «Сатирой на смерть Клавдия».

— Даже свирепая мачеха заплакала, — говорит в «Октавии» кормилица этой заглавной героини, — когда возложила на костер для сожжения тело твое (Британика) и погребальное пламя вихрем унесло члены твои и лик, в богоподобном полете.

О непричастности к преступлению Окта-

вии нечего было и говорить. Припадок брата поразил ее, но, «несмотря на свои очень юные годы, она научилась скрывать в себе скорбь, любовь, все свои душевные состояния». А вернее, что тупая, вялая, наивно-доверчивая по природе, она успокоилась объяснением мужа. По-видимому, она даже осталась за столом.

В ночь Британик умер. Заранее подготовленная церемония свершилась немедленно при весьма скромной обстановке. Труп снесли на Марсово поле, к мавзолею Августа и предали огню. Ночь — как нарочно — выпала ужасная, с грозой и проливным дождем. В толпе, сопровождавшей печальную процессию, громко говорили, что небо гневается на явное братоубийство, но — дальше слов выражения негодования не пошли: еще одно доказательство, что Британик не был популярен. Смерть его — как гибель прямого наследника верховной власти от руки узурпатора — схожа с убиением царевича Димитрия в Угличе, включительно до объяснения несчастного случая припадком падучей болезни. Но смерть царевича Димитрия сопровождалась бунтом вознегодовавших угличан, а тень уби-

енного почти на полвека стала истинной повелительницей двух великих государств — республики Польской и царства Московского. Британик же — как в воду канул. Рим забыл сына Клавдия, не только не сносив башмаков, в которых шел за его гробом, но даже не успев их переобуть. Век цезарей имел своих самозванцев. Когда Тиберий умертвил Агриппу Постума, Августова внука, один из рабов убитого принял его имя и угрожал государству. Лже-Нероны продолжали являться даже в эпоху Домициана. И надо думать, что именем Британика решительно нельзя было повлиять на солдатские и народные массы, если не нашлось честолюбца, желающего им воспользоваться, при столь благоприятных условиях для самозванства. Жалостливой идеализацией Британика современный мир обязан французскому псевдо-классицизму. Тацит смерти его не одобряет, но извиняет ее, — извинял и Рим, говоря, что ее давно надо было ждать, — два медведя в одной берлоге не уживутся, и верховной власти не разделишь любовно пополам. Какой человек вышел бы из Британика, Бог весть; порочная наследствен-

ность сулила ему вылиться в облик одного из трех сыновей Ивана Грозного: в свирепого Ивана, безвольно-юродивого Федора или Дмитрия, проявлявшего жестокие замашки и строптивость, напоминающую детские вспышки Британика. Во всех трех случаях для человечества нет большой потери, что сын Клавдия не отведал верховной власти. Доброго влияния на государственный строй смена Нерона Британиком не могла иметь. Не только потому, что личность принца обещали столь же мало хорошего, как и тот, кому она предназначалась на смену, но и потому, что смена эта знаменовала мгновенное падение Сенеки и Бурра, реакцию и восстановление клавдианского режима. Если бы даже из Британика вышел государь-кукла, в роде Федора Ивановича, то Агрипина и Паллант совсем уж негодились в Борисы Годуновы. Главное же: даже в самом счастливом случае, эта смена была бы не более, как кратковременной отсрочкой династической катастрофы, подобной именно той, роль которой для московской Руси сыграло царствование Федора Ивановича. Государство, реформированное Авгу-

стом, выработало новые слои населения и новые формы жизни, которые требовали — если не все сознательно и гласно, то все инстинктивно — нового правления с новыми людьми. Старая династия отжила свой век и физически и морально. Импотентные политически, бездетные и полоумные, правнуки Августа стремились к неминуемому концу своему с такой же обреченностью, как впоследствии в московской Руси правнуки Ивана Третьего, который, к слову сказать, имел много общего с Августом и в политической роли своей, и в личном характере, и даже наивно претендовал на происхождение от него. Для Рима назревало смутное время, — революционный взрыв стихийного и затаенного порядка и страшно неопределенного характера, так как, по незрелости масс, разменялся он в борьбу не народных слоев, но личностей, и расплылся в междоусобиях династических состязаний. Кратковременные государи, которым отдавали принципат смуты по смерти Нерона — Гальба, Отон, Вителлий, — да и сам Нерон отчасти, — вольно и невольно сыграли в римской империи ту же роль дрожжей в

опаре, что наши самозванцы (я только что упомянул, что в и последних Рим не имел недостатка). Военно-демократическое настроение эпохи, поднятое брожением этих дрожжей, поставило к власти плебейскую династию выскочек Флавиев, которым посчастливилось править больше и дольше, чем Борису Годунову («вчерашний раб, татарин, зять Малюты») и Василию Шуйскому («шубник»). Но, в конце концов, и тридцатилетнюю эпоху Флавиев, несмотря на определенное тяготение их к аристократическим традициям городской республики, надо считать лишь переходной к торжеству провинции, в представительстве пришедшей из него боярской династии испанских императоров и Антонинов. Через них государственное творчество окончательно выработалось в дворянско-бюрократический строй, чтобы надолго застыть в его крепости, как та же выработка застылой дворянско-бюрократической формы была в XVII веке задачей первых царей Романовых.

Возвращаясь к легенде Британика, легко заметить театральную несообразность сцены отравления. Почему Нерону, искавшему тай-

ного убийства, понадобилось вдруг умертвить Британика с такой вызывающей, подчеркнутой, сценически эффектной наглостью? Мы видели, что он только что не имел людей, которым поручит явное убийство Британика (*neque jubere caedem fratris palam audebat*), а тут вдруг — целая группа сообщников, с предвкушателем во главе, цинически разыгрывает страшно-откровенную драму на глазах всего, точно нарочно собранного для спектакля, знатного Рима? Крайне сомнительно и то, чтобы день смерти Британика совпал с днем его рождения. Совершеннолетие наследника, облечение его в мужскую тогу, слишком заметный народный праздник: неужели Нерон для нападения на брата не мог выбрать момента более удобного, чем — когда на Британике было сосредоточено всеобщее внимание, как на виновнике торжества? К тому же и похоронили Британика, как еще несовершеннолетнего. Факт отравления — повторяю — вполне возможен, но обстоятельства его совершенно неправдоподобны. По всей вероятности, они выросли из какого-нибудь обморока Британика, случивше-

гося публично, быть может, даже и прямо на пиру, и потом связанного в молве народной со скоропостижной смертью принца. То же самое обрастание театральными подробностями заметно в рассказе о похоронах. Светоний, Тацит, Дион Кассий — все трое говорят о дожде во время церемонии. Но у первого Нерон только устроил похороны слишком поспешно, — на следующий день, — хотя лил сильный дождь (*postero die ratim inter maximos imbres*). У Тацита — Британик был погребен в самую ночь убийства [«одна и та же ночь, — великолепно говорит он, — уготовила Британику и смерть и костер: *nox eadem necem Britanici et rogam conjunxit*) при столь страшных буре и ливне (*turbidis imbribus*), что чернь приняла ужасы погоды за проявление небесного гнева»]. У Диона Кассия дождь уже смыл белила с лица усопшего, и выступили предательские черные пятна от яда, которые Нерон будто бы замазывал собственными руками. В «Октавии» о способе убийства Британика нет ни слова. Известно только, что он погублен чрез преступление (*exstinctus, scelere ademptus*).

Отделаться от Британика тайным убийством Нерону был расчет. Совершать убийство явное — никакого. Прослыть братоубийцей на четвертом месяце своего правления, после самых либеральных речей и наряду — как прежде, так и после смерти Британика — с либеральными же, милосердными и справедливыми поступками, совсем не лестно и неудобно для государя, нуждающегося в популярности. Как бы ни любезничал Нерон со своим народом, беспричинное братоубийство не могло быть ему прощено совсем без протеста. Не мог он, да и не позволили бы ему компрометировать себя так бессмысленно. Народное расположение к Нерону, после убийства Британика, ничуть не уменьшилось, — напротив, едва ли не выросло, судя по тому, что в конце того же года он рискнул такой либеральной мерой, как отмена полицейского наряда в театры во время представлений, с мотивом, что народ сумеет сам охранять свой порядок. Наконец, в конце же 55 года вышел в свет изложенный выше официозный труд Сенеки «О милосердии», с посвящением Нерону и хвалой его душевной кротости. Крейер

справедливо замечает, что, если бы сочинение это было опубликовано по убийстве Британика, то лесть его всем показалась бы чудовищной и панегирик превратился бы в сатиру. Отсюда он заключает, что хронология произведения Сенеки неверна: оно оглашено раньше смерти Британика. Или, — прибавляю я, — по крайней мере, раньше, чем слух об убийстве проник в народ, повлиял на его возмущение, превратился в убеждение и развил те легенды, которые читаем мы у Тацита, Светония, Диона, Ювеналова схолиаста. Молва об отравлении, может быть, шла уже, но не была еще принята народом: ее считали сплетней обиженных агриппианцев или мессалианцев, вроде Юлия Денса, которого Нерон только что избавил от преследования за чересчур громкие симпатии к Британику. Где в подобных дворцовых драмах начинаются факты и кончаются слухи, этого установить с уверенностью не в состоянии никакое историческое изыскание, как бы тщательно ни рылось оно в косвенных уликах. В таких случаях решающим судом являются когда-нибудь только подлинные документы участни-

ков, если времени угодно сохранить их для исторической Немезиды. Загадки династических преступлений — отравлений Германика и Британика, убийство царевича Димитрия — остались для потомства таким же двусмысленным ребусом, как были они для современности. Но убийства Клавдия, Петра III, Иоанна Антоновича, Павла I, вопреки своей таинственной обстановке, не оставили поводов для исторических сомнений, потому что их не было и у современности. Этих правителей убивали не только враждебные им люди, но и время, в котором они жили и которому были тяжкими и лишними. Их убийцы чувствовали себя лишь полу-преступниками и потому почти не скрывали своих кровавых дел, а многие ими даже хвастались и гордились (Орлов). Пугачев имел успех, как предводитель крепостного бунта, боец «Земли и воли», а как в Петра III, в него и из безграмотных казаков-то, кто поумнее, плохо верили. Именем же Димитрия могли сесть на царство последовательно два самозванца, один по всенародному и всебоярскому признанию, другой — поддерживаемый значительной частью бояр-

ства, народа и образованных польским шляхетством. Сила династической легенды кроется в исторической неопределенности, созданной тем временем, когда легенда возникла. Петербург не мог поверить в чудесное спасение Петра III, но до сих пор множество умных людей, и между ними был сам гр. Л.Н. Толстой, верят в отречение и опрощение Александра Первого и отождествляют с ним известного старца Федора Кузьмича. Легенды разрушаются документами, но никогда экзегезой.

Конечно, покуда жил и правил Нерон, история убийства не могла быть оглашена. Тацит и другие черпали сведения о ней из посмертных анти-неронианских памфлетов, а политическая полемика никогда и нигде не брезговала заслонять сухую летопись заведомых факторов эффектными прикрасами исторического романа. В области последнего и надо оставить главы античных историков, что Британик был отравлен, это — по-видимому, исторический факт; — как он был отравлен — только исторический роман.

Манифест Нерона по случаю смерти Брита-

ника холоден и сух. Поспешность и недостаточную торжественность погребальной церемонии он объяснял старинным обычаем — хоронить членов семьи, не вышедших из детского возраста, в присутствии лишь тесного фамильного кружка, без похвальных речей и великолепных процессий. «Не чая за кончиной любезного брата нашего, — гласит манифест, — иной помощи, кроме как от верной нам республики, уповаем видеть сенаторов и народ римский преданными государю своему, поелику он остается один из державного рода, предназначенного промыслом богов для верховной власти».

В последних словах ясно звучит вызов Агриппине, о которой Нерон не обмолвился в манифесте ни звуком. Юноша победил и торжествовал. Из наследства после Британика он богато одарил людей своей партии. Рим отнесся к этой щедрости неприязненно: делят виллы и дворцы, словно разбойники добычу! — говорила молва, — и добро бы одна легкомысленная молодежь, палатинские куртизаны, а то лицемеры, толкующие о нравственности, воздержании, строгой жизни...

Русский исследователь эпохи, Кудрявцев, справедливо отмечает, что Тацит, «приводя это обвинение, кажется, только из сожаления умолчал имена Сенеки и Бурра, чтобы не лишить это бесплодное время и последнего права на добрую память в потомстве». Впрочем, некоторые извинили малодушие пожалованных тем, что государь заставил их принять дары насильно: создавая-де свое преступление, он ищет, через раздел добычи, образовать вокруг себя кружок влиятельных как бы соучастников, им обогащенных, а потому к нему и привязанных. Извинение — более чем слабое. Трудно одарить человека против его воли и согласия. В первой книге Сенеки «Облагодетениях» есть очень красноречивая тирада о подарках против воли, которые порядочному человеку приходится иногда принимать, скрепя сердце, от тирана, подобного дорожному разбойнику или морскому грабителю. Так как книга написана в 56 году, то Крейер считает тираду косвенным ответом на дурные толки о Сенеке по поводу пожалования ему из наследства Британика. Мне кажется очень мало вероятным, чтобы первый ми-

нистр государства, далеко не собиравшийся тогда расстаться со своим постом, рискнул выпустить в свет такое прозрачное самооправдание, обличающее Нерона не в бровь, а прямо в глаз, обзывающее его *latro, pirata*. Как бы ни был Сенека гибок пером и зыбок характером, но написать на протяжении одного года столь резко противоположные характеристики одного и того же лица, освещая Нерона с белой стороны, в «Отыквлении» и в книге «О милости», а с черной — в книге «О благодеяниях», — первому писателю эпохи, которого каждое слово схватывается на лету, запоминается, взвешивается, становится школой, — и невозможно, и непристойно. Положение Сенеки в Риме, ему современном, было не менее положения Л.Н. Толстого в современной России, и скорее даже — более, так как с авторитетом великого этического писателя он соединял авторитет высшего государственного сановника — образца, показателя, как порядочный человек правит своим государством. Мы знаем, что авторитет этот ничуть не поколебался после смерти Британика — ни во дворце, ни в обществе. Сенека

остаётся главой государства ещё целых шесть лет. Уважение народное к нему вырастает настолько, что некоторые участники Пизонова заговора впоследствии серьёзно подумывают: когда свергнут будет Нерон, не избрать ли принцепсом Сенеку — ради его популярности? Люди такого калибра и такой ответственности не срываются на фельетонных неровностях и междустрочных метафорах. Смелость, с которой написан объективный риторический пример Сенеки, говорит скорее за то, что министр-философ никак не предвидел возможности, чтобы публика придала его словам субъективное толкование и обратила их на него с Нероном. А такая недогадливость допустима в столь остром и внимательном к себе писателе, как Сенека, только при том условии, если и нечего было опасаться. В 56 году легенды Британика ещё не было, а рассказы о насильственной смерти принца, если и плыли в обществе по-шепту, то — как партийный слух, оправдываться против которого и обращать внимание на который высокопоставленному философу не приходилось. Серьёзно злословила, по всей вероятности, по-

куда только зависть к слишком богатым раздачам, к тому же, быть может, — не всегда тактичным. Так, если верить Светонию, даже Локуста получила долю в наследстве после несчастного принца: Нерон, будто бы, помиловал ее за прежние вины, наградил обширными поместьями (*proedia ampia*) и даже позволил открыть что-то вроде школы токсикологии (*oiscipulas claudit*). Последняя подробность — опять из легенды, но две первые милости более вероятны. Быть может, бестактность их и положила начало дурным слухам, бросив новый свет на дворцовую тайну.

Пожалования из Британикова наследства были назначены и Агриппине, — однако она, при всем своем корыстолюбии, сумела отвергнуть недостойный дар и остаться непреклонной в своем материнском гневе.

А между тем на нее надвигалась уже новая гроза: на горизонте появилось новое светило, прекрасное, но зловещее, которому суждено было сыграть в трагедии Агриппины с сыном главную, решающую роль.

ПОППЕЯ САБИНА

I

«**Б**ыла в Риме Поппея Сабина, отцом которой был Т. Оллий, она приняла имя деда по матери, человека громкой известности, Поппея Сабина, бывшего консула и блиставшего триумфальными украшениями; ибо Оллия погубила дружба Сеяна, прежде чем он мог отправлять общественные должности». Такой рекомендацией вводит Тацит на сцену своей трагедии о Нероне главное затем действующее в ней лицо.

Предок-триумфатор, ради фамилии которого эта «первая дама столицы» пожертвовала своим родовым именем, не представлял собой большой политической величины. Его любил принцепс Тиберий — по крайней мере, 24 года продержал его генерал-губернатором важнейших провинций. Не потому, чтобы чиновник этот проявлял какие-либо особые административные дарования, а именно за то, что звезд с неба Поппей Сабин не хватал и, следовательно, подозрительному старому Цезарю не был страшен, а в то же время, по-ви-

димому, был достаточно исполнителен по службе и порядочен, чтобы уживаться с населением, без жалоб со стороны последнего на чересчур уж грубые злоупотребления и грабеж. К этому роду жалоб Тиберий был очень чувствителен, ибо не любил, чтобы его правительство компрометировали. Любопытно, что Тацит относится к системе Тиберия выдерживать одного и того же администратора на одном и том же высоком посту с недоумением и отрицанием. «Поппею Сабину было предложено управление Мезией, причем ему были прибавлены Ахайя и Македония. Это также было у Тиберия в обычае — продолжать власть и удерживать многих до конца жизни при тех же армиях и тех же гражданских управлениях. Причины этого передаются различно: одни говорят, что он оставался до конца верен однажды сделанным назначениям из нелюбви к новым заботам, другие, будто это по зависти, чтобы не дать пользоваться (этими должностями) большему количеству чиновников. Есть и такие, которые приписывают это как хитрости его ума, так и нерешительности его суждения; ибо он, с одной сто-

роны, не искал выдающихся качеств, с другой — ненавидел недостатки: от лучших людей он ждал опасности для себя, от негодных опасался бесчестия для государства. В этом колебании он, наконец, дошел до того, что иногда поручал управление провинцией таким людям, которым он был намерен не позволять удаляться из Рима».

Если Т. Оллий, отец Поппеи Сабины, погиб вместе с Сеяном, следовательно в 31 г. по Р.Х., то, хотя бы она родилась именно в этом году, она была, когда встретила с Нероном, уже не первой молодости по римским понятиям: ей было 26 или более лет, тогда как ему всего 19. Мать этой Поппеи Сабины, тоже Поппея Сабина, имела судьбу незаслуженно трагическую. Будучи женой П. Сципиона, она имела несчастье влюбиться в самого блестящего человека своей эпохи и, кажется, встретиться в этом увлечении с супругой цезаря Клавдия, пресловутой Мессалиной. Впрочем, последняя, по словам Тацита, зарилась также на великолепный Лукуллов парк, которого герой романа был наследником и усовершенствовал его до замечательного великолепия. По-

пшея Сабина, будущая императрица Рима, имела не менее 16 лет, когда красавицу мать ее, женщину уже не молодую и, кажется, очень мирную, подвергли домашнему аресту, как преступницу, состоящую в любовной связи и политическом заговоре со знаменитым Валерием Азиатиком, дважды консулом, главой заговора на смерть Калигулы, богачем и изящнейшим человеком своего времени. На следствии П. Сабину до того запугали грозившею ей тюрьмой, что несчастная женщина предпочла сама наложить на себя руки. Память ее и Валерия Азиатика была оправдана, а погубивший их обоих, по приказанию Мессалины, доносчик Суиллий осужден и сослан на Балеарские острова в том же 812 а. и. с. — 59 по Р.Х. году, когда у Тацита появляются первые известия о Поппее Сабине Младшей. Рассказ о загробном оправдании матери отделен всего одной главой от первого выхода на историческую арену дочери, так что между тем и другим событиями может быть установлена вероятная причинная связь. Дело Суиллия возникло почином Сенеки.

Процесс Публия Суиллия — до известной

степени тоже анти-агриппианский. По крайней мере, он возник из недовольства, которое делила и резко высказала императрица-мать. Уже рассказано было, что одним из первых сенатских постановлений при Нероне, состоявшимся вопреки противодействию Агриппины, был восстановлен Цинциев закон против платной адвокатуры. Мера эта, по-видимому, входила в программу общего похода против «доносчиков» (delatores) — страшного зла общественного, выросшего в три предшествующие принципата на почве крайне неопределенных и широко толкуемых законов об оскорблении величества, семейных преступлениях и должностных разоблачениях. Зло это получило свое начало еще в республике, но дорогу к широкому развитию дало ему Августово законодательство, которое ввело контроль государства в уют семьи и — с естественною ревностью — берегло авторитет новой государевой власти от легкого к ней отношения. Клавдианский деспотизм видел в институте доносчиков охранительную силу, одну из опор своей государственной системы. Агриппина, в частности,

еще при жизни Клавдия, прославилась покровительством доносчикам. Народ и сенат их ненавидел. Сочинения Сенеки, как истинный голос времени, дышат презрением, гневом и враждой, когда касаются этих знатных и богатых торговцев жизнью и состоянием ближнего. Став главою правительства, философ провел свою вполне похвальную антипатию в государственную практику. Доносчики получили ряд материальных и нравственных ударов. Была понижена вчетверо премия за доносы по семейным делам (против *lex Papia Pappaea*). Политические доносы оставались без последствий, а ложные, как увидим вскоре, строго карались. Восстановление же Цинциева закона должно было подрезать в корне сословие, из которого по преимуществу пополнялись кадры доносчиков: платных сутяг, равно готовых торговать и защитой, и обвинением.

Публий Суиллий был до того известным, типическим и могущественным представителем этого сословия, что, когда восторжествовал в сенате Цинциев закон, общественное мнение Рима твердило, будто мотивом такого

решительного мероприятия явилась исключительно необходимость уничтожить П. Суиллия, это страшилище и позор предшествующего принципата. Фигура Суиллия, как написал ее Тацит, действительно, являет пример негодяя, замечательно цельного и из недюжинных. Он был хорошего рода: приходился сводным братом — по матери — знаменитому полководцу Кн. Домицию Корбулону и Цезонии, супруге цезаря Кая, был в свойстве с поэтом Овидием и переписывался с ним в его ссылке. В письме, которым Овидий умоляет Суиллия ходатайствовать за него перед Германиком, Суиллий рекомендован, как очень образованный человек (*studiis excultus*). Письмо относится к 14 году по Р.Х. Суиллий был тогда квестором Германика, — следовательно, имел уже более 27 лет; начальника своего, сколько заметно из стихов Овидия, он обожал, службой при Германике гордился и хвастался до скончания дней своих; это — старый друг Германикова дома, знавший Агриппину еще в пленках (она родилась в *Oppidum Ubiorum*, ныне Кельн, 6 ноября 16 года). Удивительно, как по близости к столь чи-

стому человеку, как Германик, могла развиться такая вредная политическая гадина. Эта дружба как бы в соглашении с тем взглядом Якоби, по которому доблести Германика оказываются чуть ли не мифическими отголосками партийных дифирамбов и, во всяком случае, рисуют потомству образ порядочного имперского римлянина, а совсем не хорошего человека. В 24 году Суиллий попал под суд за взятку по судебному делу. Сенат приговорил его к высылке из Италии, но в дело, с неожиданным жаром, вмешался император Тиберий — странный человек, в симпатиях и антипатиях которого к людям будущего бывали иногда изумительно пророческие наития. Он, с клятвой, именем блага государственного, потребовал для Суиллия ссылки на остров (высшей меры изгнания). Тогда жестокость Тиберия была принята с неудовольствием, но когда П. Суиллий, возвращенный Калигулой, сделался одним из фаворитов Клавдия, Рим заговорил, что старый император знал, какую скверную гадину он хотел задушить. Могущественный и продажный, Суиллий выжал из долгой службы Клавдия много счастья для се-

бя и ни одного порядочного дела для общества. После процесса Поппеи Сабины и Валерия Азиатика старик — ему было уже за шестьдесят лет — совсем озверел. Угрожая Мессалине, он затравил двух братьев, римских всадников по фамилии Петра, доносом, будто бы один из них видел зловещий для Клавдия сон. Настоящей причиной преследования была ненависть к Петрам Мессалины за то, что в их доме покойная Поппея Сабина встретила с пантомимом Мнестером, предпочитавшим ее жене цезаря.

«Обвинитель без отдыха и с ожесточением» (*continuus et saevus*), Суиллий своим возвращающим примером отвратительно действовал на общество. Зараза ябедничества распространялась эпидемически, поощряемая любительским пристрастием Клавдия выступать в роли судьи. Именно в это время оперились многие доносчики и государственные плуты, имевшие очень мрачное влияние на Нерона во второй деспотический период его принципата, — например, Коссутиан Капитон, зять знаменитого Тигеллина. «Не было на торгу товара продажнее адвокатского ве-

роломства», — клеймит эпоху преуспеваний Суиллия негодующий Тацит. Наконец старый негодяй зарвался в своей наглости до кровавого скандала. Взявшись вести процесс некоего Самия, знатного римского всадника, Суиллий выманил у своего доверителя 400.000 се-стерциев (40.000 рублей), а потом продался противной стороне. Ограбленный клиент зарезался в доме у предателя. Дело было доложено в сенат, и консул на будущий срок, Г. Силий, столь прославленный впоследствии своей роковой связью с Мессалиной, употребил свой авторитет, чтобы воскресить закон Цинция. Адвокатам же он предлагал питаться, вместо гонораров, «славой и памятью в потомстве». Силий, вообще любимый в сенате, увлек собрание; уже писали постановление, которым платная адвокатура подводилась под закон о вымогательстве. Тогда адвокаты, с Суиллием и Коссутианом во главе, обратились к Клавдию с петицией, чтобы закон, по крайней мере, не имел обратного действия: иначе все они, по очевидности своих проступков, осуждены уже заранее, без суда, — осталось только привести в исполнение

законную кару. Клавдий удовлетворил ходатайство. Милость государя ободрила адвокатов напасть и на запретную часть закона. Искусно защищая платную адвокатуру, как постоянную и обособленную профессию, подобную военной службе и земледелию, они охотно отрекались от перспектив славы и бессмертия, но желали сохранить гонорары. Хорошо великодушничать даровыми защитами ораторам-богачам, а мы люди бедные. Когда государство не воюет, платная адвокатура — один из немногих мирных заработков, остающихся небогатым сенаторам, один из немногих путей сделать общественную карьеру, предоставленных классу плебеев. Словом: «если за науку перестанут платить, науке пропасть надо» (*sublatis studiorum pretiis etiam studia peritura*).

Клавдий отвечал:

— Мотивы ваши не из красивых, но не безосновательны.

И грозное постановление было смягчено: гроза ограничилась определением максимальной нормы гонорара за адвокатские услуги в десять тысяч сестерциев (1.000 руб-

лей).

При Нероне злополучия Суиллия и ему подобных начались уже первой речью молодого принцепса. «Я не намерен лично вникать во все судебные дела, чтобы, покуда я сижу во дворце, запершись с обвинителями и подсудимыми, росло могущество фаворитов». Таким образом, успех доносчиков потерял свой главный шанс: личное внимание государя. Суиллий утратил почву под ногами и принижен — однако, говорит Тацит, не настолько, как надеялись люди, им обиженные. Старик переносил свою полу-опалу очень строптиво. Он был не из тех, кто просит пощады. Бешеный нравом, — к тому же надеясь на безнаказанность по дряхлости, — Суиллий всюду и неутомимо злословил Сенеку, в котором справедливо усматривал главного врага своей профессии. Он говорил:

— Сенека пристрастный гонитель всех друзей Клавдия, памяти которого он мстит за то, что покойный государь отправил его в ссылку, — и как раз поделом ему было! А кто такой этот Сенека? Теоретик, переливающий из пустого в порожнее к восторгу невеже-

ственных мальчишек. Вот ему и завидны адвокаты-практики, употребляющие свое дельное красноречие на защиту граждан. Я при Германике был квестор, а Сенека — прелюбодей в его дому. Неужели более преступно адвокату принять от клиента добровольный гонорар, чем развратнику — лазить по спальням женщин государева дома? Хорош мудрец! По какой это философской школе он ухитрился, в четыре года государевой милости, скопить триста миллионов сестерциев? Рим он — точно облавою обложил: вымогает завещания, клянчит у бездетных. Италию и провинцию разорил огромными процентами. У меня тоже есть капитал, но трудом нажитой и небольшой. Я все готов стерпеть: под суд — так под суд, погибать — так погибать, но не дожидаться ему, чтобы я, чиновный человек старых и долгих заслуг, унизился перед счастливым выскочкой!

Злобный лай старого кляузника раздавался четыре года, в течение которых Суиллий видел падение многих своих товарищей-сподвижников, включительно до Коссутиана Капитона, в конце 57 года сосланного за взяточ-

ничество и казнокрадство. Эти — тоже постоянные — добродетели римских доносчиков иногда, быть может, являлись предлогом отделаться от разбойников профессионального обвинения. По крайней мере, в 57—58 гг. закон о вымогательствах привел к суду трех самых грозных доносчиков империи. О падении Коссутиана Капитона только что рассказано. Ликийцы выставили однородные обвинения против лютого Эприя Марцелла, — однако, неудачно: дворцовые происки в пользу подсудимого были так сильны, что обвинители — как бы за ложный донос — сами попали в ссылку. Источник протекции Эприю Марцеллу становится прозрачен, если вспомнить, что он был призван кончить претору Люция Силана, нарушенную по интригам Агриппины и Вителлия. Вообще, как скоро тени Силанов вставали из-под земли, ими можно было заслонить любое преступление. Уже упоминалось о процессе П. Целера, убийцы Юния Силана, поднятном азийской провинцией, но затянутом волею Нерона до естественной смерти подсудимого от старости. Процесс этот тоже относится к 57 году. Покойный Люций

Силан выручил Эприя Марцелла, Юний — П. Целера. Наконец дошла очередь и до третьей, самой яркой звезды доноса, — до самого Суиллия. Сенека, которому речи озлобленного старика передавались с разных сторон едва ли еще не хуже, чем говорились, потерял терпение. Сколько правды было в злобных намеках Суиллия, будет исследовано в главе четвертого тома, посвященной политической характеристике министра-философа. Но — клевета ли была, только ли диффамация — все равно, брань доносчика Сенеку сильно задела. Способ защиты он выбрал странный: чем бы преследовать неприятеля лично за личные обиды, он упек Суиллия под суд по сторонним обвинениям в злоупотреблениях по должности азийского проконсула, — в грабеже союзников и казнокрадстве. Тацит не скрывает, что хотя проступки были истинные, но судебное дело возникло искусственно, через подысканных обвинителей. Но для судебного следствия над преступлением по должности требовался годовой срок, который показался слишком продолжительным или Сенеке, потому что, объясняют иные, он боялся оставить на воле

в течение целого года злой язык Суиллия, или кому-то, гнавшему старого доносчика местью из-за спины Сенеки. Как увидим потом, Поппея Сабина Младшая имела постоянные сношения с провинцией Азией, подтасованные обвинители из которой требовали теперь Суиллия к ответу. А в ускоренном процессе, поставленном на очередь вместо этого, как скоро воскресли старые дела о доносах Суиллия, то центром тяжести обвинения стало дело о Валерии Азиатике и Поппее Сабине Старшей. Процесс Суиллия вел сам император и дал личное показание, весьма неблагоприятное для подсудимого. Поппея Сабина Младшая была в это время замужем уже за Отоном, неразлучным другом Нерона, и, быть может, под ее мстительным влиянием «золотая молодежь» соединилась с Сенекой, чтобы заставить императора доканать лютого доносчика. В процессе много любопытных подробностей. Обвинительный акт Суиллия ужасен. Чтобы спастись от его доносов, люди, как Кв. Помпоний, консул 794 (41) года, бросались в гражданские войны; от них гибли даже члены государева дома, как Юлия, дочь Друза, Сабина

Попшея, Валерий Азиатик, Лузий Сатурний, Корнелий Луп — таков синодик знатнейших жертв Суиллия, а за ними следовали «целые полки римских всадников». Тацит дает понять, что обвинения, серьезные уже сами по себе, раздувались по желанию правительства свалить на Суиллия собственные старые вины. Старого палача, упраздняемого за ненадобностью, старались сделать козлом отпущения, который унес бы на себе в пустыню грехи отжившего режима. Любопытно, что обе стороны — и защита, и обвинение — равно сражались именем Клавдия.

Реабилитация покойного принцепса от покровов в жестокости, конечно, понадобилась Нерону и Сенеке не по личным симпатиям. Нерон ненавидел память отчима, Сенека изобразил Клавдия в целом ряде разнообразнейших творений своих, и серьезных, и шуточных, свирепым чудовищем. Но правительству надоели упреки деспотической партии, обращаемые к новому принципату со ссылками на Клавдиев авторитет. Оно решило разбить клавдианскую легенду, выдернуть у людей старого режима опору из-под ног, очищая

от деспотических воспоминаний самый режим. Суиллий заявляет, что ведется систематическая травля друзей Клавдия, — правительство доказывает, что травимые друзья — самозванцы, хуже врагов. Суиллий дает понять:

— Суд надо мною есть суд над Клавдием; я не вчинал дел своей волей, а только являлся орудием государевых приказаний.

Нерон лично остановил его:

— Неправда. Я рассматривал архив отца. Он никогда никого не насиловал к чему-либо обвинению.

Суиллий схватился, как утопающий за соломинку, за мрачную репутацию покойной Мессалины: она де приказывала! — и окончательно погубил свою защиту. Тацит приводит обвинительную реплику на этот пункт его оправдания:

— Почему же именно тебя, а не другого кого выбрала эта свирепая развратница в палачи своих жертв? Слуга, исполнитель зверских приказов, должен нести наказание, как их соучастник. А то — смотрите: награды за свои преступления эти господа принимают, а от-

ветственность (*scelera ipsa*) слагают на других.

Таким образом, судя друга Клавдия, сенат, именем Клавдия, установил совсем уже не клавдианский принцип, что воля двора отнюдь не есть последнее слово закона для служащего человека, она не погашает ответственности; нельзя совершать приказанные свыше преступления без прекословия и критики.

Суиллий, по конфискации у него части имущества, был сослан на Балеарские острова. Мужественно отстаивая себя в течение неудачного процесса, характерный старик отнесся с тем же упрямым презрением и к постигнутому его наказанию. Благодаря поддержке сына и внучки, к которым перешла не конфискованная часть его состояния, а также все, что принадлежало им по завещаниям матери и бабки, но оставалось в пожизненном владении отца, — Суиллий жил в ссылке богато и «изнеженно» (*molli vita*). То есть — маленьким Тиберием на Капри, так как телесная и житейская «изнеженность» (*mollitia*) у Тацита подразумевает противоестественный поло-

вой порок.

Некогда Суиллий взводил на благородного Валерия Азиатика клевету и такого рода. Тогда терпение обвиняемого лопнуло, и он вскричал:

— Спроси своих сыновей, Суиллий. Они тебе скажут, мужчина ли я.

Из молодых людей, получивших такую незавидную рекомендацию, один, по имени Цезонин, был замешан в процесс Мессалины и чуть было не погиб в бойне ее любовников, и спасся только тем, что успел доказать полную невозможность своей виновности, так как в отвратительнейшей компании Мессалины он сам был дамой (*in illo faedissimo coetu passus muliebria*). Другой, Неруллин, был консулом в 802 году (50). Враги Суиллия хотели было подвести под суд и Нерулина по закону о вымогательствах, но Нерон воспротивился, говоря, что справедливость уже отмщена.

Старый наглый доносчик был ненавистен Риму, но роль, которую сыграл в его падении, и средства которыми для того воспользовался Сенека, тоже почему-то были дурно приняты

общественным мнением. Не потому ли, что Рим, неутомимый и всезрячий сплетник, уже заметив возвышение Поппеи Сабинны и, прозревая ее будущее величие, видел в деле Суиллия лишь ловкий маневр философа-куртизана подладиться к новому солнцу, так пышно восходящему? Что некоторое время Сенека был с Поппеей в отличном ладу, в том трудно сомневаться. Да и не могло быть иначе. Новое солнце было нужно министру-философу, чтобы погасить в его лучах старое светило империи, все еще мощное, хотя и сильно склонившееся к западу, — вдовствующую императрицу Агриппину. Скромная звездочка Актэ, противопоставленная было ей сначала довольно успешно, начала уже затмеваться. Случилось, что должно было случиться, и чего покойно дожидаться помешал Агриппине лишь злой рок, который с недавнего времени тяготел над ней, неуклонно толкая ее к гибели. Влюбленный в Актэ на первых порах до того, что чуть было не женился, Нерон затем быстро остыл к предмету первой страсти, хотя, как уже говорено, не удалил Актэ от двора и навсегда остался с ней в дружеских отношени-

ях.

Император был в годах бунта против родственного авторитета, когда старших не слушают именно потому, прежде всего, что они старшие, когда поступают наперекор родителям, опекунам и учителям, именно потому, что они родители, опекуны и учителя. Между 19—22 годами самое сильное и даже единственно возможное влияние на юношу, со страстным, переходящим от мальчишества к взрослости, характером, — это влияние любимой женщины, особенно если умом и силою воли она превосходит своего любовника. Поппея была значительно старше Нерона годами и, следовательно, бесконечно старше развитием, была неглупа, образована, обходительна, — женщина с характером, женщина нового поколения. Заметив интимность, возникающую между нею и Нероном, Сенека мог заключить с ней безуговорный, безмолвный союз, как с женщиной, которая вполне подходила к его целям, неоправданным Актэ. Он любезно помогал Поппее, она — ему. Если не вражда, то очень холодные отношения между ними возникли позже, когда Поппея уже пол-

новластно владела умом и сердцем Нерона и нимало не нуждалась в Сенеке, а он понял, что Поппея не удовольствуется положением государевой фаворитки, но потянется на предельную царственную высоту, куда возносить ее старик не чувствовал ни охоты, ни силы, ни права. Поппея провела его, как Нерон — Агриппину. Провела и одурачила — верная своему несравненному таланту очаровывать всех мужчин вокруг себя, выжимать из них все возможные выгоды и затем — оставлять их в дураках. Если чтение Густавом Рихтером 694—696 стиха в «Октавии» лже-Сенеки правильно, то в трагедии этой имеется прямое указание, что Поппея обязана своим возвышением «вине» или «ошибке» Сенеки:

Caesari juncia es tuo

Taeda jugali, quem tuus cepit décor

Et culpa Senecae, tradidit vinetum tibi

Genetrix Amoris, maximum numen, Venus.

(Вот и соединил тебя факел брачный с твоим цезарем, которого обольстила красота твоя и, по ошибке Сенеки, предала тебе скованным пленником мать Амура, величайшее из божеств, Венера.)

Я не полагаюсь на этот текст, так как целый ряд других ученых старых и новых (Пейпер, Лео, Гроновиус, Веренс и др.) дали здесь иные чтения. Но, сравнивая их, нельзя не признать, что чтение Густава Рихтера наиболее соблазнительное по естественности и логической уместности исторического намека.

«У этой женщины было все, кроме чести: мать ее была в свое время красавица и передала красоту своей дочери, вместе с известностью; богатство соответствовало знатности рода; скромная наружность прикрывала сластолюбивую натуру; редко показывалась она в публичных местах и всегда при этом скрывала под вуалью часть лица, для того ли, чтобы не удовлетворить вполне любопытства тех, которые ею любовались, или для того, что это было ей к лицу. Она не щадила своей репутации, не знала разницы между мужем и любовником; не подчинялась ни чужим, ни своим страстям, она основывала свои связи на выгоде, которую могла из них извлечь».

Кто писал этот портрет роковой светской львицы?

Зола? Жид? Мопассан? Сенкевич? Габри-

ель д'Аннунцио? Нет: Кай Корнелий Тацит. Перед нами не героиня «Парижа», «Триумфа Смерти» или «На светлом берегу», не *grande coquette* с подмостков французского театра, но божественная Августа Поппея Сабина, бросившая своего мужа Руфия Криспина, чтобы сойтись без любви с Отоном, потому что он был приятелем цезаря Нерона, и покинувшая Отона, чтобы, без любви, стать сперва любовницей, потом женой цезаря Нерона, потому что он был самым властным и богатым человеком подлунного мира.

II

От Руфия Криспина Поппея имела сына. В «Darkness and Dawn», довольно скучной и тенденциозной хронике Фаррара, имеется совершенно произвольная и весьма сентиментальная характеристика этого благородного Руфия Криспина и отношений его к Поппее в супружестве, изображаемом, как истинный брак по любви. Чувствительные строки понадобились Фаррару, чтобы резче оттенить безнравственность Поппеи, беспричинно бросившей столь превосходного и солидного мужа для богатого франтика Отона.

В действительности, супруг Поппеи вряд ли мог внушать ей особенно нежные чувства. Хотя бы уже потому, что именно ему, в качестве преторианского префекта и приверженца Мессалины, некогда выпало на долю арестовать Валерия Азиатика, в процессе которого погибла мать Поппеи Сабины, а к памяти матери дочь, как можно предполагать по процессу Суиллия, относилась равнодушно. Руфий Криспин исполнил поручение с усердием, из ряда вон выходящим. Для приказанного ареста он двинул в Байи, где жил на даче обвиненный, чуть не целое войско, и Тацит, с презрительной насмешкой, отмечает, что Валерий Азиатик, закованный в цепи, был не приведен, но «притащен» в Рим (*in urbem uaptus*). За такую распорядительность Руфий получил, по сенатскому постановлению, денежную награду в полтора миллиона сестерциев, т.е. 150.000 рублей, и преторские знаки. Агриппина не любила Руфия, как друга Мессалины и чересчур прямолинейного клавдианца, опасного для задуманной узурпации принципата. Незадолго до отравления Клавдия, Агриппина провела реформу единонача-

лия гвардейским корпусом, и Руфий Криспин вместе с коллегой своим Лузием Гетой неожиданно очутились за штатом, замещенные Афранием Бурром. Естественно, что старый воин не сохранил особенно нежных чувств к Агриппине, стал в ряды тайно недовольных и, в годы пятилетия, когда Агриппина начала впадать в немилость, оказался неронианцем. Когда же неронианец Отон сперва сманил у него красавицу-жену, а потом переуступил ее самому Нерону, Руфий Криспин стал в оппозицию и государю. Мы встретим его в числе участников Пизонова заговора, хотя Тацит оговаривает его привлечение к ответственности не столько действительной прикосновенностью к делу, сколько ревностью Нерона, который никак не мог простить Руфию Криспину бывшего супружества с Поппеей. Криспина лишили чинов и знаков отличия и отправили в ссылку, в Сардинию, умирать от тамошней болотной лихорадки. Когда же старый солдат устоял против губительного климата, Нерон послал к изгнаннику центуриона с приказанием умереть, и Руфий заколол себя собственноручно, всего лишь несколькими

месяцами пережив виновницу своих несчастий, прекрасную Поппею.

Но в конце «пятилетия», дом Руфия Криспина и прелестной жены его был неронианским. У ног красавицы-хозяйки была неронианская «золотая молодежь», и — во главе пестрой толпы вздыхателей — сам цезарь с ближайшим другом своим Отоном. Взять в любовники того или другого, или обоих вместе, было в свободном выборе Поппеи, но, расчетливо подчиняя чувственность честолюбию, она метила выше. Тацит пишет, что Отон соблазнил Поппею как молодостью и роскошью, так и тем, что он пользовался самой горячей дружбой Нерона. Я думаю, что последнее орудие соблазна, в данном случае, подавляюще господствовало над двумя первыми. Развестись с Руфием Криспином, — для Отона ли, для Нерона ли, — Поппее было нетрудно, недолго и даже не неприлично — в веке, когда дамы «считали мужей по консулам». Но, после развода, за Отона можно было немедленно выйти замуж; что же касается Нерона, Поппея видела на пути своем в императорский дворец множество препятствий,

одолимых только временем, терпением и тонкой женской дипломатией.

Начать с того, что Нерон был женат, и не на такой женщине, которую можно прогнать, как первую встречную. Дочь Клавдия стояла по крови одною степенью родства ближе к Августу, чем сам Нерон, а память Августа боготворилась в Риме, и права его крови неоспоримо сочетались с традицией высшей власти. Когда Нерон однажды выразил Бурру намерение развестись с Октавией, старый генерал холодно возразил:

— Можно. Но, ведь, придется возвратить ей приданое.

А приданым Октавии была империя, которую Нерон получил, главным образом, как зять Клавдия, счастливо объединив в своем лице представительство обеих правящих фамилий — и Юлиев через Агрипшину, и Клавдиев через усыновление и брак с Октавией.

Затем надо было считаться с императрицей-матерью. Если она, в безумной ревности к власти, делала сыну страшные сцены из-за связи его с ничтожной вольноотпущенницей, тем более должно было возмутить ее вторже-

ние во дворец модной львицы, со всеми задатками повторить самое Агриппину. Вялая и туповатая Октавия, всегда покорная и бессловесная, была для Агриппины самую удобной невесткой. Она не могла жаловаться на свекровь: та стояла за нее горою — особенно с тех пор, как был отравлен Британик.

Тогда Поппея попробовала одним выстрелом убить двух зайцев: поймать Отона и не упустить цезаря. И мало — не упустить, но, сделав из нового супруга орудие своеобразного кокетства, разжечь страсть влюбленного Нерона ревностью к счастливому другу до готовности на какие угодно жертвы и нелепости.

Что Отон и Поппея сошлись по взаимному искреннему влечению, тому Нерон не мог не поверить. Они были пара, какой лучше нельзя подобрать. Она — первая львица, он — первый лев Рима, законодатель моды и вкусов. Правда, Отона нельзя назвать писанным красавцем. Он маленького роста, слегка кривоног, чуть-чуть прихрамывает; ему пошел всего двадцать седьмой год, а голова его уже лысовата, и он должен прикрыть плешь наклад-

ками, за которые платит парикмахерам бешеные деньги, но которых зато никому не отличить от натуральной прически: ими восхищаются, их оригинальному изяществу подражают римские франты; на женоподобном личике Отона не растет ни усов, ни бороды; роковой признак организма вырождающегося, расслабленного роскошью и эротическими извращениями. Нерон, с его могучей головой и кудрями Апполлона, гораздо красивее Отона. Но Отон — «шикарнее». Ведь, именно, такие *petits creves*, с их вычурным фокусническим разворотом, и нравятся женщинам, лишенным сердца, но полным холодно-утонченной, головной чувственности, нагло-развратного цинизма, какой описывают Поппею летописцы. Ей должно было нравиться в Отоне именно то, что трезвой морали, здоровому инстинкту представляется в нем отвратительным, но чему... все завидовали, и первый — Нерон.

Ему никак и никогда не удавалось догнать своего великолепного друга в умении жить. Император хвастает перед Отоном полученными издалека дорогими духами и, в виде

особой любезности, опрыскивает ими тогу приятеля. Назавтра Отон зовет к себе цезаря на обед. Едва Нерон вошел в столовую, потайные пружины выдвинули из стен золотые и серебряные трубы, и, как вода, полились из них широкоструйные фонтаны той самой душистой эссенции, которой так дорожил император.

Итак, видимость взаимной симпатии между супругами была полная, и самолюбивого цезаря, очутившегося в положении несчастного влюбленного, она должна была бесить немало. Тем более, что ликуя медовый месяц, Отон до неприличия хвастался молодой женой, то и дело описывая друзьям, а в числе их и цезарю, все ее прелести в самых соблазнительных подробностях, — особенно, когда вино развязывало ему язык. «Часто слышали, как он, вставая из-за стола цезаря, говорил, что идет к ней, и что ему досталась женщина, у которой — знатность, красота, все, что люди желают, и что составляет восторг счастливых». То есть, прямо-таки дразнил женолюбивую и пьяную компанию: вы же сидите и пейте, жалкие смертные, потому что у вас нет

впереди ничего лучшего, а я, счастливейший из людей, спешу в объятия женщины, которой мизинца не стоят все ваши жены, конкубины и вольноотпущенницы-куртизанки. Этакое супружеское хвастовство — вполне в духе и тоне эпохи. В третьей главе третьего тома «Зверя из бездны», посвященной «Общественной невоздержанности» Неронова века, мы увидим, как понималось существо любви в императорском Риме, и как тесно и грубо связывалось это изящное чувство — увы! — с беспробудным мужским и женским пьянством.

В то же время Отон закрывает двери своего роскошного дома для бывших друзей, а в числе их и для императора. Нерон, раздраженный, возбужденный, сам набивается в гости к коварному другу. Тот принимает высокую честь без всякого удовольствия и представляет цезарю жену с видимой неохотой. Лучезарная красота и кокетство Поппеи окончательно заполонили воображение двадцатилетнего Нерона. Избалованный льстивой покорностью и готовым на все услуги подобострастием дам Палатина, цезарь повел было

атаку на сердце Поппеи, что называется, с места в карьер, но был отбит с жестоким уроном для самолюбия: за кого он принимает Поппею? Она замужняя женщина и любит своего мужа!

Назавтра Нерон посылает к Поппее своего камергера — пригласить ее во дворец на интимную вечеринку: честь, от которой в Риме цезарей дамы не отказывались. Поппея камергера даже не приняла. Император является сам, просит дать ему возможность извиниться за сделанную неловкость и возобновить приглашение лично, — Поппеи нет дома и для него. Он в отчаянии. Он забывает, что он цезарь, принцепс, правитель, властный повелевать Отону и дерзкой жене его и растоптать в прах их обоих, в случае неповиновения. Он помнит лишь о своем мужском самолюбии, систематически получающем самые оскорбительные пощечины, и страсть его разгорается в неутолимую жажду обладания. Когда Поппея, наконец, удостоивает Палатин своим появлением, — понятное дело, — она принята не как случайная, хотя бы из ряду вон красивая, искательница фавора, но как

царица красоты, чьей милости напрасно добивается сам державец вселенной.

Поппея на Палатине, а в любви Нерону все таки не везет. Он не выдержал характера — заставил красавицу принадлежать ему физически. Поппея покорилась, но он, как тонкий эстет, воспитанный на Овидии, Проперции, Тибулле, понимает с горьким разочарованием и раскаянием, что вынудил не любовь, но бесстрастную, отвратительную уступку бессильной подданной всемогущему государю. А того ли он хотел? о том ли мечтал? Ему надо, чтобы Поппея полюбила его, как свободная женщина — равного ей мужчину, как полюбила она и любит Отона, чье имя, уже досадное цезарю, не сходит с ее уст.

За каждой сладострастной ночью следует постное, хмурое утро. Поппея показывает цезарю откровенное презрение, требует отпустить ее домой, к Отону, — великолепному мужу и человеку: она обожает его, потому что он окружил ее нравственным и житейским комфортом, какого ей никто другой доставить не в состоянии. Вот это — мужчина, это — аристократ, вот бы кому пристало быть

государем.

— А я то как же?! — остается возопить сконфуженному Нерону. — Я, который так в тебя влюблен?!

— Ты, Нерон? Что же, я верю твоей любви... Ты, пожалуй, даже немножко нравишься мне: ты недурен собою, у тебя прелестные волосы, несравненный голос... Но разве ты стоишь любви порядочной женщины? У тебя изменные вкусы и привычки. Подумать только, что ты жил с Актэ, с холопкою, девкою из дворни. Эта блудня с нею научила тебя мерзким словам, грязным манерам, несносным для дамы из общества.

И все свои дерзкие нотации дама из общества нарочно выражает на грубом и хлестком жаргоне римской улицы, сохраненном для нас Марциалом, Ювеналом и Петронием, чтобы еще резче подчеркнуть обиду: с всесильным цезарем говорят как с мужиком, рабом... более тонкого обращения не заслуживает любовник Актэ!

Хотя Нерон в то время не показал еще своих когтей во всю их величину, все же надо было иметь две головы на плечах, чтобы ве-

сти столь наглую игру с таким нетерпеливым и гордым самодуром. Однако дальнейший ход событий показал, что расчет Поппеи был совершенно верен. Двадцатисемилетняя красавица видела девятнадцатилетнего мальчика насквозь и дрессировала своего тигренка с уверенностью опытной укротительницы, перевидавшей всяких зверей в своем зверинце.

Надеясь, что — долой с глаз, вон из памяти, Нерон отстраняет Отона от двора и усылает соперника наместником в Лузитанию. Говорят, будто сперва император хотел было его умертвить, но был переубежден Сенекой. Философ доказал цезарю, что он сделает себя смешным, если прикажет казнить человека только за то, что тот имеет несчастье быть любимым своей законной женой. Защита эта подтверждает мое прежнее предположение, что между Отоном и Сенекой существовали хорошие отношения, — философ был вовсе не щедр на ходатайства, хорошо памятуя пословицу, что — кто просит у государя милости для других, отнимает ее у себя. Отон уезжает в свое наместничество и — сверх всякого ожидания — оказывается превосходным пра-

вителем. Роль Отона в комедии сближения Поппеи с Нероном настолько загадочна, что даже близкие к веку их историки не могли решить, навязывал ли он цезарю жену свою, «по неосторожности любовного увлечения, или с целью воспламенить его, чтобы совокупное пользование одной и той же женщиной прибавило новую связь между ними и увеличило его влияние». В одно и то же время, этот странный человек чуть не открыто сводит жену свою с Нероном, содействует даже, как мы увидим ниже, устранению людей, мешающих их блаженству, — и любит Поппею сам, мучась к ней болезненной неотвязной страстью. Над ним издевались в Риме. Какой-то актер пустил со сцены злой куплетец:

Под видом почести, в изгнании Отон.

За что, про что? спросить мы смеем.

За то, что — вот чудак! — задумал он

Стать с собственной своей женой прелюбодеем.

Взгляд Тацита на отношение Отона и Поппеи, как он изложен в «Летописи», мы уже видели. Но ранее, в «Историях», тот же писатель по тому же поводу высказался несколько

иначе. «Нерон поместил у него, как у сообщника своего разврата, Поппею Сабину, императорскую наложницу, пока не отделался от жены своей Октавии; а потом, ревнуя его к той же Поппее, он, под видом легатства, удалил Отона в Лузитанию». Светоний тоже сообщает, что Поппея уже была любовницей Нерона, когда вышла замуж за Отона — фиктивным браком для прикрытия связи с цезарем. Таким образом, Отону при Поппее предназначалась роль Серена при Актэ. Но цезарь ошибся в расчете. Отон и Поппея влюбились друг в друга, и у Нерона оказался непобедимый соперник. Он не только не отпускал жену на приглашение цезаря, но однажды запер двери своего дома перед самим императором, и тот, стоя на улице, напрасно то грозил, то молил выдать ему его сокровище. За это именно, по расторжении брака с Поппеей, Отон и был сослан в Лузитанию: большим наказанием

Нерон не осмелился его поразить из боязни насмешек, — выше приведенные стихи и то уже гуляли по городу. По Плутарху, Отон был подослан Нероном, чтобы сосводничать

ему Поппею, тогда еще жену Руфия Криспина; но он сам влюбился в красавицу и, заманивая ее надеждами на Нерона, устроил брак для себя. Поппея страшно изводила его ревностью. Соперничество Нерона и Отона грозило последнему гибелью. «Казалось странным, что император, убивший ради своей женитьбы на Поппее жену и сестру, пощадил Отона».

В Лузитании Отон остается верен своей возлюбленной Поппее, с рыцарством, совсем не обычным молодому римскому аристократу разнузданной эпохи, когда в женщине видели предмет для наслаждения, а никак не для платонических мечтаний. Уже говорено, что он оказался превосходным губернатором, хотя очень скучал в своей почетной ссылке.

— Довольно мне один раз Лузитании! — говорил он впоследствии, организуя заговор против Гальбы.

Известно, что он первый примкнул к Гальбе против Нерона, чему, может быть, содействовала мстительная вспышка, вызванная слухом, будто Поппея кончила жизнь насильственной смертью — отравленная мужем или растоптанная его сапогом. Но сплетня эта дер-

жалась недолго. Сам став императором на 95 дней, Отон является как бы мстителем за покойного цезаря: восстанавливает культ Нерона и Поппеи Сабины, уничтоженный было революцией Гальбы, продолжает Нероновы постройки, даже принимает на себя его имя. Вообще, этот человек, странно любивший тех, кого по здравому смыслу и мировоззрению века он должен был ненавидеть, — одна из загадок истории. В наше время, — благодаря романам Захер-Мазоха и психиатру Крафт-Эбингу, создавшему, на их основании, учение о мазохизме, как особом страдательном извращении любовного инстинкта, противоречивый характер Отона может быть уяснен лучше, чем справлялись с ним более ранние исследователи, которых Отон неизменно ставит в тупик: где в нем кончается герой, и где начинается изнеженный негодяй, полумужчина, сводник.

Удаление Отона мало поправило любовные дела императора. Тянулась все та же томительная канитель чувственного поддразнивания, доводившего Нерона до диких экстазов и готовности сломить все преграды, по-

ставленные судьбой между ним и Поппеей, сжечь все свои корабли.. А ему день изо дня подносили, как горькое лекарство, один и тот же лукавый припев ко всем его любовным песням: — Или сделай меня императрицей, или — уходи от меня ни с чем.

И зелье подействовало, Нерон решился.

Мать боролась против его увлечения всеми силами своего изощренного в интригах ума, всей энергией своего недюжинного характера, но нельзя сказать, чтобы с тактом. Постоянным назойливым вмешательством как в государственные, так и в личные дела сына, вечным шпионством, придирчивой критикой всех поступков и слов Нерона, надоедливym пилением, с попреками своими благодеяниями, Агриппина отравила императору жизнь настолько, что он, не шутя, задумал было, — по крайней мере громко выражал такое намерение, — отречься от власти и переселиться частным гражданином в Родос — в тот самый Родос, независимость которого он, еще юношей, так искусно защитил перед сенатом. Вторичное вмешательство матери в его любовные дела явилось каплей яда,

переполнившей чашу терпения молодого цезаря. Ревнивое гонение, воздвигнутое Агриппиной на ничтожную Актэ, привело к смерти Британика. Борьба, которую повела она против великолепной Поппеи, грозила худшим.

III

Несносный семейный раздор продолжался уже четвертый год, и, что день, для Агриппины становилось все меньше и меньше надежды на победу. Не прежние были времена — не прежний и Нерон. День, когда он дал своей гвардии паролем нежные слова «лучшая из матерей», *optima mater*, остался далеко позади. На выходки Агриппины император отвечал мерами, далеко не шуточными.

Уже вслед за смертью Британика, императрица-мать начала — для того ли, чтобы обезопасить самое себя, для других ли целей, менее невинных — собирать вокруг себя военную партию и заигрывать со старинной республиканской знатью — к тем годам уже не слишком многочисленной. Государственное положение этих старых, переживших свою славу фамилий напоминало бессильную, почти платоническую оппозицию роялистов в

современной Франции, но с еще более глухим протестом против существующего порядка вещей. В то же время Агриппина занимала деньги направо и налево, с какой-то подчеркнутой, нервной поспешностью, имела частые совещания со своими друзьями, расширила обычные свои приемы во дворце и на них, порицая поведение Нерона, сожалела о Британике и сетовала на жалкую судьбу покинутой оскорбленной Октавии.

Дело очень походило на подготовку заговора. Тогда Нерон тоже открыл против матери ряд враждебных действий. У Агриппины последовательно отнимают сперва военный караул, приличествующий ей, как вдовствующей императрице и родительнице правящего цезаря, потом ее собственную германскую стражу. Затем свершилось полное отделение двора Нерона от двора матери. И, наконец, вдову Клавдия бесцеремонно выдворили из палатинского дворца и поселили в замке бабки ее Антонии, матери Германика. Целью этого выселения было — фактически разделить дворы. До сих пор, лица, удостоенные приема у цезаря, откланивались затем императри-

це-матери; выпроваживая Агриппину в другую резиденцию, Нерон отстранял ее от участия в императорских приемах. Открытой опалы Агриппине объявлено не было, внешняя любезность сохранилась, но навещал Нерон мать свою на ее новосельи крайне редко, входя к ней, не отпускал своего конвоя и, после короткого официального приветствия, спешил удалиться. Сильваньи сравнивает это почетное заточение с тем, которому сурово, но поделом (*e giustamente!*) подверг Карл Эмануил III (1701—1773) отца своего Виктора Амедея II (1666—1732), когда тот — по отречении от трона (1730) — опять хотел его возвратить себе. Но сардинский король XVIII века менее церемонился с родителем, чем римский император I века — с родительницей. Виктора Амедея, по сыновьему приказу, просто схватили ночью с постели, как десять лет спустя в России Манштейн — Бирона, закутали, полуголового, в одеяла и отвезли в замок Монкальери, где он и умер, два года спустя, под стражайшим арестом.

Смерть Британика, опала Агриппины, антипатия Нерона к Октавии и подозрительная

близость последней с императрицей- матерью совершенно разложили императорскую семью. Открылось широчайшее поле для интриг и домашних, и дворцовых, и политических. Выплыло сразу множество охотников ловить рыбу в мутной воде. Посыпался ряд доносов, которые открывали правительству фальшивые заговоры. Как ни жалки были эти подтасованные обвинения, последовательно разоблачившиеся во лжи и, благодаря стойкости и благоразумию Бурра и Сенеки, не имевшие жестоких последствий, однако, они отчасти достигли своих скверных целей, хотя и без выгод для доносчиков. Они развили природную подозрительность Нерона, поссорили его с несколькими знатными родами, наметили и внушили ему ряд опасных будто бы соперников-претендентов. Именно в это время слагается в нем то страшное царственное убеждение, которое дожило до XX века в восточных султанатах: родственник государя — самый вредный враг государя. Под влиянием шептунов и смутьянов, Нерон перебирает процессами всю свою родню, всех близких людей, словно производит повальный до-

машний экзамен политической благонадежности. Четыре года безукоризненного и гуманного правления вне дворца полны — в стенах дворца — непрерывной глухой смутой, подозрительная свара с родней цезаря, окруженной всегда готовыми ловить момент куртизанами, доносы, келейные следствия и дознания по ним, интимные политические процессы, решавшиеся не публично, но в домашнем порядке — так сказать, при закрытых дверях, придворным советом цезаря. Впервые раздалась трагические в последствии имена Рубеллия Плавта и Корнелия Суллы. Стала назревать гибель Агриппины и Октавии. Началось с Агриппины.

Государева опала создает вокруг жертв своих очарованный круг всеобщего отчуждения, круг, за черту которого спешит удалиться всякий, кроме очень преданного друга или... шпиона, в маске друга. В числе немногих приятельниц, продолжавших посещать Агриппину в новом ее уединении, находилась Юния Силана, старая куртизанка еще Клавдиева двора, замечательная между прочим тем, что некогда была замужем за знаме-

нитым К. Силием, с которым насильно разве-
ла ее Валерия Мессалина — чтобы самой вый-
ти за Силия замуж, от живого, неразведенно-
го мужа, старого, глупого цезаря Клавдия. Эта
Юния Силана с теткой Нерона Домицией, из-
давна враждебной Агриппине, составили
комлот — оговорить Агриппину в подготов-
ке государственного переворота в пользу
принца Рубеллия Плавта.

Родной правнук императора Тиберия и, по
усыновлению последнего, правнук Августа,
Рубеллий Плавт мог считаться потомком ос-
нователя империи в одинаковой с Нероном
степени. Сверх того, этот принц был очень по-
рядочным человеком; его любили и уважали.

Рубеллий Плавт избран был Силаной, как
приманка доноса, потому, что громкие сожа-
ления Агриппины о Британике и полные
негодования рассказы о супружеских униже-
ниях Октавии были уже общеизвестны и не
производили эффекта. По сплетне Силаны,
Агриппина теперь агитировала, чтобы доста-
вить Рубеллий) Плавту принципат, под усло-
вием, что он женится на ней и восстановит ее
в соправительстве. Обличителями Агриппи-

ны Силана избрала своих клиентов Итурия и Кальвизия, людей, прожившихся до нищеты, существовавших лишь благодеяниями своей патронессы и потому готовых за нее в огонь и в воду. Столкнувшись с вольноотпущенником Домиции, Атиметом, эти люди пускают обвинение в ход. Клевета была построена искусно, правдоподобно, и дошла до сведения цезаря при обстановке, весьма выгодной для зачинщиков интриги. Первый танцовщик и балетмейстер того времени, почти боготворимый Нероном Парис, был также вольноотпущенником Домиции. Атимет нашептал ему в уши о доносе, и актер, несмотря на позднюю ночь, опрометью бросился во дворец к Нерону, застал его за попойкой, страшно перепугал своим театрально растерянным видом и — еще более — хорошо продекламированным рассказом. Вот когда впервые вырвался у Нерона вопль против Агриппины:

— Ее надо убить!

Тут же, за пьяным столом, решены смерть Агриппины, смерть Рубеллия Плавта и отставка от командования гвардейским корпусом Афрания Бурра: кто-то из собутыльников

успел напомнить Нерону, что ведь бывший воспитатель, а ныне военный министр его — креатура Агриппины, и, следовательно, преторианцы под его командой не слишком-то надежная сила. Приказ об увольнении Бурра и рескрипт его преемнику Цецине Туску, молочному брату императора, были уже написаны. К счастью, на помощь уже погибавшему товарищу подоспел красноречивый Сенека и убедительно доказал Нерону, что Бурр совершенно позабыл старую хлеб-соль и не чувствует к Агриппине ни малейшей благодарности. Впрочем, из трех современных историков, у которых Тацит черпал материал для своей летописи, лишь Фабий Рустик, льстивый клиент Сенеки, сообщает об этом подвиге философа в защиту друга. Плиний и Клувий утверждают, что у Нерона не могло быть сомнений в верности префекта, и вопроса о том не возбуждалось. Бурр, со своей стороны, выразил готовность умертвить Агриппину, если будет обнаружена действительность заговора. Он только настаивал, чтобы Нерон не торопился убивать, но разрешил произвести предварительное следствие. Дело, говорил он,

требует особой осторожности, в виду внезапности, с какою выплыл наружу заговор, и подозрительной ценности доноса, истекающего из дома Домиции, чья исконная ненависть к Агриппине слишком хорошо известна всему Риму. Ведь некогда Агриппина отбила у Домиции мужа ее, великого оратора, богача Пассиена, и погубила родную сестру ее Лепиду. У Юний Силаны с императрицей-матерью тоже есть свои счеты, так как та разбила уже совсем налаженный брак старой прелестницы с неким Секстием Африканом, юношей благородного происхождения. Агриппина поступила так едва ли не из участия к самой же Юний Силане, потому что молодой человек заметно зарился на наследство после своей пожилой и бездетной невесты; но влюбленная старуха не оценила благодеяния подруги, злится и мстит.

— Всякому, не только что матери, должно дать возможность защиты. Нельзя строить обвинения на одном доносе из враждебного дома. Сейчас ночь, в темноте у страха глаза велики, ты, государь, выпивши, — потому и горячишься. Утро вечера мудренее, а теперь,

когда мы не знаем толком дела, не надо нервничать и бросаться в безрассудные крайности.

Нерон убедился, утих, но определил — ранним утром быть розыску, и следователями назначил Сенеку и Бурра. При допросе ими императрицы велено было присутствовать и некоторым вольноотпущенникам. Военный министр говорил со своей бывшей благодетельницей грозно, даже грубо. Ответ Агриппины на допросные пункты, по гордой страстности и благородству тона, — одна из самых блестящих страниц Тацитовой летописи.

— Я не удивляюсь, что клеветет на меня Силана: она бездетна, никогда не рожала, чувства матери к своему ребенку ей незнакомы, но вам-то следовало бы знать, что родители не могут переменять любимых детей с такой же легкостью, как развратная женщина — любовников. Понятны мне и Кальвизий с Итурием: беднягам нечего есть и, кругом обязанные Силане, они платят старухе последней в их положении услугой: доносом на ее врага.

Но неужели, из-за их бреда, мне придется

принять на себя позорное подозрение в детоубийстве, а на совесть моего сына должна лечь казнь матери? Что касается Домиции, я была бы ей благодарна за вражду, если бы источником последней являлось соперничество со мной в любви к моему Нерону, которой она хвастает. Но в чем выразилась эта любовь? Не в том же, что теперь, с помощью своего любовника Атимета и актришки Париса, она сочиняет глупые выдумки, — словно трагедии для сцены! Когда я хлопотала, чтобы Клавдий усыновил Нерона, чтобы сын мой получил сперва проконсульские права, потом консульство, словом, пролагала ему путь в верховной власти, — что делала тогда Домиция? Украшала пруды на своей даче в Байях! Кто посмеет обвинить меня в том, что я покушалась возмущать когорты в Риме, колебала верность провинций, старалась, наконец, склонить к преступлению рабов или вольноотпущенников? Разве я могла бы остаться в живых, если бы главой государства сделался Британик? Если бы верховная власть досталась Плавту или кому-либо другому, — конечно, и в том случае мне не миновать бы суда.

Только тогда меня судили бы не за дурно истолкованные слова, неосторожно оброненные в порыве огорченной материнской любви, но за преступления — за настоящие, тяжкие преступления, которые простить мне может только родной сын.

Она подразумевала: потому что они совершены, чтобы сделать его императором. Судьи, взволнованные, потрясенные речью императрицы, рассыпаются в извинениях, просят Агрипину успокоиться, — она требует личного свидания с Нероном. Немедленно получив аудиенцию, Агрипина не сказала ни слова в свою защиту, как бы давая сыну понять, что она выше и сомнений, и оправданий. В то же время она имела благоразумие воздержаться от надоевших императору попреков старыми услугами и, вероятно, уже этим одним не только выиграла свое дело, но и добилась наказания своим обвинителям. Силану сослали, Итурия и Кальвизия тоже. Домиции месть Агрипины не коснулась, — тетка Нерона осталась в милости и имела удовольствие пережить свою ненавистную соперницу; но подставленный ею доносчик

Атимет умер на плахе. Париса Нерон тоже не уступил матери; уж слишком нужен был ему этот дивный пантомим для его пьяных вечеров и распутного балета. В непродолжительном времени, Парис был выведен из зависимости от Домиции, которая, быть может, делала ему неприятности за неудачный донос. Нерон приказал объявить его свободнорожденным, и Парис даже вчинил против Домиции иск о возвращении ему денег, заплаченных им за выкуп из рабства, потому что в рабстве де она удерживала его неправильно. В виде вознаграждения за безвинную обиду и в знак доверия к партии Агриппины, друзьям ее даны важные должности: агриппианец Фений Руфф назначен префектом народного продовольствия, Аррунтию Стелле поручено ведать императорские игры, которые готовил народу Нерон; два важнейшие наместничества, Египет и Сирия, были отданы агриппианцам Тиб. Бальбиллу и П. Антию. Впрочем, назначение последнего оказалось лишь номинальным: сперва, под разными предлогами, оттягивали отъезд Антия к месту служения и, наконец, вовсе удержали его в Риме.

Вручить Египет агриппианцу было особенно важным знаком доверия: император отдавал в руки матери главную силу принципата — житницу Рима, источник хлебного продовольствия столицы. Эта раздача мест весьма похожа на формирование министров и высших правительственных постов в современных конституционных государствах, по договору двух враждебных, но якобы примиряющихся партий: императорский центр Бурра и Сенеки подал руку крайней Клавдианской правой, с Агриппиной во главе. Торжество Агриппины было полное; примирение сына с оправданной матерью имело — по крайней мере с внешней стороны — вид искренней сердечности; пошатнувшееся было значение вдовствующей императрицы — временно оправилось, окрепло и даже как будто возросло.

В эпизоде этом должны быть отмечены, впервые появляющиеся, посторонние влияния на Нерона, равно враждебные и Агриппине, и министрам-конституционалистам. Имена не названы Тацитом, но обстановка пьяной ночи, чуть было не решившей дела, и нашептанное Нерону намерение передать ко-

мандование гвардией от Афрания Бурра одному из приближенной к цезарю молодежи ясно указывают, откуда дул ветер. Агриппина недаром ненавидела Отона и Сенециона столько же, как Актэ: при дворе юного цезаря развивался товарищеский фаворитизм. По свидетельству Светония, Отон был в совершенно исключительной милости. Один консуляр был осужден по закону о вымогательствах, что сопрягалось с исключением из сената. Затем он был помилован, но сенатские двери, конечно, оставались для него закрытыми до нового зачисления. Однако консуляр дал крупную взятку Отону, и тот без церемонии ввел его в сенат и приказал благодарить за милость, хотя оправдательная сентенция даже не была еще произнесена. Конечно, с влиянием, переходящим в такие нарушения конституции, Сенека и Бурр не могли долго и хорошо ладить, и нетерпеливая дворцовая молодежь старалась отодвинуть от кормила правления конституционалистов стоического закала, как людей отживших, педантическое старичье.

Государственный компромисс, созданный

сближением у верховной власти партий Нерона и Агриппины, вызвал немедленно подкопы против обеих. Нерону старались представить согласие их в самом дурном свете. Вскоре придворная жизнь была возмущена ложным доносом некоего Пета, маклака широкой руки, промышлявшего скупкою с аукциона выморочных или конфискованных имений. Он обвинял Бурра и, недавно смещенного министра финансов Палланта (союз, казалось бы, совершенно невероятный!) в заговоре, имеющем целью призвать к императорской власти Фавста Корнелия Суллу, бывшего консула а.у.с. 805-го — 52-го по Р.Х. года, потомка знаменитого диктатора, богача-аристократа, по крови равного цезарям. Как претендент, Сулла мог опереться и на свойство с принцепсом Клавдием, которому приходился зятем, будучи женат на его дочери Антонии, от первого брака Клавдия с Элией Петинной. Человек беспечный, трус и лентяй, Сулла, живя праздным вельможей, и не мечтал ни о каких заговорах. Паллант и Бурр были торжественно оправданы, причем последнего цезарь даже пригласил заседать в числе судей

по выдвинутому против него обвинению. Паллант, перед судом, с обычной ему заносчивостью дурно воспитанного выскочки, испортил впечатление своей невинности нелепо надменной выходкой.

— Правда ли, — спрашивают его, — что ты говорил каким-то своим вольноотпущенникам такие-то преступные слова?

— У себя в доме, — напыщенно отвечал бывший разносчик *frutti di mare*, — я отдаю приказание не иначе, как кивком головы или пальца. Если же нужно объяснить, чего я хочу, я пишу на дощечке, потому что не в моих правилах осквернять свой голос разговором с прислугой.

Любопытно, что Пет пробовал возбудить преследование против Палланта по денежным злоупотреблениям, в бытность вольноотпущенника министром финансов, и запасся для того документальными данными. Но цезарь сдержал слово, данное Палланту при отставке: обвинение было отклонено, а счета пропавших за Паллантом долгов государства, которые представил было Пет, сожжены рукой палача.

Пета сослали, но позже на Суллу поступил вторичный донос — от Гранта, императорского вольноотпущенника еще Тибериевых времен, интригана, поседевшего в дворцовых интригах. Несмотря на свою влюбленность в Пощею, Нерон был, попрежнему, не прочь кутнуть на стороне, в холостой компании, и продолжал свои юношеские ночные бродяжничества incognito — обыкновенно, за Мульвиным мостом, ныне Ponte Molle, где до рассвета торговали кабачки и веселые дома. Безобразия, которые при этом совершались шайкой цезаря, имели то вредное последствие, что развелось в Риме много буйнов-самозванцев, производивших безнаказанные бесчинства именем Нерона. К тому, что Нерона в этих похождениях неоднократно поколачивали, он оставался равнодушен, как бурш — к удару рапиры. Но он не любил, чтобы разоблачали его инкогнито. Некий Юлий Монтан, молодой человек сенаторского звания, но еще не занимавший магистратных должностей, отколотил впотьмах, напавшего на него, Нерона. Узнав потом, кого он бил, Монтан струсил и пришел просить извинения. Нерон, приняв

покаяние оробевшего сенатора за насмешку и намерение читать ему нравоучения, вышел из себя. Юлию Монтану, гласному оскорбителю государя, оставалось только покончить с собой, что он и сделал.

Дорога от Мульвиева моста обратно в Рим идет по низменной улице Фламиния, Via Flaminia, сохраняющей свое название еще в наше время и выходящей из города у подножия Монте-Пинчио — живописного холма, и по сей час любимого места прогулок для римлян всех классов (Collis Hortorum). Здесь, на предхолме, у выхода Фламиниевой дороги за черту города, возвышалась родовая гробница Домициев, в которой впоследствии был положен и прах Нерона (позади нынешней церкви S.-Maria del Popolo), а кругом тянулись сады и уголья той же фамилии. Высоты Монте-Пинчио были заняты публичным садом, известным в императорскую эпоху под названием Саллюстиева парка, по имени известного историка Саллюстия, которому эта земля некогда принадлежала. Парк считался, так сказать, коронным, не будучи частной собственностью цезарей, но переходя в пожиз-

ненное владение от одного правящего принцепса к следующему. Однажды, Нерон, возвращаясь в Рим, вместо того, чтобы пойти по улице Фламиния, почему-то отбился от своей компании и взял путь от Мульвиева моста горой, через Саллюстиев парк. Между тем, свита его на улице Фламиния повстречала ватагу таких же ночных гуляк, завела с ними ссору и была изрядно поколочена. Из такого пустого случая старый ябедник Грант сочинил длинную кляузу о неудачном покушении на жизнь государя, лишь чудом де избежавшего засады, якобы подстроенной ему Суллой. Нерон, хотя и знал Суллу, и презирал его, как все другие, встревожился, потому что не был уверен, действительно ли Сулла так глуп, как кажется, или, подобно древнему Бруту, лишь ловко играет роль дурака для хитрых задних целей. Следствие выяснило полную неприкосновенность Суллы к случаю на улице Фламиния. Однако злополучного принца, все-таки, выслали из Рима и водворили в Массилию, ныне Марсель, без права выезда за городскую черту.

Наполеон Первый приводил правление Нерона в пример того, как личные недостатки государя могут быть извиняемы и терпимы народом за достоинства режима, охраняющего блага государства. Покуда внутри дворца на Палатине кипят страстные соперничества, разрешающиеся заговорами, опалами, преступлениями — иногда даже кровавыми вне дворца, правительство кипит энергической деятельностью, выгоды которой совершенно заслоняют от глаз народных отрицательные стороны императора.

Прежде всего привлекает внимание историка усиленная защита провинций от административного произвола, развитая министрами Нерона между 55—58 гг., в период борьбы с Агриппиной, которой, как уже было показано, иные из преследуемых чиновников бывали друзьями, сверстниками, сторонниками.

В течение 56 года было три таких процесса: Виписания Лената, правителя Сардинии, — осужден; Цестия Прокула, правителя Крита, — оправдан; Клавдия Квиринала, начальника флота в Равенне, истощавшего Италию

своим корыстолюбием и зверством, — отравился в предупреждение судебного приговора.

В 57 году — три, уже изложенные выше: П. Целера, Капитона, Эприя Марцелла, — два первые осуждены, третий оправдан. В 58 году: процесс Суилия, начатый по инициативе Сенеки на основании доносов из Азии; попытка судить сына его по закону о вымогательствах, остановленная Нероном; процесс Сульпиция Камерина и Помпея Сильвана, бывших проконсулов Африки (сенатской провинции). Оба были помилованы Нероном — как кажется, за неправильной постановкой обвинения. Проступки Камерина, преследуемые в порядке частного обвинения, предъявленного притом немногими лицами, говорили больше о жестокости, чем о любостыжании. Против Сильвана, наоборот, выступило множество обвинителей; должно было вырасти огромное и долгое дело, так как потребовались к розыску свидетели из Африки. Подсудимый, для которого они были бы опасны, хитро настаивал, чтобы дело его разбиралось немедленно:

— Я дряхлый старик, могу умереть, не до-

ждавшись следствия, дайте мне поскорее очистить свое имя.

Взятки и расчеты иных на наследство после богатого бездетного старика, который, в случае осуждения, уже не мог бы распорядиться своим конфискованным имуществом, спасли ловкого плута: наскоро поставленное на очередь, дело его было рассмотрено при неопасных свидетелях и затем прекращено за недостаточностью улик. Любопытно, что старик обманул тех, кто мирволил ему, в расчете на его смерть: он пережил императоров Нерона, Отона, Вителлия, и играл некоторую роль в сенате при Веспасиане — действительно, дряхлым стариком, судя по тому, что в консульскую очередь он назначен был еще в 45 году (с 28, вместе с Фением Руфом).

В конце 57 года, во второе свое консульство с Л. Кальпурнием Пизоном, Нерон издал благодетельный указ, равно касавшийся императорских и сенатских провинций: правителям той и другой власти (*magistratus ac procurator*) было воспрещено устраивать в своих областях народные зрелища: гладиаторские бои, звериные травли и тому подоб-

ные представления. Губернаторы злоупотребляли этим правом под предлогом, будто стараются зрелищами завоевать любовь населения. В действительности, прямые и косвенные поборы на спектакли были бичом провинциалов: вымогая огромные суммы, правитель давал для соблюдения формы дешевенькие спектакли, а избыточный куш оставлял в своем собственном кармане. Об устранении квесторов от обязанности давать игры в самом Риме сенат, назло Агриппине, сделал постановление еще в самом начале Неронова принципата, в конце 54 года.

Из частных мер, обращенных на провинцию, на первый план выступают заботы о Кампании. Капуя и Нукерия (Ночера) были преобразованы в колонии ветеранов, что поднимало значение города (57 г.).

Понятие колонии в античном мире было отлично от нынешнего и много его шире.

Колонией называлась льготная община, основанная в силу государственного закона, в интересе общественном и по воле народной, в том или ином месте государственных владений, определенном, обмежеванном и разде-

ленном землемерами на правильные участки. Колония получала от метрополии свой нарочный устав (*lex coloniae, formula*). Колонисты (*coloni*), составлявшие население колонии, «выводились» (*reateon, deducere coloniam*) специальными чиновниками. При республике последние образовали коллегия из трех (*tresviri coloniae deducendae agroque dimidundo*) или более (даже до двадцати) членов-землестроителей, избираемых в древности центуриями, позже трибутными комициями и назначаемых (*reate*) консулами. Они заведывали устройством нового города, а по возвращении в Рим, оставались вообще «патронами» (*patroni*) своей, т.е. ими организованной колонии. При империи коллегиальный триумвират заменен был, в бюрократическом порядке, единоличной командировкой легата (*legatus*) или попечителя (*curator*).

Колонии делились на многие виды — как в зависимости от эпохи своего возникновения, так и от характера и прав колонистов.

До Суллы главные категории колоний — *coloniae Romanorum* и *coloniae Latinae*.

Первые были основаны Римом почти все в

Италии либо в Галлии по городам, уже ранее существовавшим и перешедшим в государственное землевладение (*ager publicus*) путем завоевания. До Гракхов такие колонии возникали, как полу-военные, казацкие станицы, обязанные следить за вновь присоединенным полумирным краем. Начиная с Гракхов, они начинают обслуживать не столько внешние, сколько внутренние нужды государства: обращаются в выпускной клапан для кризисов растущего римского плебса. Главной целью их преследуется — облегчить городскую нищету переселенчеством на льготное землевладение. Население в колониях этого типа составляли:

1) Римские граждане. Они вполне сохраняли свое право гражданства и были избавлены от воинской повинности (*vacatio militiae*).

2) Туземцы. Вначале они имели лишь номинальное гражданство без права голосования (*civitas sine suffragio*), но впоследствии отвоевали его себе в великом все-итальянском восстании, известном под именем Союзнической войны, и в 90—89 гг., по *lex Julia* и *lex Plautia Papiria* получили полное гражданство.

К этому типу порубежных станиц относятся все морские колонии (*coloniae maritimae*), основанные по итальянскому побережью. Правильная земельная нарезка в них напоминает также служилые слободы старого Московского государства, от которых Сергеевич выводил необщинное, правительственное происхождение надела «равными земельными участками». «И по наказу боярина и воеводы... велено... Новгородские Ямские слободы московские дороги охотником окологородная десятинная пашня и обежные земли... которые земли и сенные покосы и угодья отделены, меж ими поверстать и расписать те земли и сенные покосы и угодья за ними поровну».

Латинские колонии:

1) До 389 года — основанные Латинским Союзом до Р.Х. и ставшие членами его.

2) После 338 года, т.е. по распадении Латинского Союза, — *civitates foederatae*, союзнические колонии: поселы латинских эмигрантов, занимавших, по приглашению римского правительства, вновь завоеванные территории. Латины переселялись охотнее и в большем ко-

личестве, чем римские граждане, и, основывая новые города, мало-помалу совершенно оттеснили за задний план и затмили колонии римского гражданства.

Начиная с Суллы, продолжая Юлием Цезарем, а в особенности при империи, колония принимает значение военного поселения отбывших походные сроки солдат, образованного на наградных началах за выслугу лет и военные заслуги: *colonia veteranorum*, либо, так как этот вид колонии восторжествовал над всеми другими, просто *colonia*. Генералы-конквистадоры полагали этот способ вознаграждения удобнейшим и выгоднейшим. Поэтому уже диктатуры Суллы и Юлия Цезаря наградили Италию 49 колониями, эпоха триумфиров 16-ю, а затем следовали 21 *coloniae Juliae* (основанные Октавием до 727 г.у.с.), 5 **колоний** Августа, основанных им по принятии принципата, 9 колоний Августова имени (*coloniae Augustae*), основанных его преемниками, и 5 неизвестного времени. Это в одной Италии (Буше Леклерк).

Последней военной колонией «выведенной», т.е. основанной народом римским, была

в Италии Верона — при императоре

Галиене в 265 г. по Р.Х. Из военных колоний вне итальянского полуострова наиболее знаменитым и типичным примером остается Colonia Agruppina или Agrippinensis (жители звались Agrippinenses), основанная в 50 г. по Р.Х. Клавдием в городе Увиев (Oppidum Ubiorum) в честь и по желанию Агриппины, которая там родилась. Город существует до сих пор: это — Кельн на Рейне. Также Colonia Claudia Augusta (Лион), основанная в 43 г. до Р.Х. генералом Юлия Цезаря, Мунацием Планком, при слиянии Роны и Соны.

Военные колонии также располагались по городам уже существующим, — как в Италии, так и в провинциях. При этом, в последних, они все-таки пользовались «италическим правилом» (*jus italicum*). То есть правом распространения на данную местность того же земельного законодательства, что в Италии — на пространстве Аппенинского полуострова, ограниченного с севера реками Рубиконом и Макрой, с востока Адриатическим морем и с запада — Тирренским, кроме Лациума, который обладал своим особым правом,

низшим римского, но высшим италического (*jus Latii*). Италическое право открывало колонистам привилегию квиритской собственности на землю (*dominium ex jure Quiritium*), тогда как провинциал не мог обладать своей землей иначе, как на правах владения (*possessio*).

Отсюда вытекали:

1. *Immunitas*, то есть освобождение колонистов от поземельного налога (*tributum soli*), который платили другие землевладельцы-провинциалы.

2. Свобода от *tributum capitis*: прямого личного налога, которым провинция, как страна побежденных, уплачивала Риму свою дань, в рассрочку погашая старые военные контрибуции.

3. В виду предыдущих прав, как их следствие, — *liberatas* или автономия колониального управления, включавшая: 1) право юрисдикции над гражданами колонии и даже римлянами, в ней живущими, независимо от юрисдикции губернатора провинции, 2) независимость финансового управления и право вводить на своей территории особые тамо-

женные тарифы, 3) право чеканить монету, 4) *jus exilii*, право принимать римских эмигрантов и давать им права своей общины взамен утраченных прав римского гражданства, 5) свобода от постоя римского гарнизона.

Кроме того почти всегда военным колониям жаловались еще какие-либо специальные правовые привилегии (*jus coloniae*).

Преимущества и выгоды колониального управления над провинциальным были настолько очевидны, что многие города добивались имени колонии и прав, с ним сопряженных, а другие получали эти права в награду или поддержку, хотя никаких колонистов государство туда не отправляло. По аналогии, мы можем опять-таки сблизить подобные государственные пожалования с переводами крестьянских обществ на станичное казацкое положение. И так как, — мы уже видели, — войско в Риме было государево, то и наградные станицы эти, создававшиеся выпуском солдат из армии в казаки-посельщики, были опорами государевой идеи в стране, крепостями цезаризма, из которых он зорко наблюдал за спокойствием своих захватов. Колонии

Суллы были сверх того связаны с карательными мерами против популяров и потому основывались с самыми бесцеремонными насилиями над частным владением. Отчуждения Ю. Цезаря были осторожнее, но все же принудительный характер их обездоливал и обнищал исконное туземное население и возбуждал великую ненависть против привилегированных пришельцев-империалистов. Эти последние держались крепким и сплоченным союзом и сами понимали себя, как своеобразный внутренний гарнизон своего императора на случай гражданской войны. Последние борцы аристократической республики хорошо видели в колониях посты созревающего единовластия и высказывались против них с острой враждебностью.

— Вывели вас в эти колонии, — говорил на сходке по убиении Юлия Цезаря знаменитый Брут, — а зачем? Люди вы военные, воспитаны в лагерях. Чтобы поселить вас в колониях, поразогнали с мест владельцев, а теперь нет вам от них ни мира, ни покоя. Потому что каждый выжитый со своего хозяйства, конечно, не может не желать вам лиха, лишь бы

представился удобный случай. Вот и видно тут, о чем больше всего заботились тираны. Совсем не о том, чтобы наделить вас землей: землю они могли вам нарезать и в других местах. Нет, им нужно, чтобы вы, будучи постоянно на ножах с соседним населением, были верными стражами власти и делили с ней ненависть, которую она возбуждает. Потому что это постоянная система тиранов — объединять своих приверженцев сообщничеством злодеяния и страха мести. И такому то установлению, — боги правые! — дается мирное имя колоний! Да ведь они на слезах народных построены, на изгнании людей, ничем того не заслуживших. Но ведь этим господам только того и надо было, чтобы на вашем раздоре с соотечественниками строить свое благополучие! (Аппиан).

В виду своего наградного характера, военные колонии могли — обратно — под немилостью Рима, терять свои льготные права и, по новой выслуге, получать их обратно. Так, Капуя, между смертью Суллы и смертью Нерона, пережила такие пожалования и разжалования четыре раза, Парма, Беневент, Пи-

завр — три и т.д.

Затем, в императорском периоде, следует еще отметить возникновение варварских колоний: в диких местностях новых завоеваний, — колоний уже, пожалуй, в новом европейском смысле, в которых воинственность порубежного форта охраняла торговлю и покровительствовала культурным задачам.

В Путелах (Поццуоли), важнейшем порту Неаполитанского залива, зимой 58 года вспыхнули беспорядки, вызванные несогласиями между народом и декурионами (местным сенатом). Обе враждующие партии прислали отдельные делегации к римскому сенату. Декурионы жаловались на буйство народа, народ на корыстолюбие властей и аристократии. В городе был мятеж — уже летели камни, ходили слухи о поджогах, ждали, что вот-вот начнется резня и междоусобица. Римский сенат поручил умиротворить путеоланцев Г. Кассию Лонгину — человеку в высшей степени замечательному, с именем которого мы не раз еще встретимся в очень острых моментах эпохи. Суровый аристократ-республиканец, артист военной и рабовладельческой

дисциплины, пришлось не по душе путеоланцам и, не умея действовать мерами кротости, сам просил передать его миссию в другие руки. Сменившие Кассия, братья Скрибонии легко успокоили город, казнив немногих виновных с той и другой стороны, а для поддержания порядка в Путеолах была поставлена преторианская когорта. В 63 году (по Белоху; у Гойо в 60) постой этот был узаконен возвышением города на степень военной колонии, под названием *Colonia Claudia Neronensis Puteolana*, которое сохранилось в одном из помпейских graffiti. В 58 году *Colonia Lugdunensis*, ныне Лион, была дотла уничтожена пожаром неслыханной силы, о котором красноречивые строки сохранились в XI письме Сенеки к Люцилию. Щедрая помощь из Рима, — быть может, усиленная тем обстоятельством, что лионец Либералис был близким приятелем Сенеки, — быстро воскресила город, и, шесть лет спустя, Лион сам был в состоянии оказать Риму денежную поддержку после подобного же бедствия, 19 июля 64 года. Но вслед за тем лугдунцев постигло какое-то новое общественное несчастье, потому что, в

конце 65 года, Нерон приказал возвратить им четыре миллиона сестерциев (400.000 рублей), ссуженные Риму лионцами в трудную минуту. Лион, конечно, заслуживал особого внимания со стороны цезаря императора, как давний центр галльского цезаризма. Близ него, при слиянии Роны и Соны (Родана и Арора), возвышался все-галльский храм, воздвигнутый в 742 или 744 г. шестьюдесятью гражданскими общинами трех Галлий в честь богини Рима и Августа. D'Arbois de Jubainville полагает, что этот римский культ вытеснил здесь такой же все-галльский культ друического божества Луга, откуда и самое название Лугдунум. В Лионе родился Клавдий, интимно связанный с Галлией до конца дней своих, над чем злобно издевается в «Отыквлении» Сенека. Лион остался верным Нерону в последних смутах его правления. Вообще, как хорошо выяснили Амедей Тьерри и Фюстель де Куланж, между римскими провинциями Галлия выдавалась своим лояльным цезаризмом. Что касается в частности Лиона, Моммсен справедливо замечает, что, воскреснув после пожара при Нероне, он за-

тем девятнадцать веков являет собой редкий пример города, процветающего при всех исторических эпохах до современной включительно.

В главах, посвященных военной истории исследуемого периода, будут подробно изложены события ее в Малой Азии и Германии. К концу «золотого пятилетия» они слагались счастливо для Рима. Опасная война за Армению принесла блестящую победу: Корбулон только что взял и разрушил Артаксату, столицу царя Тиридата, ныне Ардашар. Не слишком крупные волнения германских племен на нижнем Рейне и Эмсе были усмирены одним появлением римского военного отряда в тылу инсургентов. Два враждебных Риму, также германских народца, хатты и гермундуры, вели кровавое междоусобие на территории нынешних Баварии, Гессена и Нассау — к полному удовольствию римлян, истребляя друг друга без всякой пощады. В Риме гостило покорное и льстивое посольство сильного нижнерейнского племени фризов. В высшей степени характерно замечание Тацита, что в это время полководцы пренебрегали триум-

фальными украшениями, ставя себе в большую заслугу поддерживать мир, чем вести войну. Сравнительный покой в Германии обратил таланты ее правителей на полезные инженерные сооружения. Помпей Павлин достроил плотину против наводнений Рейна, работы по которой были начаты еще Друзом, братом императора Тиберия, за шестьдесят три года назад. Л. Ветер, недавний товарищ Нерона по консульству, задумал было огромное и остроумное предприятие — соединить каналом верховья Мозеля и Соны (Арара), то есть создать систему огромного водного пути: Средиземное — Море — Рона — Сона — канал — Мозель — Рейн — Океан (Немецкое море).

Крупные стратегические и торговые выгоды предприятия заставляют Тацита горько сожалеть, что оно не осуществилось — по интригам Элия Грацилия, наместника Бельгийской Галлии, которому не хотелось, чтобы, под предлогом работ, в его провинцию вошли легионы Л. Ветра. Он убедил последнего, что проект покажется Нерону подозрительным, то есть — вернее будет предположить: намек-

нул, что сумеет представить ко двору обоснованный донос о неблагонадежности дела. Потому что сам Нерон, большой любитель строительства и инженерного дела, вряд ли мог иметь что-либо против очевидно полезной затеи, исполняемой даровой солдатской силой. Ветер, однако, не решился пойти напролом против упрямого интригана. «Так-то парализуются зачастую (*plerumque prohibentur*) придворными страхами идеи честных людей (*conatus honesti*)!» — заключает эпизод Тацит одной из так характерных для него и почти всегда справедливых, коротких сентенций. Из прочих не военных событий Германии Тацит отметил жестокие торфяные пожары в земле, союзных римлянам, убиев; огонь, опустошив хутора, нивы, деревни, угрожал даже стенам новой Колонии Агриппины (ныне Кельн). Не было достаточных дождей, чтобы потушить пламя, а искусственно заливать пожар речными водами жители оказались негоразды. В отчаянии они взялись за суеверные, «симпатические» средства: «стали бросать издали камни, затем, так как пламя останавливалось, подошли поближе и ударами дубин и

другими орудиями бичевания прогоняли его, как прогоняют диких зверей. В заключение они срывают покровы со своего тела и бросают на огонь, и чем больше эти последние были нечисты и загрязнены от употребления, тем более были способны потушить огни».

Чтобы покончить с провинциальной хроникой пятилетия, надо еще упомянуть о ничтожном сенатусконсульте, который сам Тацит приводит с извинением и только потому, что в эпизоде этом играл главную роль его любимец, стоический герой Тразеа Пет, впервые выступающий здесь на сцену «Летописи». Город Сиракузы ходатайствовал о разрешении расширить годовую программу своих гладиаторских представлений. Тразеа, вообще очень молчаливый в сенате, резко высказался против ходатайства, — к удивлению многих, не понимавших, почему вождь оппозиции, пропуская без реплик множество важных государственных вопросов, вдруг привязался к таким пустякам.

— Неужели в государстве у нас только то и неладно, что Сиракузы затеяли давать зрелища на слишком широкую ногу?

Тразее дали понять, что, тратя свой авторитет на мелочи, он роняет смысл и значение оппозиции, которой он шеф. Знаменитый сенатор извинился довольно неловко и наивно:

— Я вхожу с особым мнением в такого рода решения не потому, что не знаю настоящего положения дел, но чтобы подчеркнуть высокое значение сената. Пусть видит народ, что мы всем сердцем вникаем даже в самые пустые вопросы, — тогда он поверит, что мы не посрадим себя равнодушием к важным делам.

К этому случаю нам придется еще возвратиться, когда речь дойдет до Пизонова и Винициева заговоров на жизнь Нерона.

Надо быть римским аристократом, как Тацит, или так проникнуться благоговейной и безусловной верой в нравственный авторитет Тацита, как Кудрявцев, чтобы, изучая тринадцатую книгу «Летописи», излагающую факты «Золотого Пятилетия», делить симпатии и антипатии римского историка. Мораль современного человеколюбия постоянно и резко расходится с кодексом римской порядочности, как ее понимает Тацит, и как часто,

когда отряхнешь с себя чарующее влияние его могучего таланта, с изумлением чувствуешь себя на стороне прокливаемых им пороков, а не восхваляемых добродетелей!

Мы видели, что Рим, а вместе с ним и Тацит, нашел точку зрения, с которой оказалось очень легко извинить неизвинимое нашей моралью убийство Британика. Теперь посмотрим, чего извинить Нерону и правительству Нерона он оказался не в состоянии.

Типическим примером разногласия нравственности современной с античной является злобное отношение Тацита к вопросу о вольноотпущенниках, либертинах или либертах. *Libertus*, вольноотпущенник, был по отношению к своему хозяину (*patronus*), как раб, получивший вольную. *Libertus* — собственно говоря, сын либерта, но слово это больше пришло к сословию и стало употребляться к его определению, как противоположное *ingenuus*, свободнорожденный. (Bouche Lectlercq, Goyau at Cagnat). Класс этот, чрезвычайно умноженный и развившийся в последний период республики, между Гракхами и Августом, был цезаристическим в полном

смысле слова. В империи он находил оправдание и опору своего возникновения и существования, к империи тянул всеми симпатиями и корпоративную жизнь своей, вопреки даже безгливой воли иных императоров, начиная с Августа, при котором сословие вольноотпущенников, или вернее переход из рабства в сословие вольноотпущенников, было поставлено под ограничительный контроль государства. Законы *Aelia Sentia* (4 г. По Р.Х.) и *Junia Norbana* (при Августе между 44 и 27 г. До Р.Х.) создали новую категорию сословия — *Latini Juniani* — как бы переходную от рабства к полному гражданству.

Закон приравнял этих временно-обязанных к тем латинским колонистам (*Latini coloniarii*), о которых только что шла речь выше, при классификации колоний. Они лишены были политических прав, равно как и *jus conubii*, а *jus commercii* имели под двумя принципиальными условиями:

1) В случае смерти их в состоянии латинского либертинства, их имущество возвращается к прежнему их господину, в качестве *rescissum* (см. об этом слове в томе I, в главе о

рабстве). 2) Если в срок 100 дней они не успевали получить римского гражданства, то лишались права принимать наследства по завещанию.

К этой категории вольноотпущенников принадлежали:

1. Рабы, отпущенные на волю в упрощенном порядке, без торжественных форм *manumissio*.

2. Рабы, принадлежавшие господам своим не в формальную собственность, но считавшиеся — фиктивно — только во владении, «в числе имущества» (*in bonis habere*), так как приобретены были без юридических формальностей закрепощения (*mancipatio* и *cessio in jure*), но простою передачею (*traditio*) от старого господина новому.

3. По закону *Aelia Sextia*, рабы, получившие отпускную без достаточно ясно мотивированной причины, ранее возраста 30 лет.

Государство не хотело быть чрезмерно жестоким к «юниевым латинам» и, по возможности, облегчало им средства к доступу в римское гражданство, но — пожелало принимать в соображение личность раба, возраст его,

оценку его прошлого в рабской зависимости.

Вольноотпущенники, обременившие себя в рабском состоянии тяжкими проступками либо имевшие несчастье побывать в гладиаторах либо бойцах со зверями (*bestiarii*), получали свободу лишь с ограниченными правилами «покоренных чужестранцев» (*Peregrini dedititii*) и не имели права жительства ближе, как за 100 миль от Рима. Наоборот, вольноотпущенник с хорошей репутацией в рабстве легко мог быть представлен к праву ношения золотого кольца (*jus anulorum aureorum*), которое, будучи даровано императором, давало вольноотпущеннику все права природного гражданина, хотя не освобождало от обязанностей (*obsequium, reverentia, operae*) к прежнему господину. Или даже — к *restitutio natalium*, к дарованию нового акта рождения, которым император снимал с либерта и обязанности к патрону. Ту же милость мог даровать вольноотпущеннику обильный детьми брак. (Garzetti.)

Если вольноотпущенник не успевал быстро выйти в римское гражданство, то положение его, как временно обязанного, было не из

легких. Он должен был оказывать бывшему господину, либо даже детям его, известные услуги или исполнять на них работы (орера), при чем не имел прав рассчитывать на вознаграждение платьем или харчами, тогда как господину разрешалось этот труд «господского срока» отдавать в наймы по цене, которую ему было угодно назначить. Так как *rescūtum* раба принадлежал, вместе с телом и трудом последнего, господину, то вольноотпущенник, хотя уносил кубышку свою на свободу (если только она не опустошалась выкупом!), однако почитался должником господина, и если тот впадал в бедность, то вольноотпущенник обязан был его поддерживать. Это открыло господину возможность делать время от времени набеги на кассу вольноотпущенника и опустошать ее частями или даже всю полностью. По закону XII таблиц, господин наследовал вольноотпущеннику, если тот умирал бездетным, но, при наличии потомства, вольноотпущенник не обязан был что-либо оставлять господину. Однако, со временем установилось практически, что патрон — независимо от вопроса о потомстве —

всегда наследовал вольноотпущеннику в половине имущества. И, наконец, лишь lex Papia Poppaea — удержав закон XII таблиц для случаев смерти вольноотпущенника, без прямых наследников, — несколько умерил этот рабовладельческий грабеж, установив, что патрон наследует лишь в том случае, когда умерший оставил менее трех детей, а состояние выше ста тысяч сестерциев (10.000 рублей) — и, притом, в равной с детьми доле, т.е. в половине при одном естественном наследнике и в трети при двух. (Garzetti.)

Таким образом, ясно, что полусвобода вольноотпущенника была одета в довольно таки тяжелые кандалы. Но сословие было так жизнеспособно и так подходило по характеру своему к новому демократическому режиму диархии, что не могло быть задержано в росте никакими искусственными тормозами. Уже то самое условие, что в своих запретительных мерах государство цезарей стало между господином и рабом, придавало им значение передовое — шага бессознательно эманципационного. Враждебный классу вольноотпущенников, аристократизм отдель-

ных цезарей парализовался общим демократическим смыслом цезаристической) принцепата. Мощное развитие сословия вольноотпущенников в первом веке может служить примером того, как основная идея, вложенная в государственную систему, может восторжествовать над враждебными тенденциями правителей, в руках которых осуществление систем сосредоточено. Либерты не допускались на военную службу в легионах, даже дети вольноотпущенников не могли занимать общественных должностей, и только внукам их открывался доступ в сенат. Но зато они наполнили полицейские когорты, императорский дворец и министерства принцепата, и, как необходимые деловые люди и фавориты Цезарей, очутились во главе государства, и оно вынуждено было само ввести их, по обходным путям фальшивых родословных, и в войска, и в сенат, и в высшие магистраты. Уже Помпей, в числе генералов своих, имел вольноотпущенника Деметрия, а сын его Секот — такового же Мену. Это — на верхах. Снизу напирала могучая, все растущая сила, значение которой государство тщетно пыта-

лось регулировать, распределяя ее по городским трибам и даже издавая запрещения (lex Fufia Canina) освободить рабов сверх известного количества. Верхи не могли не заполняться вольноотпущенниками, потому что на них поднимало всех этих Паллантов, Нарциссов и пр. совсем не личное счастье, но наводнение свежих сил вновь входящего в гражданскую жизнь молодого коллектива, полного демократической энергии и богатого непочатым запасом доброго интеллекта. Ненависть аристократических историков и сатириков создала либертам очень скверную репутацию и самое имя «либертина» обратила в ругательство с непристойным смыслом. Но жизнь выше памфлетов, а история показывает нам, что, после Августа, римская жизнь направлялась в течение пяти веков умом, талантами и практической приспособленностью класса вольноотпущенников, наложивших свою руку решительно на все отрасли и члены великого римского тела: от министерств до мелких лавочек, от философских кафедр до откупов, от медицины и звездной науки до флотской службы.

Против сословия вольноотпущенников боролись самые могучие показные силы Рима: сенат, цезарь, поскольку он хотел ладить с сенатом, аристократия всадническая, даже удачники-высочки из самих вольноотпущенников. Лемонье справедливо отмечает, что придворные успехи Палланта, Нарцисса и им подобных нимало не помогли классу, из которого эти важные господа вышли, улучшить свое социальное положение: развитие класса шло скорее вопреки противодействию отдельных удачников, чем при их содействии. Паллант, в частности, был автором одного из жесточайших крепостнических законопроектов против смешанных браков (*lex Claudia*) раба и свободной, за который стоическая аристократия, прославляемая Тацитом, осыпала могучего ренегата почестями и орденами. Республиканец, человек древней доблести, — для Тацита, — прежде всего, обязательный и убежденный крепостник. Каждую освободительную меру, гуманную и похвальную с точки зрения XIX—XX веков, Тацит встречает с ненавистью; каждый успех закрепощения, каждая неудача класса вольноотпу-

ценников вызывают его злорадные восторги. Итак, сословие раскрепощалось и растило свои силы исключительно собственным настойчивым терпением и демократическим духом принципата, сильнейшим самих принцепсов. Разумеется, не было недостатка в крепостнических попытках возвратить вольноотпущенников в первобытное состояние путем искусственной правительственной реакции. Одна из таких попыток, притом очень энергичная, ознаменовала второй год правления Нерона (56).

Трудно сомневаться, что опоры крепостникам дало отвращение молодого государя к дворцовым вольноотпущенникам, господствовавшим на Палатине при Клавдии. Антипатией Нерона к вольноотпущенникам-куртизанам и сановникам хотели воспользоваться против своего сословия—для меры ужасной. «Зашла речь о подлостях вольноотпущенников, и было высказано требование, чтоб патрону было предоставлено право отнимать свободу у оказавшихся неблагодарными», то есть уклоняющихся от пожизненных обязательств клиентуры (obsequium,

offeseum, operaе etc.). Собственно говоря, требовалось не провести новый билль, но, вероятно, добиться фактического осуществления старого закона, так как подобный сенатусконсульт уже прошел было при Клавдии и был несколько раз повторен в следующих веках, причем даже расширил угрозу свою, страшая порабощением не только неблагодарных вольноотпущенников, но и детей их. (Garzetti, Cod. Justin. Leb. VI, tit. 7, § 1, 2, 3, 4). Но, очевидно, постановить было одно, а привести в исполнение — другое, и закон оставался лишь в речах высокой палаты да на бумаге. Крепостникам этого было, конечно, мало. Они тащили закон к насилию над жизнью и требовали остро освободить их от контроля освобождений, восстановить отношение республиканской старины, когда не было судей между господином и рабом — ни судей, ни посредников. Ясно, что, при бесконечной растяжимости понятия неблагодарности, обсуждаемой по господскому произволу, право, которого добивались крепостники, совершенно уничтожало гражданскую самостоятельность ненавистного им класса, возвращая его к раб-

ству, если не физическому, то нравственно-му — к состоянию крепостного мужика, отпущенного на оброк до провинности. Тацит утверждает, что крепостническому проекту было заранее гарантировано чуть ли не единодушное согласие сената, что, впрочем, сомнительно, если принять во внимание, что в это время «большинство всадников и очень многие сенаторы не из другого какого места вели свое происхождение». Но консулы, сомневаясь, что смелое сословное притязание, в ущерб правам государства идущее, будет хорошо встречено во дворце, запросили государя о докладе ранее, чем внести его в сенат. Нерон поставил вопрос на обсуждение своего интимного «государева совета» (*inter raucos consultare*). Здесь мнения разделились. Лемонье не без основания считает сцену совета несколько фантастической в подробностях, согласно вкусам и взглядам самого Тацита. Защитники крепостников говорили:

— Свобода вольноотпущенников выросла в нахальную распущенность. Они едва устаивают признавать своих бывших господ за равных себе. Бывали случаи, что они били хо-

заяв, и сходило то им с рук безнаказанно — либо еще смеются: попробуй-ка наказать! Да и в самом деле: что оскорбленный патрон вправе предпринять против вольноотпущенника? Разве только выслать его за двадцатый камень, на берег Кампании! В остальных гражданских правах сословия смешаны, суд признает их равными (*actiones promiscuas et raris esse*). Пора снабдить патрона каким-нибудь оружием, которое было бы не комическим в глазах либерта (*quod sperni nequeat*). Порядочные вольноотпущенники не найдут тяжелым требованием сохранять пребывание в той же преданности господам, ценою которой вышли они на волю. А явно преступным неблагодарным негодьям будет по заслугам вторичное рабство: пусть страх станет уздой неблагодарным, которых не улучшили благодеяния!

Партия более либеральная и гуманная, в которой не трудно угадать влияние и голос Сенеки, возражала:

— Преступных немного; каждый должен отвечать только за свой личный проступок; принадлежность виновного к сословию не

может распространять на сословие ответственность за вину и понижать сословные права. Класс вольноотпущенников чрезвычайно обширный; из него, главным образом, пополняются трибы, деурии, прислуга правительственных учреждений, жреческий причт, даже полицейские городские когорты. Отделите либертов, — вы увидите, как бедно государство свободнорожденными! Наши предки понимали, что делали, когда разделили классы по достоинству, но всем одинаково предоставили общую свободу. Притом законы знают два вида отпущения на волю: можно освободить раба торжественно, посредством виндикты, и можно — в домашнем порядке, частным образом. Во втором случае либерты, пользуясь видимою свободою, в действительности не совсем сняли с себя железо рабства (*velut vinculo servitutis attineri*). Вот — случай патрону раскаяться в благодеянии неблагодарному, а благодарного наградить новым благодеянием — торжественным освобождением чрез виндикту. Это уже дело владельцев взвешивать заслуги рабов, которых они освобождают; пусть будут осторожны в выборе:

лучше позже дать волю человеку, но, однажды данная, она назад взята быть не может.

Свое мнение о сочиненности этих речей Лемонье обосновывает превосходством, с римской точки зрения, крепостнической аргументации, которой сочувствует Тацит, над доказательствами либеральной группы, которые, однако, одержали верх. Цезарь отписал сенату: — Каждое дело между вольноотпущенником и патроном, возникающее по жалобе последнего, должно быть разбираемо в отдельности, без малейшего посягновения на общие права сословия.

Ничем больше, кроме этой вялой и голой угрозы, в конце концов ничего не говорящей, ибо, вместо того, чтобы установить общий принцип, она предлагает анализ индивидуального расследования, правительство и не могло бы утешить своих «правых», если бы даже и хотело с ними полюбезничать. Приобретенные блага не уступают сословиям так просто — и не только потому, что рост сословия в государстве, при условии сказанных благ, перерабатывает и его, и государство настолько глубоко и разносторонне, что оно

уже и само не может повернуть на старые пути, хотя бы правящие классы к тому искусственными мерами стремились. Возвращение крепостного права, о котором часть русского дворянства вздыхает до сих пор — даже с трибуны Государственной Думы — невозможно совсем не потому только, что подобный переворот разрешился бы в революцию и крестьянскую войну, но и потому, что даже совершенно мирный исход обратного порабощения молниеносно вызвал бы моральный и материальный крах государства, перестроившегося за пятьдесят лет на условия свободного труда и ими нормирующего свою военную и правовую, экономическую и финансовую жизнь, свою производительность, свой кредит, свою промышленность и торговлю, свой просветительный уровень, весь свой прогресс и будущность в семье свободно-трудящихся народов. Освобожденное сословие всосалось в общую сумму государства, пропитало его организм, как вездесущий жизненный сок, и не может быть извлечено из него без того, чтобы государство не захудало до совершенного бессилия и не впало в маразм и смертную опас-

ность. Поставить труд и личность под угрозу возврата в крепостное состояние значило бы для современной России разрушить устои не одного крестьянского сословия, но всех сословий без исключения — остановить в стране всякую жизнь, производительность и порядок. Рим I века не имел акта, подобного манифесту 19 февраля, но уже почти сто лет дух времени тянул государство не к закрепощению, но к раскрепощению рабского дна, и частные факты накоплением своим заменяли общие акты. Законодательство борется с ростом сословия вольноотпущенников, а демократический дух международного Рима требует роста, и демагогическая власть принцепата должна, скрепя сердце, следовать воле великого города и создавать граждан из тех, кто «был приведен в оковах», потому что коренное полноправное население вымирает и перестало рожать, потому что новые граждане необходимы. «Юниев латин», кругом ограниченный законодательством, получает целый ряд льготных путей к выходу из промежуточного сословия в полное гражданство, всецело обусловленных экономическими по-

требностями Рима и тревогою за убыль свободного населения. Если вольноотпущенник вступил в брак и прижил сына, то в день, когда ребенку минет год, отец получает права римского гражданина; вольноотпущенница достигает того же, родив троих детей, хотя бы незаконных (*mulier ter enixa*).

Если «юниев латин» снаряжает на свой счет корабль для флотилии, снабжающей Рим хлебом из Египта, либо если он три года держит в Риме хлебопекарню (*pistrinum*), либо если он предъясвляет капитал в 200.000 сестерциев (20.000 руб.) и ассигнует половину на то, чтобы построить дом в Риме, — все это поправки к законодательству, выпускающие временно обязанного в гражданское полноправие. *Lex Visellia* объявил римское гражданство наградю за шестилетнюю службу в пожарной и полицейской команде (*militia, vigiles*). Облегчаются причины освобождения, облегчаются и способы его, упрощается процедура. *Iteratio* (повторное освобождение) и *beneficium principale* (государева милость) сокращают сроки временных обязательств. Закон о тридцатилетнем возрасте никем не со-

блюдается: отпускают на волю мальчиков 12 лет; знаменитая заговорщица Эпихарис умерла, имея всего 15 лет от роду. Общество усиленно помогает сословию расти и множиться, и, в результате, мы видим: в Капуе, судя по надгробным надписям, вольноотпущенники составляли почти половину населения (Лемонье), в Неаполе около трети (Renier), а в Риме, хотя число их труднее подсчитать, но огромное число обширных могильников (колумбариев) вокруг вечного города позволяет предполагать численность их не в одну сотню тысяч; а эпитафии свободнорожденных покойников свидетельствуют, что редкий римский гражданин, хотя бы и самого скромного состояния, не имел нескольких *liberti*. Все это вполне оправдывает энергическую фразу Тацита: *si separarentur libertini, manifestam fore penuriam ingenuorum*, — отделите из населения вольноотпущенников, и вы увидите, как мало у нас свободнорожденных. Таким образом, проповедовать ограничение прав этого класса, в эпоху Нерона, значило посягать на свободу — где трети, где половины, а где, может быть, и более всего населения, притом са-

мой живой его доли — самой предприимчивой, способной, дельной и работающей. Лемонье основательно указывает, что, вопреки проклятиям писателей- аристократов, эпиграфические остатки, наоборот, свидетельствуют, что общество, средний класс, очень понимало социальную заслугу сословия либертов и оказывало ему уважение, в лице многих членов его, совсем не игравших какой-либо важной придворной или административной роли, а просто живших добрыми буржуа среди таких же буржуа. Петрониевы Тримальхионы, жулики Марциаловых эпиграмм, хамы сатир Ювенала не исчерпывают сословия, которое выделило Ливия Андроника, Цецилия Стация, Теренция, Публия Сира, Федра, Эпиктета. Наложить руку на сословие либертов, в век Нерона, значило для государства не только загубить свою культуру, — отнять у медицины врачей, у школы учителей, у храмов дьячков и пономарей, у рынка купцов и комиссионеров, у грамотности писателей и писцев, у театра актеров, — но и затормозить свой собственный механизм, так как вся низшая служба магистратов и присутственных

мест замещалась вольноотпущенниками. Они — канцелярские служители (*scribae*), курьеры (*viatores*), бирючи (*praecones*), может быть, даже и ликторы; они — полиция и пожарная команда (*vigiles*); они — матросы в военном флоте и здесь им предоставлена возможность выслуживаться до высших чинов. Опат, Аникет, Оск, — командиры Мизенской эскадры в эпоху Нерона — все отпущенники.

Да и не тот был, в данный период, тон государства, управляемого Сенекою. Как бы зыбок и шаток ни был характер этого странного министра-философа, но мыслить и чувствовать он умел ясно и честно и открыто проповедовал необходимость уничтожения сословных перегородок.

«Что значат имена всадника, вольноотпущенника, раба? — говорит он в 31-м письме к Люцию, — титулы чванства или клички презрения. Дух добродетели — то есть само Божество — нисходит в души как тех, так и других».

Итак, дело не в том, всадник ты, гражданин, вольноотпущенник, раб, но в том: хороший ты человек или дурной. Только добродете-

тель устанавливает между людьми разницу, а пред философией все люди равны, и, когда первым министром в государстве — философ, то естественно ему проводить и в социальную свою работу принцип равенства, в который он верует как в этическую правду, попорченную сословными гранями.

Сенека был человек слабый, без выдержки и последовательности в поступках. Но несомненно, что уравнивательные взгляды свои он высказывал с достаточной ясностью и откровенностью, чтобы пугать и озлоблять крепостников, слышавших в речах его крамолу и потрясение основ.

«Еще, пожалуй, скажут, — вырвалось у него в другом письме (47-м), — что я зову рабов к мятежу, а господ толкаю в пропасть!..» (Dicet nunc aliquis me vocare ad pileum servos et dominos de fastigio suo dejicere.)

* * *

К этому же периоду государственного либерализма относятся не раз уже упомянутый, знаменитый проект Нерона — отменить в империи все косвенные налоги — и конфликт на этой почве между юным цезарем и

стариками сената.

«Глава 50. В этом же году, вследствие частых требований народа, обвинявшего откупщиков податей в притеснениях, Нерон задумался над тем, не приказать ли отменить всякие косвенные налоги (*vectigalia*) и сделать тем прекраснейший подарок роду человеческому. Но сенаторы, воздавшие ему предварительно большую похвалу за великодушие, сдержали его порывы указанием на то, что империя разрушится, если уменьшатся доходы, которыми государство поддерживается: дело в том, что за уничтожением таможенных пошлин будет следовать требование уничтожение податей; что большая часть компаний для сбора косвенных налогов учреждены консулами и народными трибунами, хотя тогда римский народ еще горячо стоял за свободу, а впоследствии остальное в этом деле так было соображено, что роспись доходов и необходимые уплаты находились между собой в соответствии. Нужно (прибавили они), разумеется умерить алчность откупщиков, чтобы они новыми притеснениями не делали ненавистным того, что в течение стольких

лет переносилось безропотно».

(Пер. Модестова).

Римляне, — говорит Рене Канья (Gagnai), автор классического труда о римских косвенных налогах, — не имели особого термина для определения того, что мы теперь называем «косвенным налогом» (*impor indirect*). Они различали только два вида налогов: *tributa* и *vectigalia*.

Tributa — налоги прямые: подати земельные и подушные. *Vectigalia* — все остальные государственные взимания, как в виде косвенных налогов, так и доходы с общественно-го владения. Это давало понятию *vectigalia* (пошлины) огромный объем, в который попадают иногда налоги, даже принимаемые ныне как прямые; так, например, в разряд *vectigalia* римляне заносили патенты на добычу руд. К *vectigalia* относились и многие частные таксы городского или коммунального обложения, напр, по водоснабжению. И т.д.

Прямой налог предполагает в основе своей предварительную раскладку, по которой каждый такой-то член государственного гражданства обязан уплатить государству, в качестве

непосредственного должника, столько-то и столько-то, за такие-то и такие-то права.

Налог косвенный, наоборот, не обращается непосредственно на личность, но — на вещь; он предусматривает потребление вещи, безразлично от того, кто потребитель, и в каком размере потребление выразится.

Четыре главные категории косвенных налогов в римской империи определялись:

1) Таможенными сборами — *portoria*.

2) 5% пошлиной за освобождение из рабского состояния — *vicesima libertatis*.

3) 5% пошлиной за наследства — *vicesima hereditatum*.

4) Налогами на куплю-продажу и судебными пошлинами.

В последней категории мы уже встречались с 1 % обложением продажных вещей — *centesima rerum venalium*. Этот египетский налог, пересаженный в Рим Августом, вероятно для того, чтобы питать новую, им созданную инвалидную кассу (*aerarium militare*), на родине своей прилагался ко всем предметам рынка; в Риме же повидимому, касался только продаж аукционных (Моммсен). При всей

видимой своей незначительности, налог не замедлил вызвать народные жалобы. В 15 г. По Р.Х. — значит, в первый же год по смерти Августа—Тиберий должен был издать эдикт, увещевавший народ терпеть это обложение, как единственное средство питать инвалидный капитал, да и то еще—едва-едва и лишь в обрез его хватает! Но два года спустя, когда царство Каппадокийское обращено было в римскую провинцию и, в этом качестве, изрядно ограблено, Тиберий ознаменовал обогащение государства тем, что уменьшил продажный налог вдвое: вместо *centesima* является *ducentesima rerum venalium* или *auctionum*. В 38 г. Калигула отменяет и это взимание. И отмена почтена была настолько высокой заслугой правительства пред народом, что в память реформы была даже выбита бронзовая медаль, сохранившаяся поныне (Cabinet de France). Однако отмена была либо на короткое время, либо только номинальною, так как помпейские раскопки обнаружили существование налога опять уже при Нероне, а затем мы встречаемся с ним у Ульпиана (время Александра Севера) и в кодексе Юстиниана.

Взимание этого налога, по предположению Моммсена и Cailleme'a, к которым присоединяется Cagnat, производилось не с продавцов и не с покупателей, а со сделки — через присяжного посредника, руководившего расценкой и продажей предметов публичного торга, — с аукциониста (auctoinator, coactor argentarais). Этот фиктивный плательщик, как сведущий в товарах и ценах человек, обязанный точным книговодством и письменными отчетами по каждой аукционной продаже, представлял для государственной кассы большие гарантии доходности и легче поддавался контролю, чем фактические плательщики налога. Таким образом, аукционатор в этом налоге, собственно говоря, замещал для правительства обычного публикана, откупщика, для продавцов и покупателей — маклера, сводчика, а для всех трех сторон был поручителем за действительность и добросовестность торга. Неизвестно, оплачивался ли труд аукционатора из «центезимы», которую он доставлял в казну, или — за очищением государственного налога — предоставлялось ему вознаградить себя какими-либо выгодами по

сделке с продавцами. Основываясь на одной помпейской надписи, Моммсен, вопреки мнению Буше-Леклерка и др., полагает, что кроме 1 % в пользу казны, отчислялся еще 1 % в пользу аукционатора. Мнение Моммсена одиноко, но известно, что профессия аукционатора была чрезвычайно доходна и выгодна. (См. о ней том III-й).

Второй налог той же категории — *quinta et vicesima venalium mancipiorum*, 4% пошлина на приобретение рабов. Введенный Августом ради военных нужд и учреждения городской полиции, он, до Нерона, уплачивался покупателями; Нерон перенес уплату на продавцов. Реформа эта, как уже было говорено, желала быть либеральной, но из нее ничего не вышло, так как продавцы, соответственно обложению, подняли и цены на рабском рынке, и, в конце-концов, значит, налог пал все-таки на покупателей. Налог этот поступал в сенатскую казну (*aerarium*).

О процессуальном налоге, *quadragesima litium* (2—1) (21/2%), введенном Калигулою, в числе «новых и даже неслыханных» (*vectigalia nova atque in audita*), которыми он

пытался пополнить свою дырявую государеву казну—истинную бочку Данаид, — уже упоминалось, равно как и о радости народа, когда этот налог был отменен Гальбой. (Eckhel, *Dureau de la Malle*, Humbert.).

Остается упомянуть в той же категории о косвенных налогах, скрытых в форме государственных монополий.

Плиний, Тит Ливий и Аврелий Виктор приписывают введение соляной пошлины еще царю Анку Марцию: *salinarum vectigal instituit*. Но в действительности соляная монополия, кажется, была введена в 550 г. а. и. с. (204 до Р.Х.) в цензуру М. **Ливия** Салинатора (Соляника) и К. Клавдия. Судьба налога остается неизвестной в течение долгих веков, но он всплывает уже в конце империи — указом императоров Аркадия и Гонория (Cod. Just. LXI, 11) о конфискации товара и капитала у контрабандистов, промышляющих солью в нарушение государственной монополии. Макс Кон („*Zum romischen Vereinsrecht*“), в разрезе с общим мнением, совсем отрицал наличие соляной монополии в римском государстве, наоборот, Ростовцев, в своей за-

мечательной «Истории государственного откупа в Римской империи», не только признает существование соляной монополии в Риме, но — по египетским аналогиям — предполагает даже, будто она была организована в покровительственном порядке, с обязательной нормировкой ежемесячного потребления продукта, по предварительной раскладке на каждую семью. То есть — как, до начала XIX века, была регулирована соляная монополия во Франции и других странах. «Я говорю об известных *gabelles* и о принудительном потреблении соли подданными французского короля: в *rays des grandes gabelles* на человека приходилось $9 \frac{1}{6}$ ф. соли за 62 ливра, в *rays des petites gabelles* $11 \frac{3}{4}$ ф. — 33 $\frac{1}{2}$ ливра, и т.д.» Канья признает существование соляной монополии, но недолгое. Отвергая в других государственных монополиях (на киноварь, пурпур, палестинскую мирру и т.п.) характер косвенного налога, Канья кончает свою знаменитую книгу заключением, что «даже задолго до учреждения империи в финансовой системе римлян не оставалось ни одной монополии, которая открыла бы путь к взима-

нию косвенного налога».

Vicesima libertatis, 5% обложение стоимости освобождаемого раба, введена была в 39 г., а.у.с. (357 до Р.Х.) Она упоминается Цицероном, а при императорах взималась на всем протяжении Римской империи. Процент обложения то повышался, напр. — при Каракалле до 10%, то опять возвращался к первоначальному размеру. Уплачивался он самими вольноотпущенниками, за исключением тех случаев, когда господину было угодно принять налог на себя. Так, например, освобождение по завещанию сопровождалось иногда приказом уплатить за освобождаемого и его «вицезиму»; это — так называемая *libertas gratuita*, даровое освобождение. Взимался налог в откупном порядке через публиканов (*socii vicesimae libertatis*). Впоследствии, при императорах, важность этой бюджетной статьи вызвала в министерстве финансов особую административную организацию — *fiscus libertatis et peculiorum*: фиск отпускных и рабского имущества — центральный департамент, управлявший движением налога по италийским округам (*regiones*) и провинци-

альным бюро или конторам. (Марквардт).

Возникновение налога на свободу имело характер анти- конституционный: в 357 г. До Р.Х. консул Кн. Манлий Капитолийский, главнокомандующий в войне с фалисками, нуждаясь в деньгах для текущей кампании, разделил свой лагерь близ Сутриума по трибам и, в этом подобии народного собрания солдат-граждан, провел новый закон о 2 1/2% обложения отпусковых актов. Поведение Манлия вызвало резкие протесты народных трибунов. Было постановлено, что — если кто на будущее время осмелится собрать народ для законодательного акта вне города, под оружием, — казнить того смертью. Но, вместе с тем, сенат решил принять своевольный закон, как совершившийся факт, и не отменил его, но укрепил. Дело в том, что, помимо своей государственной доходности, налог льстил аристократической корпорации, как средство ограничить право отпуска на волю (*jus manumissionum*) и, следовательно, как надежда сдержать, развивающийся на этом праверост плебса. (Виллеме). Налог привился и продержался многие века. В 695 году до Р.Х. (59)

Цицерон определяет вицезиму единственным косвенным налогом (*vectigal domesticum*), уцелевшим в Италии после финансовой реформы Метелла (*agro Campano diviso*). В имперский период налог связан с именами Клавдия, Траяна, Антонина Благочестивого, Л. Вера, Коммода, Каракаллы, Макрина. Исчез он, повидимому, при Диоклетиане, погашенный в новой финансовой системе этого императора, чтобы очистить место другим налогам, более производительным. (Cagnat, Hirschfeld.)

Трудно определить размеры доходности этого налога для позднейшего периода римской истории, особенно для императорского, когда освобождение рабов приняло размеры массовые. Но для республиканской эпохи взимания мы имеем данные почти за 150 лет. В 545 году римской эры (девятый год второй Пунической войны) сенат, вынуждаемый крайней необходимостью, должен был использовать запасной государственный фонд — священную казну, *aerarium sanctius* — состоявшийся именно путем накопления **из 2 1/2%** налога на отпускные акты. В священной каз-

не оказалось 4,000 фунтов золота. Принимая вслед за Моммсенем, Дюрюи, Дюро де ла Малль, Канья и др., что раньше этого опустошения священная казна оставалась неприкосновенной, мы получаем вывод, что за 148 лет (397—545) налог *vicesima libertatis* образовал капитал в 4,000 золотых римских фунтов (в слитках). Это, по вычислению Канья, равняется 1.305.348 граммам и, по обращении в монету, дает денежную стоимость в 4.495.000 франков. Разделив последнюю цифру на 148, мы получаем среднюю государственную доходность от вицецимы в 30.371 фр. 62 сантимата в год. «Излишне прибавлять, — замечает Канья, — что эта сумма имела в те века совсем иную стоимость, чем теперь». Тем более, что в эту пору Рим еще не имел своей золотой монеты. Притом, как уже сказано, казна год от года должна была расти пропорционально умножению отпускных актов. Мы уже видели, несколькими и страницами выше, что в некоторых городах вольноотпущенники составляли половину населения, в других треть и т.д. По всей вероятности, приток налога был ничтожен в первое время по его учреждении,

но именно то обстоятельство, что он к 545 году усилился и стал давать уже более серьезные накопления, и обратило внимание нуждающегося сената на освободительный фонд священной казны, в старину чахлый, а по мере роста военной республики начавший полнеть. По Дюро де ла Малль, за указанный 150-годовой период было выпущено на волю 200.000 человек.

5% налог на наследства, *vicesima hereditatum*, этот Августов налог взимался как с наследников, принимающих завещанное имущество, так и с завещателей, выражающих последнюю волю относительно своего достояния в той или другой сумме. При этом, однако, завещатель мог перенести уплату причитающегося с него налога на наследников. Налог — по свидетельству Плиния Младшего — касался только и исключительно римских граждан.

5% обложение наследства не следует смешивать с *hereditates*, т.е. с имуществами, поступавшими в фиск по завещаниям в пользу императора. Громадная доходность подобных завещаний, обычно-принудительного свой-

ства, выразилась, за 20 последних лет жизни Августа, внушительную цифру в 1.400 миллионов сестерциев, т.е. 140 миллионов рублей.

От уплаты налога были избавлены наследник, обладавшие капиталом не свыше ста тысяч сестерциев (10.000 рублей), и наследства, не превышавшие по оценке 100 золотых (aurei) — около тысячи рублей. (Burmann.)

Занятый из Египта триумвирами, а может быть в проекте уже Юлием Цезарем, укрепленный Августом, 5% налог на наследства прожил в веках империи длинную и сложную эволюцию, о которой излишне будет здесь говорить, так как сведения о ней начинаются с эпохи испанских императоров, значительно позднейшей века «Зверя из бездны». Для последнего достаточно отметить, что налог существовал и — еще в той самой форме, как установил Август. Гиршфельд считает, что вицецима держалась без значительных изменений в течение почти 200 лет. Древнейшая надпись с упоминанием должности прокуратора по взиманию 5% налога с наследств (PROC. XX. HERE. PROVINCIAE

АСНАИАЕ) дошла до нас от Т. Клавдия Сатурнина, вольноотпущенника Клавдия Цезаря.

Надписями позднейших веков устанавливается довольно сложная бюрократическая организация, ведавшая наследственный налог. Что организация была велика и разнообразна, подтверждается уже обилием надгробных надписей, о ней упоминающих. По свидетельству Гиршфельда, ни одно римское ведомство не оставило по себе стольких эпитафий, как бюрократы 5% наследственного налога.

В самом Риме она имела два бюро. Одно — под дирекцией прокуратора — взимало налог в пределах городской черты. Другое (*statio vicesimae hereditatum*), управляемое магистром (*magister*), являлось контрольной палатой и главной кассой по движению наследственных имуществ в Италии и провинциях. Это второе бюро имело в своем ведомстве ряд канцелярий, носивших каждая имена провинции, получениями с которой она заведовала. В III веке по Р.Х. оба бюро слились в одно управление и образовали ведомство, получившее, повидимому, большую важность, су-

дя по тому, что в чреде магистров его является, напр., Тимостей, тесть императора Гордиана. Итальяские и провинциальные прокуратуры подробно прослежены по надписям едва ли не для всех платежных округов у Cagnat, к книге которого и отсылаю любопытствующих. Ростовцев, следуя Моммсену, отмечает в характере налога известную фиктивность. Он взимался в откупном порядке, но никогда не носил имени publicum, и откупщики его только чрез обобщение в просторечии величаются Плинием stroys. При вицеиме чиновниками во множестве являлись рабы, может быть и откупщиков, но они «нанимались государством и во время их деятельности при сборе были независимы от своих господ. Это только скрытая форма будущих рабов императора, занятых при откупах, и переходная ступень к последним... Вся совокупность фактов ясно показывает нам, что налог намеренно был подведен под формулу стесненного откупа, так же, как намеренно не получил имени publicum. В этом сказывается тенденция Августа, которой последовали и его преемники, постепенно перетянуть все финансовые

управления в свои руки при помощи чисто административных мер. Дальнейшая история налога показывает нам, что этот стесненный откуп был только ступенью к непосредственному сбору налога под управлением его прокураторов. И действительно, вероятно уже при Адриане, в управление нашего налога введена была прямая система сбора».

Важность налога на наследство была для римского государства чрезвычайная. Разрушение семьи в веке междоусобных войн, упадок законного брака и деторождения, мода на холостячество и бездетность или малодетность — все эти общественные грехи, против которых тщетно боролись брачные законы Августа, вызвали в римском завещательном праве своеобразную эволюцию, ознаменованную непрерывным и массовым передвижением имущества из семейного владения в посторонние руки. Уже в эпоху Цицерона наследства стали дробиться и рассасываться между десятками наследников, иных из которых завещатель едва знал, а других, — бывало, — даже и не видывал никогда в жизни своей. Зачисление в сонм наследников по завещанию

сделалось чем-то вроде загробного гонорара за услуги, не оплаченные по невозможности или по нежеланию при жизни. Цицерон, подобными наследствами, собрал капитал в 20 миллионов сестерциев (2.000.000 рублей). Если бы в его время существовал 5% налог, то Цицерону, значит, пришлось бы уплатить в казну 100.000 рублей. Недурное поступление от одного только лица! Оно вполне поясняет, почему Август схватился за *vicesima hereditatum*, а следующие императоры крепко держались за нее до самого Диоклетиана, в финансовой реформе которого она исчезла.

Прямым наследникам — детям и ближайшим родственникам — поступали по завещаниям части столь незначительные, что понадобился закон (*lex Falcidia* в 40 г. По Р.Х.), объявлявший завещателей оставлять в пользу своих семейных не менее четвертой доли всего наследственного имущества. Значит три четверти всего передвижения капиталов в наследственном порядке подлежали обложению. Если принять в соображение, что передвижение это свершалось в среде плательщиков, исчисляемой почти в шесть миллионов

человек (по лавдиевой переписи 48 года по Р.Х.), будет ясно, что *vicesima hereditatum* — государственный доход несокрушимой надежности, громадных размеров и необычайной способности к накоплению. Еще Гиббон вычислял, что, путем 5% налога, «в течение двух или трех поколений все достояние подданных должно было мало-помалу перейти в государственную казну». А Рейн, которого цитирует Канья, приравнивает доходность наследственной *вицезимы* тому, как если бы все имущества римского гражданства, высшие ста тысяч сестерциев стоимостью, обложены были пошлиною от $2\frac{1}{2}$ до 3%. Быть может поэтому, не обмолвка у Плиния, когда он называет *вицезиму* скрытым трибутом. Мне еще придется говорить об этом налоге в III томе «Зверья из бездны», в связи с вопросом о роли завещаний в бытовом строе римского общества I века.

И, наконец, возвращаясь к началу, должны мы рассмотреть таможенные обложения — *portoria*. Налог на обращение товара, как шире определяет *portorium* Буше-Леклерк, потому что слово это одинаково употребляется в

обозначение пошлин таможенных, заставных (stroys) и провозных (peages).

Таможни в Риме существовали уже в полуисторический царский период. Во II веке до Р.Х. они, начиная с Поццуоли, распространяются по морскому берегу. Учреждается сухопутная таможня в Капуе. В особенности заботятся о развитии таможен Гракхи.

Таможни сдавались на откуп публиканам по усмотрению цензоров. Римляне относились спокойно, без критики, к самому принципу налога, но горько жаловались на прижимистую организацию его взимания. Отсюда в 694 г. (60 до Р.Х.) — по инициативе претора Кв. Цецилия Метелла Непота — последовал закон, которым таможенные сборы отменялись на всем пространстве Италии. Но не долго: уже Юлий Цезарь восстановил portoria для товаров иноземного ввоза, а затем они только росли, развивались да укреплялись.

Вне Италии учреждение таможен прививалось тем легче, что таможенная идея в высшей степени свойственна всем государствам греческой культуры. Граница имперской территории, *limes imperii*, была опоясана линией

сильных таможен, следивших как за ввозом, так и за вывозом. Безусловно воспрещалось вывозить в варварские страны предметы первой необходимости: железо, оружие, вино, масло, зерно, соль и золото. А ввозимые товары облагались пошлиною по тарифу.

Эти таможни, общие, имперские, были не единственными, которые товар должен были пройти, направляясь от границы в столицу государства. Во-первых, на пути своем он встречал ряд городов вольных или союзнических, искон и владевших правом учреждать для своей территории морские и сухопутные таможни, провозные и заставные пошлины, под условием, что от них будут свободны римские граждане и публиканы. Во-вторых, провинции объединялись, по нескольку, в финансовые округа, и каждый отделялся от другого таможенной линией. Таких округов Марквардт насчитывает девять:

1. Сицилия.
2. Испания.
3. Галлия Нарбонская (Narbonensis).
4. Три Галлии (Tres Galiae: Lugdunensis, Aequitania и Belgica. Они свободно торговали

между собой, но были отделены таможенной чертой на юге и на западе от Галлии Нарбонской, Италии, Ретии и германских независимых стран.

5. Британия.

6. Иллирик, т.е. Мезия, Фракийский берег, Паннония, Далмация, Норика и (по Аппиану) Ретия.

7. Группа мелких таможенных, так сказать, под-округов, с самостоятельной отчетностью, — в провинциях азиатских: Азии, Вифинии, Пафлагонии, Понте.

8. Египет.

9. Африка.

Канья насчитывает десять округов: Британия; Иллирик; Галлия; Испания; Африка; Египет; Азия; Вифиния, Понт и Пафлагония; Сицилия; Италия. Счет не может быть установлен с совершенной точностью, потому что разные округа возникали и уничтожались в разные эпохи. Самый старый внеиталийский таможенный округ — Сицилия, самый новый, наиболее богатый памятниками, а потому и наилучше изученный, — Иллирик. (Ростовцев).

Так как таможенные сборы взимались всюду пропорционально стоимости товаров, то это условие, само собой, повело — в целях гарантии и контроля таможенных поступлений — к определению рыночной стоимости ввозимых предметов, к учреждению тарифа. Размеры взимания разнились, глядя по провинции и по товару. В Сицилии обложение достигало 5%, в Галлиях (*quadragesima Galliarum*), в азийских провинциях (*quadragesima Asiae, Bithyniae et Ponti*), в Мезийском округе (*portorium Illurici*) — 2 1/2%. В позднейшие века империи бывали случаи, что таможенное обложение поднималось до 12 1/2%; а в одном порте Аравии, входившем в состав Египетского округа, — даже до 25%.

Египетский округ, вообще, занимал в торговле Рима особое положение.

Оно издавна сделалось предметом оживленного внимания европейских ученых, породившего много интереснейших специальных исследований. Уже в 1762 году Парижская Академия Надписей премировала сочинения Шмидта и Ameigon'a, написанные на конкурс по этой теме. Затем работам того же

содержания посвящали силы свои Герен (1793), Винсент (1797), Лассен (1858), Reinaud (1863), Лумброзо (1870) и др. В последнее время — Simaika, Milne, Speck и русский ученый г. Михаил Хвостов (Казань, 1970). Александрия служила оптовым передаточным складом для товаров, — почти исключительно предметов роскоши, — идущих в Европу из Индии и Аравии, через порты Красного моря, из Эфиопии, с верховий Нила. В I и II веках пространство международного обмена, обслуживаемое этими путями, огромно. Оно охватывает Европу, Северную и Восточную Африку (до Занзибара), Переднюю, Центральную и Южную Азию (до Тонкина). Размеры обмена Хвостов сравнивает с западно-европейской торговлей с Азией в XVII—XVIII веках и даже, может быть, в начале XIX века. Для Римской империи баланс восточной торговли представляется пассивным: хотя вывоз, повидимому, значителен, но ввоз над ним преобладает.

Плиний определяет этот ввоз в 5 1/2 миллионов рублей, не считая торговли жемчугом, ввоз которого достигал 10 миллионов рублей. За ввозом этим зорко следили тамож-

ни в гаванях Красного моря, в Сиэне, Скедонии, по каналам Нильской дельты и т.д. Кроме входных пошлин на границе, эти товары платили проходные пошлины на границах трех египетских губерний (эпистратерий); и, сверх груза своего, еще и самые суда должны были оплачивать право стоянки в Сиэне и движения вниз по Нилу и каналам.

Что касается размеров товарного обложения, они разнообразились применительно к границе, на которой пошлина взималась. Так, сохранился от 202 г. по Р.Х. устав (Lex Portus) таможи в Зарай на границах Нумидии и Мавритании. Он содержит четыре статьи. Первая таксирует рабов, лошадей, мулов, ослов и рогатый скот; вторая — земельные продукты; третья — кожи; четвертая — разные второстепенные товары. Пошлины очень невысоки: за лошадей взималось 1 1/2 денария — с головы, за быком 1—2 денария. Другой таможенный тариф, эпохи Марка Аврелия или Коммода, предусматривая ввоз восточных товаров, делит их на шесть категорий:

1. Пряности, ароматические вещества для

парфюмерии и медицинского употребления.

2. Бумажные ткани, меха, слоновая кость и индийская сталь.

3. Драгоценные камни.

4. Опиум индийский или ассирийский (Моммсен), шелк в грене или обработанный, одежды шелковые и полушелковые и всякие иные восточные материи.

5. Евнухи (spadones) и другие рабы, дикие звери для цирковых игр.

6. Краски, шесть, волос и пряжа.

В то время как таможни брали пошлины исключительно с товаров, предназначенных к продаже, и не касались личности торговца, portoria внутренних сборов — дорожные и мостовые заставы — безразлично обращали свои требования и на товар, и на купца, на каждого проезжающего, даже на покойников, перевозимых к месту погребения. Тут оплачивалось право передвижения по правительственному или коммунальному пути сообщения. В Египте, на волоке от Красного моря к Нилу, к этому присоединялась особая подать (αλοσροίλον) за конвой караванов или, вообще, военную охрану пути. До нас дошел та-

риф этого сбора от 89—90 г. по Р.Х. Он обращен прямо на личность и промысел путешественников и выработан с большой подробностью: с боцмана — 10 драхм, с матроса — 5, с ремесленника — 8, с женщины — 20, но с проститутки — сразу 108 и т.п. За корабельные принадлежности, провозимые через пустыню, тоже полагался денежный сбор, равно как и с похоронных процессий, направляющихся с мумиями в пустыню для погребения там покойников или же доставлявших на египетские кладбища трупы умерших или в каменоломнях, расположенных в пустыне, или на побережье Красного моря, или во время морских путешествий. (Хвостов.)

Громадное развитие шоссейных или мостовых сборов (*telonia*), понятно, отзывалось на ценности ввозимых товаров. Плиний Старший говорит, что индийские товары продавались на римском рынке во сто раз дороже своей первоначальной стоимости. Монтеские не дал веры этому показанию, но Канья находит его вполне правдоподобным: ибо, помимо коммерческой жадности, порождавшей столь чудовищный запрос, товар, действительно,

должен был страшно расти в цене, по мере накопления бесчисленных встреч все с новыми обложениями. «Почти на каждой сухопутной или морской станции взимались какие-нибудь поборы». По свидетельству того же Плиния, провоз ладана с места сбора (Аравия) до нагрузки в каком-либо римском порте обходился в 688 денариев с каждого верблюда, что составит около 250 рублей не более как на 20 пудов, следовательно, по 12 1/2 рублей на пуд, 31 1/4 коп. на фунт. И это было только начало пути — «мытарство», в буквальном смысле слова. Отсюда можно заключить, во что обходилась доставка в Рим продуктов из дальних глубин Индии, какие цены необходимо драли за них купцы и какие суммы поступали, чрез portoria, в государственную казну.

Что касается городских заставных пошлин, то в Риме они отличались от нынешних *ostroi*, *dazio* и т.д. тем, что совершенно не признавали свободного транзита и взимались не только с тех товаров, которые должны быть потреблены рынком данного города, но и хотя бы они ввозились, скажем, в северную за-

ставу только по необходимости проследовать через город и немедленно быть вывезенными через заставу южную. В отличие от других римских portoria, этот налог поступал не в государственную кассу, но в городскую или коммунальную. Императоры, как в республиканское время сенат, обратили ostrom в средство административного воздействия на провинциальные автономии. Если какой-либо город, община или царек оказывал государству какую-либо услугу, либо если император хотел их привязать к себе, то им давалось новое, либо за ними подтверждалось старое право вновь учредить или неприкосновенно сохранить ostrom. Светоний бранит Тиберия за то, что тот поотобрал у многих общин их иммунитеты и октруа. Вообще, города не имели права вводить новые налоги без санкции центральной власти; необходимо было согласие императора. То же самое — для упорядочения налогов, уже существующих. Когда финансовые нужды данного города требовали введения новых обложений, императоры предписывали весь порядок нововведения: город подает прошение губернатору, а тот,

изучив вопрос, пересылает бумагу на усмотрение императора, в сопровождении своего заключения — благоприятного или нет. Резолюция государя решает вопрос в ту или другую сторону.

В самом Риме *ostroi* долго не существовало, так как Рим понимал себя не городом, а государством и, кроме *aerarium*'а, не имел особой городской кассы. Последняя понадобилась уже, когда Рим сделался столицей мира и городское его устройство выделилось из государственного, а следовательно, потребовало и специальных фондов, а для последних — специальных источников. Светоний и Плиний указывают, что обложение рынка съестных припасов введено Калигулою. Народное негодование заставило отказаться от этой меры. Однако мы снова встречаем ее в эпоху Марка Аврелия под именем *vectigal foricularii et ansarii promercalium*. *Ansarium* — от *ansa*, *vasa ansata*, глиняный сосуд для перевозки зерна, масла и вина, — октруальный сбор (Вальтер), поступавший в городскую кассу (*arca municipalis*). *Foricarium* — вероятно, плата за место на торговой площади. Мнения ученых

(Марквардта, Вальтера, Эмберо, Дюро де ла Малль и др.) о характере анзария пестро расходятся. Во всяком случае, это была пошлина, которая взималась у застав, и заставы, у которых производилось взимание анзария, снабжены были досками с правилами, — вернее сказать с одним основным правилом, долженствовавшим прекращать вечные столкновения, недоразумения, споры и ссоры между откупщиками налога и его плательщиками. Такие доски найдены на окраинных путях города — на Via Salaria, на Via Flaminia и на Тибре, у подножья Авентина. Последняя надпись гласит:

Quicquid usuarium invehitur ansarium non debet.

То есть:

Предметы, ввозимые для личного употребления (торговцев или проезжих), не подлежат уплате анзария. Оплачиваются, значит, только товары, ввозимые для продажи (promercales).

Из этого краткого и беглого очерка римских косвенных налогов читатель легко составит заключение о громадности реформы,

затейной было Нероном — преподнести мировому государству отмену всех косвенных налогов, как прекраснейший дар человечеству (*pulcherrimum donum generi mortalium*). «Если бы эта мечта фантазии действительно могла быть осуществлена на деле, — говорит Гиббон, — такие государи, как Траян и Антонины наверно с жаром взяли бы за такой удобный случай оказать столь важную услугу человеческому роду; однако они ограничились облегчением государственных налогов, но не пытались совершенно отменить их». Затем Гиббон пространно восхваляет названных «добрых императоров» за паллиативные меры, принимавшиеся ими против яда откупной системы, отравлявшего их государства. По правде сказать, психологический метод деления императоров на добрых и злых терпит тут совершенное крушение. Если финансовые полумеры могут быть достойны панегириков, то из неосуществленного проекта «злого императора» Нерона истекло их, в виде сенатской уступки духу времени, не менее, чем могли бы дать самые податливые и кроткие представители «просвещенного абсолю-

тизма». Так понимал Неронову реформу Монтескье:

«Нерон, возмущенный вымогательствами сборщиков податей, задался невозможным и великодушным проектом отмены всех налогов. Он не изобрел казенного управления, но издал четыре указа, которыми повелевалось: чтобы законы, изданные против откупщиков и до сих пор содержащиеся в тайне, были обнародованы; чтобы откупщики лишались права взыскивать то, о чем они не заявляли требований в продолжение года; чтобы был назначен претор для обсуждения их требований без всяких формальностей; чтобы купцы были избавлены от уплаты пошлины за свои суда. Вот хорошие дни царствования этого императора».

Кроме исчисленных у Монтескье мер, Нерон подтвердил исконную беспошлинность передвижения солдатского имущества, кроме тех предметов, которыми солдаты стали бы торговать.

Вообще:

«Были там, — говорит Тацит, — и другие предписания, очень справедливые, которые

короткое время соблюдались, а потом забылись. Впрочем, остается до сих пор в силе уничтожение сороковой (2 1/2%) и пятидесятой части (2%) и других платежей, которые откупщики придумали в видах незаконных взысканий».

СМЕРТЬ АГРИППИНЫ

I

Любовь к Попшее и опала матери явились поворотными двигателями в жизни Нерона. Принято считать момент смерти Агриппины концом «золотого пятилетия». В смысле государственном, это неверно: в течение слишком двух лет по кончине императрицы-матери, внутреннее управление республики, сосредоточенное всецело в руках конституционалистов, шло не только не хуже, но, пожалуй, даже лучше, чем в течение *quinquennium*. Но бесспорно, что именно в это время случился тот страшный перелом в самом цезаре, который превратил правителя, с умом поверхностным и рассеянным, беспечного, распутного, но, в конце концов, заурядного и ничем не хуже сотен других, в того

ужасного демонического Нерона, чье имя, проклятое судом народов, навсегда осталось жить в истории, как готовый собирательный символ тирании, грабительства, кровавого и полового безобразия, кощунственного шутовства и трагикомического кривлянья.

Шел 812 год а.у.с. — 59 по Р. X. Консулами были Кай Випстан Апрониан и Кай Фонтей Капитон. Нерон вступил в пятый год благополучного управления государством, с добрым предвестием и на дальнейшее. Год назад, за сохло было тысячелетнее Руминальское дерево на комиции, давшее, за 830 лет перед тем, приют младенцам Ромулу и Рему. Гибель народной святыни смутила римлян, как злоеющая примета. Теперь же драгоценное дерево внезапно воскресло и пустило новые побеги. На окраинах военные дела шли хорошо. Государственный корабль плыл мирно и закономерно. Тацит обижается на ничтожность времени, не дающего материала для историка и годного только для отметок в газете римского народа, но это затишье — наилучшее показание, что Сенека с Бурром добились своего: общество поверило правительству, умы спокой-

ны, политический строй пошел на лад. Рим интересовался огромным амфитеатром, который цезарь воздвиг на Марсовом поле, да судебными делами. Из последних особенно выдались три процесса: 1) доносчика П. Суиллия, отчасти уже рассказанный; 2) народного трибуна Октавия Сагитты, умертвившего свою любовницу, Понцию Постумию, замужнюю женщину знатного рода, при обстоятельствах, поразительно напоминающих варшавское убийство Бартеневым актрисы Марии Висновской; 3) домашнее расследование, возбужденное против Помпонию Грецины, пожилой уже супруги Плавтия, героя-триумфатора британской войны, по обвинению этой матроны в «чужеземном суеверии».

Последнее дело — Помпонию Грецины — очень интересно, так как многие считают его первым отголоском христианской пропаганды в Риме.

«Помпония Грецина, знатная женщина, вышедшая замуж за Плавтия, возвратившегося из Британии с триумфом, была обвинена в следовании чужестранному суеверию и отдана на суд мужу. Этот последний, согласно

древнему установлению, произвел, в присутствии родственников, дознание о деле, которое касалось жизни и чести супруги, и объявил ее невиновной. Эта Помпония жила долго, но в постоянной грусти. Ибо после смерти Юлии, дочери Друза, убитой по интригам Мессалины, она провела сорок лет, нося лишь траурное платье и зная лишь печальное настроение. Во время правления Клавдия это прошло для нее безнаказанно, а затем обратилось ей в славу».

Легенда о христианстве этой Помпонии Грецины не находит себе серьезных оснований и, без сомнения, выросла на почве близости с христианством позднейших Помпониев, потомков рода ее. Научная поддержка легенды такова. Одно из самых древних кладбищ христианского Рима — катакомбы (крипта) св. Люцины. В 1864 году знаменитый археолог де Росси, отец научного исследования катакомб, нашел в крипте св. Люцины языческие эпитафии с именами Помпониев, Аттіков и Бассов. Как подобные языческие плиты попадали на христианские могилы, известно: это — результат провалов почвы, их увлекав-

ших на поверхность земли (см. в IV томе «Зверь из бездны» главу о катакомбах). Это давало основание думать, что христианское кладбище расположено было под фамильной усыпальницей рода Помпониев (gen Pomponia) и, следовательно, в земле, принадлежавшей этой фамилии. Естественно было при этом вспомнить Тацитову Помпонию Грецину. Росси воспользовался совпадением и высказал гипотезу, что кладбище св. Люцины принадлежало, как землевладелице, Помпонию Грецине, а св. Люцина, под именем которой оно слывет, есть не иная кто, как сама Помпония Грецина, принявшая при крещении новое христианское имя. Некоторое подтверждение своей гипотезе де Росси нашел в 1867 году, в виде плиты с именем какого-то значительно позднейшего Помпонию Грецина. Мнение де Росси поддерживают Reumont и Гольцман.

Католические писатели вроде Фуара, Аллара, Doulset, Аттилио Профумо и т.п. очень любят легенду о христианстве Помпонию Грецины и приемлют ее с полным доверием. Фаррар осторожнее: в исторических трудах своих

он допускает лишь ее возможность и только в романе соблазнился примкнуть к ней целиком. Но в его «Dawn and Darkness» общее правило: что ни порядочный человек, то непременно христианин. Ренан колеблется: христианство Помпони Грецины он, пожалуй, согласен допустить, но единство ее с легендарной Люциной категорически опровергает. Пресансе, Неандер, Гизелер проходят мимо эпизода Помпони Грецины, его не отмечая, равно как Ed. Backhouse и Ch. Tylor. И, наконец, Фридлэндер, Обф, Havet — прямые противники легенды. Нейманн (Neumann) принимает христианство Помпони Грецины в высшей степени вероятности (*in hohem Grade wahrscheinlich*). Обертэн (Aubertin) уклончиво передавая вопрос другим исследователям (абб. Грешо), сам видит в ней скорее иудейскую прозелитку. И т. д.

С делом Помпони Грецины читатель еще встретится, когда речь дойдет до христианской пропаганды в Нероновом Риме. Покуда я ограничусь лишь замечанием, что хронология этой пропаганды, равно как и эмбриональное состояние христианства в данный

период не дают никакого вероятия христианской легенде Помпонию Грецины. Она не могла быть тем, чего еще не существовало. Христианство в 40—60 годах I века было иудейской сектой, которая ни сама себя из иудейства не выделяла, ни иудейство — ее; а иудейство в Риме не было запретной религией, да и вообще Рим не знал запретных религий, раз они не обращали своих обрядов в уголовные преступления или не объявляли открытой борьбы государству. (См. III и IV тома.) Под «чужеземным суеверием» Помпонию Грецины, по всей вероятности, это и надо подразумевать: совершение мистического обряда из восточных культов, сопряженного с кровопролитием, нарушением нравственности или магическими действиями.

Агрипина продолжала пребывать в замке Антонии, но отношения ее к сыну, после блистательного ее оправдания по доносу Юний Силаны, стали как будто и в самом деле лучше. Вдовствующая императрица часто посещала Нерона, умышленно выбирая для того обеденные часы, когда император бывал в духе, от вина и веселого общества. Являлась

она разряженная в свои лучшие платья, все еще прекрасная, кокетливая, и вскоре придворная толпа стали примечать в обращении ее с Нероном оттенок нежности совсем не материнской, поцелуи слишком страстные, ласки вольные. Сложилась и пошла гулять по городу дворцовая сплетня о кровосмешении. Одни говорят, что оно уже совершилось, и ссылаются на какое-то совместное путешествие Нерона с Агриппиной, в закрытых носилках, при выходе из которых оба изумили присутствующих непристойным беспорядком в одежде. Другие спорят, что ужасный грех еще только назрел и готов совершиться. Но никто не сомневается, что оба, и мать, и сын, вполне способны на гнусность, им приписываемую. Тацит, со слов Клувия, возлагает почин греха на Агриппину. Фабий Рустик, равно как и Светоний — на Нерона, причем Светоний верит, что преступление было, а Тацит полагает, что удалось предотвратить его. Очевидно, и мать, и сын вели себя одинаково грязно.

«Она распутничала только в том случае, если разврат содействовал захвату власти».

Эта сильная фраза Тацита объясняет нам всю темную историю ухаживания Агриппины за Нероном и выдает ее виновность головой. Агриппина — одна из тех, к счастью довольно редких, женщин, — с мужским властолюбием, с мужским хотением, с мужскими страстями и задачами, — у которых, за неустанной, сверхсильной, переутомляющей организм работой воли на эти несвойственные полу страсти и задачи, половая энергия уничтожается вовсе или понижается до полного равнодушия, до безразличной страдательности. Потеря половой чувствительности весьма часто сопровождается и потерей половой совести: любовный инстинкт, лишенный всяких психологических прикрас, низводится на животный уровень, к простому удовлетворению физической потребности, исполняемой с зверским равнодушием и безразличием в средствах. Такие женщины, владея огромной рассудочностью, смотрят на любовь, целомудрие, половой грех, как на величины, бесконечно малые сравнительно с целями, к которым необузданно влечет их пылкое воображение, и которые они почитают действитель-

но великими и достойными. Половые подлости и преступления в жизни подобных женщин — козявки на горной тропинке; турист, взбирающийся на вершину, давит их, не замечая, не сожалея, не раскаиваясь.

Трижды замужем — за Кн. Домицием Аэнобарбом, Криспом Пассиеном и принцепсом Клавдием — Агриппина имела множество любовников, но — ни одного по любви. Ее романы — или деловые интриги, или животное самочье удовлетворение назревшей чувственности, не дающее случайному избраннику никаких прав, и одно лишь обязательство — держать потом язык за зубами. Счастливицы эти были обыкновенно очень молоды и — совершенно ничтожны. Один из них, Софоний Тигеллин, правда, сыграл весьма важную, хотя еще более печальную, роль в истории Нероновой эпохи, но выдвинулся он уже по смерти Агриппины. Она соучастникам своего сластолюбия карьеры не делала, и Рим при ней не знал ни Потемкиных, ни Орловых, ни Зубовых. В сожительстве с Паллантом «карьеру» делала она, а не он: она сошлась с ним, когда он был сильнее ее, и она ему была обя-

зана своим дальнейшим величием, а не она ей. Что касается романов деловых, по холодно-развратному расчету, то, в разбойнически-царственной торговле своим телом, Агриппина с ранней юности выучилась так же легко шагать через родственные узы, как и через убийства. Она — сестра Калигулы, которого Светоний обвиняет в преступной связи во всеми тремя сестрами, хотя истинно любил он только одну Друзиллу, а остальными даже «угощал» своих прихлебателей. Фиктивный муж Друзиллы, М. Эмилий Лепид, вступил в заговор с Лентулом Гетуликом, чтобы убить Калигулу и сесть на его место. Агриппина и младшая сестра ее Левилла отдаются главе заговора, своему деверю, и разделяют его замыслы, надеясь, в случае государственного переворота, разделить и власть. Мы уже видели, как охотилась она потом за всеми кандидатами на императорскую власть, настолько не стесняясь в средствах кокетства, что мать Гальбы публично побила ее за полное забвение женской скромности; как поймала в мужа Криспа Пассиена и, быть может, отравила его, чтобы получить в наследство капитал,

нажитый старым оратором от адвокатуры... Принцепс Клавдий казнит Мессалину и остается вдовцом. Втереться в милость к глупому, расслабленному дяде и стать его фавориткой не хитро, и Агриппина быстро добивается того, опередив всех своих соперниц, — по указанию Тацита, — *per jus osculi*, чрез право родственного поцелуя, то есть — развратничая со стариком под извинением родственных ласк. Теперь ей надо сделаться законной женой Клавдия, императрицей и соправительницей. А к этому шагу не сосчитать препятствий: и закон против кровосмешения, и сенат, и интриги соперниц, и, наконец, нежелание самого Клавдия. Надо сломить закон, уговорить сенат, уничтожить соперниц, окрутить Клавдия. Все это способен и властен совершить только один человек, — с неограниченным влиянием на принцепса, — вольноотпущенник Паллант. Но он ставит Агриппине условием, что, в награду за услугу она будет его любовницей, — и дочь Германика продает себя бывшему устричнику из Субурры, рабу с проколотыми ушами!.. Диво ли, что, пройдя такую страшную школу бесстыдства, эта

властная женщина притупила свою половую совесть до того, что любовный грех, с кем бы он ни свершился для нее стал ничтожнейшей житейской мелочью, пред которой — раз она к выгоде — останавливаться глупо и пошло? Лестница к верховной власти провела ее последовательно, как по ступеням, чрез сладострастие брата, деверя, дяди, раба — что удивительного, если, привыкшая смотреть на свое тело, как на монету, которой платят за могущество, она не задумалась пред возможностью обольстить и сына? Тем более, что она знает: не будь она его матерью, он, конечно, ухаживал бы за ней, потому что строгая красота ее — как раз в его вкусе. Нашел же он где-то уличную женщину, похожую на нее лицом и станом, — влюбился, взял во дворец, живет с ней. Да и такой это дрянной, испорченный, распутный мальчишка, что — лишь бы запала в его душеньку искорка преступного пламени, а там уже самая вычурность, бесконечная глубина и, так сказать, виртуозность греха потянут его к себе неудержимой приманкой. И тогда он, со всей им олицетворяемой, всемирной властью, — весь ее и навсе-

гда. Ее ведь никто еще не бросал — она всем изменяла. Она сумеет удержать его вечным рабом — и силой чувственности, и страхом свершенного нечестия. И тогда — горе всем этим Поппеям, Актэ, Домициям, Буррам, Сенекам, Отонам, дерзнувшим стать поперек ее дороги!

II

Враги Агриппины, конечно, понимали плачевную осуществимость и ужасные последствия ее отвратительного плана не хуже ее самой. Быть может, они смекнули ее замысел не только теперь, но и раньше. Курдювцев правильно намекает на двусмысленность в тексте Тацита, когда Агриппина, решившись примириться с существованием Актэ, предлагала Нерону — не то комнату для свиданий с его любовницей, не то свое собственное ложе. «Место допускает два объяснения, — стыдливо говорит знаменитый московский профессор, — предпочитаем то, которое делает менее бесчестия человеческой природе». Но дальнейшее поведение Агриппины доказало, что — пожалуй — уже и тут целомудренный оптимизм был совсем не у места.

Сенека располагал лишь одним орудием против чар Агриппины, но хорошим. Ковам женского соблазна он противопоставил честную энергию любящей женщины: подослал к императору его вечную добрую фею Актэ. Вольноотпущенница бесстрашно объяснила Нерону, что в Риме уже идет молва о кровосмешении, что императрица всюду хвастает своим новым пороком, что войска не хотят повиноваться государю, который способен на подобную мерзость. Тацит объясняет героизм Актэ тем, что она испугалась за свою участь: ведь торжество Агриппины, недавно проявившей к ней столько ревнивой ненависти, было бы для Актэ смертным приговором. Но ведь и роман Нерона с Поппеей не мог остаться тайной для Актэ. От Поппеи, которая так безжалостно издевалась над связью цезаря с вольноотпущенницей, Актэ вряд ли могла ожидать лучшего, чем от Агриппины, — напротив... В «Октавии» — анти-неронианской трагедии — памфлете неизвестного автора флавианской эпохи (прежде ее приписывали Сенеке и до сих пор принято печатать ее с его трагедиями), имеется выразительный диалог

именно на эту тему. Октавия оплакивает измены Нерона, покинувшего ее для Поппеи. Кормилица ее утешает, что беззаконная любовь не долго пылает.

— Смотри: вон и та служанка, которая первая дерзнула осквернить брак твой и долго владела сердцем господина, и она уже трепещет...

Октавия.

Вот именно: пред той, которую он ей предпочел.

Кормилица.

Стала она тихонькая да смирененькая, и возводит памятники, сооружением которых выдает страх. И эту (т.е. Поппею) также низложит легкий обманчивый божок, крылатый Купидон.

Так что есть полное вероятие приписать благородную смелость Актэ гораздо более чистым и возвышенным побуждениям: девушка ужаснулась бесчестия, грозящего любимому человеку, и, рискуя собственной головой, пришла спасти Нерона от конечного падения. Впрочем, этот последний мотив снисходительно признает и Тацит, но конечно лишь

отчасти: он большой скептик всюду, где речь идет о порядочности людей из низших классов общества. Тацитова добродетель редко достаивает являться ниже всадническогословия. Это трагикомическая черта огромного таланта великого историка. Когда он пишет о цезарях, сенаторах и всадниках, он силой и глубиной изображения Шекспиру равен и даже часто побеждает Шекспира. Но в передаче страстей и настроений людей из черни он слаб и мутен настолько, что, право, иногда напрашивается на сравнение с каким-нибудь Бурже. Последний ведь, по язвительному замечанию Октава Мирбо, начинает понимать психологию человека — тоже только с 120.000 франков годового дохода. Замечательно и то, что предупредить императора о грозящей беде призвана не боготворимая им Поппея, которой, казалось бы, и легче оно было, да и поверил бы цезарь скорее, — но уже нелюбимая, отставная, ненужная Актэ.. Что значит выбор Сенеки? То ли, что философ уже отдалился от Поппеи и не смел ей довериться? Но мы сейчас увидим, что Поппея в это время действовала и говорила совершенно в духе конститу-

ционалистов, руководимых Сенекой и Бурром, и разрыва между ними следовательно еще не произошло. То ли, что часто любят одну женщину, а уважают другую, и той, которую уважают, больше верят, чем той, которую любят?

Любопытно, что в трагедии «Октавия», тщательно подчеркивающей все мерзости и злодеяния, совершенные Нероном и Агриппиной, эпизод кровосмешения опущен. Трагический памфлет знает отравление Клавдия, причем неоднократно вспоминает, что брак его с Агриппиной был кровосмесительным, знает убийство Силанов, Британика, умерщвление самой Агриппины, Рубеллия Плавта и Корнелия Суллы, первый брак Поппеи с Криспином Руфом, но, странным образом, обходит молчанием, как мрачную сплетню кровосмешения, так и второй брак Поппеи с Оттоном. Поппея в этой трагедии, вообще, проходит бледной тенью: ее память заметно пощажена, насколько лишь позволяли тяжкие свидетельства ее преступлений.

Нерон одумался. Он начал избегать встреч с матерью наедине и дал понять Агриппине,

что она лишняя в городе. Стоило императрице собраться навестить свои пригородные сады, Тускуланскую виллу или Анциатское поместье, как Нерон спешил выразить ей свое удовольствие: он-де искренно счастлив, что государыня собралась, наконец, насладиться деревенским отдыхом, столь необходимым для ее здоровья, поздравляет ее с таким благим намерением, советует не торопиться возвращением, — словом, обидно и прозрачно намекал на свое желание держать ее вдали от двора, в постоянной добровольной ссылке. Заметно, что если раньше поведение Агриппины внушало Нерону ненависть, то теперь, после пошлых попыток старой кокетки, в отношении к ней сына примешивалась немалая доля презрения. Словно желая оправдать себя в глазах своих друзей и наглядно разрушить позор недавних подозрений, Нерон повел против Агриппины подпольную интригу, в которой вел себя совсем не по-рыцарски и даже не взрослым человеком, но как злой мальчишка, блудливый и проказливый школьник. Обратив преследование матери в какой-то нелепый спорт, он изводил Агриппину

мелочными неприятностями, булавочными уколами. Жила она в Риме — он навязывал ей на шею процессы и кляузы; уезжала она на дачу — он не давал ей вздохнуть свободно, не оставлял ей ни минуты покоя. Подкупленные Нероном негодяи разъезжали водой и сушей мимо виллы императрицы, поносили ее бранными словами, гадкими шутками, мучили базарными криками, кошачьими серенадами.

Это не мужская месть. В этих обидных дурачествах как будто чувствуется влияние женской гневной руки. И в самом деле, вряд ли они проделывались без ведома, одобрения и наущения Поппеи: такая гадостная изобретательность вполне в ее характере, мелком и злобном. По свидетельству Тацита, она в это время усиленно пилила императора, требуя либо свадьбы, либо — чтобы он вернул ее Отону, за которым-де она пойдет хоть на край света. Лучше жить в какой угодно ссылке, чем оставаться свидетельницей ежедневного поругания императора со стороны его заносчивой и корыстолюбивой матери — этой ужасной женщины, равно ненавистной и се-

нату, и народу. Пусть цезарь только прислушается: она, Поппея, готова быть их голосом. Молчать об угрожающих Нерону опасностях значит становиться в них соучастницей, а как она может, какое право имеет предотвращать их, не будучи женой? Почему Нерон откладывает свадьбу? разонравилась ее красота? Мало знатны ее предки — триумфаторы? Сомневается он в ее доказанном плодородии? Не верит в искренность ее любви?.. Упреки сопровождались язвительными насмешками: какой ты государь! ты мальчишка сиротка, мамаша-опекунша водит тебя на помочах и держит в ежовых рукавицах! ты лишен не только власти, но и собственной свободы.

И т.д., и т.д. Говоря, что она является голосом сената и народа, Поппея не лгала, но лишь преувеличивала. Действительно, и в сенате, и при дворе, и в обществе существовала значительная партия, ей сочувственная и, вообще, готовая согласиться, чтобы подругой цезаря стала хоть сама Геката, лишь бы, с ее помощью, dokonать влияние Агриппины, всем постылой и ненавистной. Конституционалисты, с Сенекой во главе, в это время несо-

мненно стояли за Поппею; Тацит оправдывает их, восклицая: кто же мог думать, что ненависть сына разгорится до убийства матери? Могли и должны были думать те, кто хорошо знали нрав Нерона, воспитывая его с детства. Еще в пору умерщвления Британика, Сенека обмолвился красивым намеком на характер своего державного ученика: — как ни воспитывай льва, — сказал он, — он будет кроток до первой крови: раз отведав человечины, он вернется к своей природной свирепости. Но с годами Сенека позабыл свое красное словцо, как тысячи других красивых словец, которые он бросал в воздух, и теперь стоял в рядах людей, снова — кто по бессознательному легкомыслию, кто коварно и сознательно, — манивших ручного льва на запах свежей крови. И вот — совершиться должное совершилось: аппетит льва проснулся, и первым же прыжком своим лев натворил таких ужасов, что те самые, кто наскивал его на жертву, поспешили завопить в оправдание пред будущими веками: могли ли мы того ожидать?.. Начиная с этого момента история отношений Нерона и Агриппины, оконча-

тельно теряет точность и достоверность, и у всех трех историков-источников, в особенности же у наиболее подробного и яркого, Тацита, — получает характер и окраску эффектно сложенного уголовного романа с приключениями. Легенда романа установилась и держится много веков. В этой главе я расскажу ее, как она звучит у Тацита, и в своде его со Светонием и Дионом Кассием, без всякой критики текста — отлагая ее на следующую главу. Это надо потому, что в легенде часто звучат смысл и суть исторической истины, хотя бы фактически- то говорила истина совсем иначе. Вместе с тем, постараюсь поставить декорации действия, как сохранились они в памятниках и как помогает нам проверить их вечная, неизменяемая мать- природа, однако пережившая с того времени катастрофы, перевороты и медленные закономерные поправки девятнадцати веков. Потому что ведь природа призвана была здесь к убийственной роли столько же, как и люди. Но, если верить легенде, она оказалась добрее людей, и настойчивый позор всего, что случилось, должен падать только на природу человеческую.

«Наконец мать стала Нерону в тягость, где бы ни находилась». Решено ее убить. Но — как? Пригласить императрицу на обед и отравить ядом? Слишком еще недавно был умерщвлен таким образом Британик, — повторение внезапной смерти за государевым столом вызовет дурные толки в народе, нельзя будет оправдаться несчастным случаем. А на это раз, когда дело шло о матереубийстве, Нерон уже не так презрительно говорил об Юлианском законе. Отравить Агриппину у нее на дому представлялось совершенно немыслимым: прислуга у нее старая, надежная, каждого раба своего она знает и видит насквозь, боятся ее, как огня, — привычка к преступлениям выучила ее угадывать западни и вовремя разрушать их. К тому же она всегда имеет при себе аптечку и, переняв обычай восточных царей, предохраняет свое тело против отравы постоянным принятием ядов маленькими дозами. По Тациту, невозможность отравить Агриппину была установлена теоретически, по Светонию — после того, как не удались три покушения. Пустить в

ход кинжал? Но кровопролитие скрыть еще мудренее. Да и кому приказать такое дело? И кто порукой, что, получив приказание, избранник государевой воли не откажется исполнить ее, и тогда страшный умысел бесплодно рухнет, приобретя лишь нового опасного свидетеля? Кто-то предложил — устроить нечто вроде взрыва во дворце: пригласить Агриппину вернуться в палатинские покои и, дав ей ночи две — три провести спокойно, затем расплющить ее, во время сна, обрушенным потолком спальни. Слух об ужасном плане дошел до Агриппины. Она приняла его к сведению и — благо время стояло вешнее — перестала ночевать иначе, как под открытым небом.

В поисках верных и на все готовых людей вспомнили об Аникете, когда-то дядьке малютки-Нерона, а в эту пору командира военной эскадры, стоявшей на якоре у Мизенского мыса. По недоброжелательству Агриппины, Аникет утратил некогда свое придворное положение, ненавидел императрицу и рад был отомстить. Заручившись доверием цезаря, Аникет предложил проект убийства, весьма

сложный, но, казалось бы, действительно надежный, а главное, убирающий все концы преступления в воду — в самом буквальном смысле последнего слова. Вдохновясь одной театральной машиной, Аникет взялся устроить корабль с раздвижным дном. Надо пригласить на него Агриппину для морской прогулки. Когда корабль выйдет в открытое море, палуба провалится и утопит императрицу. И все останется шито и крыто: мало ли каких случайностей не бывает в море. Никто не посмеет подозревать преступного замысла в кораблекрушении, которое, естественно и с гораздо большим правдоподобием, объяснится неудачным подветренным маневром, при сильном волнении. А когда Агриппина утонет, от воли государя зависит — надеть траур, воздвигнуть покойнице храмы и алтари, воздать все наружные знаки почтения, любви и сыновней скорби.

Проект был одобрен, корабль-ловушка выстроен. Чтобы заманить императрицу на эту адскую машину, воспользовались квинкватриями — пятидневными праздниками в честь Минервы, приходившимися на 19—24

марта.

Здесь не место распространяться о значении культа Минервы в римской религии. Гошар удачно сравнил ее место в античных верованиях с тем, которые в современных христианских имеет Дух Святой. *Quinquatrus*, т.е. пятый день ид, праздновался в честь Минервы дважды в году: 19 марта и 19 июня, — Большие квинкватрии и Малые квинкватрии. 19 марта считалось днем Рождества Минервы. Праздник в Риме был тем торжественнее, что предполагался также годовым днем освящения чтимых храмов Минервы на Авентинском и Целийском холмах. Марквардт полагает, что первоначально праздник посвящен был Марсу, но именно совпадение-то с годовыми храмовыми праздниками Авентина и дало решительный перевес имени и культу Минервы. Первоначальный смысл праздника имел в виду однодневность, «праздник-пятый день», но популярность культа Минервы во всех слоях общества мало-помалу вырастила его и растянула в своего рода Святую неделю: праздник пятого дня стал пониматься, как праздник пяти дней и,

начинаясь 19 марта, кончался только 23-го. Дух разума, создавший человеческое общежитие, чествовался, в символе Минервы, мирно и дружно всей общественной громадой. Это изящный и красивый праздник отдыхающего труда, — художеств, науки, промышленных производств. Для школьников квинкватрии разбивали пятидневной вакацией на две половины учебный год: после них начинался новый курс; а для школьных учителей они были сроком получки добавочного гонорара, в виде добровольных подарков от учащихся. Подарки эти так и назывались — *minervalia*. Так как Минерва научила женщин шить, прясть и ткать, то в то время, как матрона римская «дома сидела и шерсть пряла», для женщин Рима квинкватрии были праздником домашнего хозяйства. А как скоро сказанные занятия успели выйти из области натурального хозяйства и породить вольное производство, то покровительство Минервы приняли все *fullones*: ремесленники и промышленники шерстобитного, сукноваляльного, ткацкого, портновского, прачечного дела. Праздник столь громадных и многочислен-

ных корпораций естественно тянул к своему единству все смежные: сапожников, столяров и пр. С развитием греческой иммиграции, квинкватрии захватывают эллинизированную интеллигенцию и в первую очередь врачей, как клиентов Минервы Исцеляющей (Minerve Medica). Круглый остов ее предполагаемого храма — первая, после акведуков, античная руина, которую видит в Риме путешественник, въезжающий поездом от Чивитта Веккия, мимо Porta Maggiore. Естественно было сливаться с этим праздником художникам, скульпторам, поэтам, юристам. Нерон очень любил квинкватрии и неоднократно жертвовал именем их народу большие раздачи деньгами и припасами. Это был, так сказать, его артистический праздник. Тем страннее и страшнее, что он именно его выбрал для осуществления самого темного и скверного преступления своей жизни. Если верить однообразным на этот счет показаниям историков, приходится признать за Нероном удивительно капризную склонность — совершать свои кровавые злодеяния всегда в самое для того неудачное время, в самой компрометирую-

щей обстановке и обязательно в условиях как можно большей публичности... Малые квинтатрии (19 июня) были повторением Больших, с тем добавлением, что Рим в эти дни переполнялся пьяными флейтщиками, трубачами, волынщиками и т.д. Это был их цеховой праздник, когда они «гуляли», наполняя шумом весь город, а потом обедали всем цехом в храме Юпитера Капитолийского. В 312 году до Р.Х. на обычай этот попробовала было положить руку знаменитая цензура Ап. Клавдия Слепого (Caecus) и К. Плавтия. Флейтщики так обиделись, что устроили забастовку, в решительном виде «сецессии» всем цехом в Тибур. Напрасно тибурцы уговаривали их подчиниться: оскорбленный цех и слушать ничего не хотел. Между тем Рим заскучал без духовой музыки: свадьбы, похороны, жертвоприношения, пиры, — все пришлось справлять под сухую. Тибурцам же гости надоели. И вот — в один какой-то праздник пригласили они всех эмигрантов-флейтщиков на пир и напоили их до положения риз. Затем взвалили на телеги, отвезли в Рим и вывалили бесчувственные тела на Форуме. Взошедшая

заря осветила их пробуждение — в недоумении и во всех горестях жестокого похмелья. Сошелся народ, и последовало примирение. Флейтщикам оставили их годичный капитолийский обед, а они, уже сами от себя, положили поминать коварство тибурцев жесточайшим в этот день пьянством. Эта наивная сказка прелестно рассказана Овидием. Хороший сюжет для оперетки! Нерон справлял квинкватрии в Байях и пригласил мать, пребывавшую в своем Анциатском поместье, провести праздник с ним вместе. Пригласил — любезным письмом, лицемерно намекая на свое желание извиниться, примириться и однажды навсегда положить конец старым ссорам. Императрица приехала морем, держа путь через Анциум. Нерон встретил ее на берегу, обнял и проводил в Баулы — береговое местечко, где императрица имела собственную виллу.

Местоположение этой виллы играет важную роль в дальнейших событиях. Поэтому надо поговорить о нем подробнее.

В настоящее время между Байями и Мизенским мысом имеется деревня Баколи (Ва-

coli). Обманутый близкой звучностью к Баули (Bauli), Лоффредо определил здесь место древних Баул, оставив даже без внимания, как упрекает его Белох, что перерождение Баул в Баколи — насмешка над всеми законами этимологии. Мнение Лоффредо, повторенное учеными, поддавшимися его авторитету, понравилось и общественной молве и, таким образом, утвердилось в своего рода догму. Правда, Скотти и Марторелли опровергали его еще в XVIII столетии, а Белох решительно опроверг в конце XIX. Тем не менее, оно еще повторяется по старой инерции — не только безразличными путешественниками, но даже иногда столь скептическими, как П. Гошар, которому как мы увидим ниже, определение Лоффредо пришлось было очень кстати, чтобы уличить Тацита в незнании топографии Байской бухты. Но это одно из самых слабых мест его критики. Раз вообразили здесь Баулы, понятно, нашли и виллу Агриппины — под деревней Баколи, которая, действительно, выстроена над развалинами какой-то огромной виллы: одной из многих, заполнявших в древнее время вершины и скаты этих холмов. Проводни-

ки показывают здесь доверчивым туристам, как главные достопримечательности тюрьмы Нерона (*Cento camerelle*), могилу Агриппины и громадный водный резервуар (*Piscina Mirabile*). Мнимые тюрьмы — какое-то сооружение из системы водохранилищ, которых много в этой местности: самый величественный, наилучше сохранившийся и типичный памятник их — *Piscina Mirabile*; всякий, кто отдал когда-нибудь Неаполю дань туриста не слишком лениво и поверхностно, конечно, спускался в эту цистерну. Неизгладимо впечатление ее влажного склепа, мрачно спящего в зеленом лесу дряхлых колонн. Мнимая гробница, т.е. мавзолей Агриппины (*Sepolcro di Agrippina*) — остатки небольшого театра.

Плиний в своем описании Неаполитанского залива ясно указывает положение Баул между Байской пристанью (*Porto di Balìa*) и Маричелло, т.е. Лукринским озером: *Misenum, portus Baiarum, Bauli, lacus Lucrinus*, — которое в древности называлось также Байским озером, *lacus Baianus*. Именно так слывет оно у Тацита (*Ann. XIV. 4.*). «Баулами называется

вилла, находившаяся на изломе морского залива между Мизенским мысом и Баянским озером». Указание на «изгиб морского залива» (*flexomari adluitur*), на «лукоморье», подходит по форме здешнего берега, только к местности между Байями и Лукринским озером. Наконец у последнего же помещает Баулы Симмах: *Vauli Lucrina sede.* — Местности эти, замечает Сильваний, — значительно изменили с того времени вид свой. Лукринское озеро, в древности знаменитое, как устричный садок, и составлявшее часть Юлиева порта (*Julius Portus*), сооруженного М. Випсанием Агриппой, было почти засыпано могучим извержением 1538 года, которое подняло над ним новую гору, *Monte Nuovo* и разрушило плотину, отделявшую озеро от моря.

По всем вышеуказанным данным, Белох размещает Баулы на нынешнем *Punta dell'Epitafio* (мыс Надгробия) и на высотах, которые на запад от Лукринского озера разделяют его с Авернским. Баулы стояли при дороге на Геркуланум и, вероятно, возникли на месте древнего скотопригонного двора. Имя их произошло из греческого *βοαυλία*, что подало

повод поместить Баулы в легенду о походе Геркулеса за быками Гериона, дважды встречаемую у поэтов — Силия и Симмаха:

Здесь бог Алкид дал стоянкой быкам передышку,

**Отнятым у Гериона, трехтелого лара,
Ну, а потомство, испортив Voaulia, кличет
Место Баулами: вот тайный названья на-
мек.**

(Nec deus Alcides stabulanda armenia coegit,
Eruta Geryonis de lare tergemini,
Inde recens aetas corrupta Voaulia Baulas
Nuncupat, occulto nominis indicio).

Баулы были местечком довольно значительным и даже, может быть, самостоятельным городком. По крайней мере так позволяет думать список городов Кампании у Плиния и некоторые надписи, которые любопытствующий читатель может найти у Белоха. Здесь на Punta dell'Epitafio возвышался храм Венеры Лукринской, воспетый Стацием и Марциалом.

В Баулах, на берегу Лукринского озера, находилась историческая вилла оратора Кв. Гортензия, знаменитая своими рыбными прудами.

дами. Здесь он воспитывал мурен, из которых одну так любил, что даже плакал, когда она подохла. Потом эта вилла принадлежала Друзу Старшему, супруга которого Антония обладала теми же вкусами, как Гортензий. Свою любимую мурену она украсила серьгами, и эта нарядная рыба так интересовала публику, что — говорит Плиний — многие приезжали в Баулы только ради того, чтобы посмотреть мурену в серьгах. От Друза вилла перешла к внучке его Агриппине, матери Нерона. Это и есть вила в Баулах, на которую Нерон проводил мать, по приезде ее в Байи.

Дворец самого Нерона возвышался над морем, там, где ныне холм Замка (Castello di Baia) и Masseria Giudice. Она была знаменита своими лесами, горячими ключами в миртовых рощах и огромным прудом (Stagnum Neronis). Этот последний Белох помещает на северном подножии холма, у нынешней гостиницы «Виктория»: больше негде ему быть. Параллельно берегу, между замком и Punta del Fortino vecchio, в море мелком, но спокойном и защищенном от сирокко, тянулся устричный парк (Ostriaria). Судя по описани-

ям прибытия в Байи Агриппины у Тацита и Светония, ее яхта пристала в общем порте, — он же и ближе к Баулам. Но не может быть сомнения, чтобы дворец Нерона не имел какой-либо собственной пристани, хотя бы, — что вероятно, по характеру берега, — и мелководной, для маленьких шлюпок и катеров, которые переносили цезаря и его придворных на стоящее в заливе крупные, с большой осадкой, суда Мизенского военного флота. Чья раньше была эта вилла? По-видимому, она лежала, хотя и высоко, но ниже виллы Юлия Цезаря, который, согласно обычаю своей воинственной и опасной эпохи, поднял свой замок на самой высоте горы, венчающей залив Байский. Цицерон выразился однажды, что Цезарю принадлежит лучшее место Байского залива: *optimos Baias habebat*. Белох думает, что это — «Байская Претория» (*Praetorium Vais*), где в марте 46 года жил на отдыхе Клавдий, и Старые Байи (*Veteres Baiae*), где в июле 138 года умер Гадриан. Дворец Нерона должен был распространить усадьбу свою по горе ниже Юлиева замка. Вершины все были заняты виллами-крепостями, возникшими во

время воинственной роскоши республиканских «династов»: Лукулла, Помпея, Антония, и знати, которая за ними тянулась и им подражала. Нерон очень любил Байи и много для них делал. При нем Байи получили свою окончательную физиономию. После него подверглось реставрации много старых зданий, но новые постройки возводились лишь в ограниченном числе. Очень трудно найти в Байях постройку эпохи после Флавиев, которые подражали Нерону. Даже здания, воздвигнутые Александром Севером, — не более как реставрации сооружений неронического века.

Тацит утверждает, что Агрипина была предупреждена каким-то доброжелателем из Нероновой свиты об опасности, ей грозящей. Поэтому, приглашенная императором на пир, она не посмела довериться морю, хотя сын предоставил в ее распоряжение разукрашенную яхту, с экипажем военного флота, честь, которой опальная императрица была лишена со времени ссоры с Нероном из-за Актэ. Она отправилась в Байи сухим путем, на носилках. Но в Байях страх ее быстро рассеялся.

Нерон показал себя великим актером на житейской сцене. Он принял Агрипину с истинно сыновней лаской, на пиру посадил ее даже выше самого себя и, казалось, не мог наговориться с ней — то с детским простодушием болтая всякий вздор, то с глубокомысленным видом переходя к государственным вопросам. Пир затянулся до глубокой ночи. Агрипина встала из-за стола немножко навеселе. Нерон проводил мать к роковой яхте, нежный и почтительный, как никогда раньше: обнимал ее, прижимал к себе и даже — верх ласки, по понятиям римлян, — целовал в глаза. Словом, довел свое природное актерство до такого совершенства, что, даже твердо убежденный в беспредельной низости его натуры, Тацит сомневается: «был ли это верх притворства, или и его зверский характер поколебался при виде матери, идущей на смерть».

IV

Агрипина взошла на яхту. Из собственной свиты ее, с ней остались двое: камер-юнгфера Ацеррония и некий Креперей

Галл. Агрипина улеглась на подушки, по-

ложенные на палубу, под высоким балдахинном. Ацеррония, сидя у ног своей госпожи, поздравляла ее с раскаянием сына, пророчила дни новой радости и счастья. Корабль вышел в море... «Ночь блистала звездами, море было гладко и спокойно, как будто боги хотели, чтобы злодеяние было очевиднее».

Вдруг, по свистку Аникета, на палубу рушится с мачты огромная глыба свинца. Отскочив от балдахина, она пришибает насмерть Креперея Галла. Палуба провалилась, но императрица и Ацеррония остались невредимы, накрытые балдахинном, благодаря его неожиданной прочности. Одновременно с провалом должна была рассестись пополам вся трирема, но механизм плохо действует. В замешательстве, Аникет, чтобы опрокинуть судно и довести искусственное кораблекрушение до конца, — велит матросам столпиться к одному борту. Часть матросов, посвященная в заговор, исполняет приказ адмирала; другие, повинаясь здравому смыслу и инстинкту самосохранения, спешат восстановить равновесие. Общая суматоха, испуг, недоумение. Привычная к заговорам и злоде-

аниям, Агриппина сразу отрезвела и сообразила, в чем дело. Храня молчание, она незаметно соскользнула в воду и тихо поплыла к берегу. Ацеррония, думая, что несчастье — дело случая, — в жажде скорее спастись, прибегает к самозванству, зовет из-под балдахина: «Помогите! помогите! я мать вашего императора!» В ответ на нее посыпался град ударов веслами, баграми, всем, что попало под руку, — и несчастная умолкла навеки. Агриппину, между тем, приняли в лодку рыбаки, спешившие на шум кораблекрушения; в суете катастрофы, она отделалась лишь легкой раной в плечо. Достигнув берега, императрица идет на свою виллу, при Люкринском озере. Здесь, повторяя в памяти подробности кораблекрушения, она уяснила себе адский план Нерона. Взвесив данные своего положения за и против, Агриппина пришла к тому выводу, что из ужасной ловушки, куда ее заманили, ей остается лишь один выход, как будто спасающий от дальнейших покушений — по крайней мере, немедленных: надо притвориться, будто она ничего не знает и не подозревает.

Она отправила к Нерону своего камердинера, вольноотпущенника Агеррина, с поручением сообщить императору, что, по милости богов и его государева счастья, она избежала величайшей опасности. Быть может, как представляет дело Фаррар, она рассчитывала при этом на раскаяние Нерона. Матереубийцей стать не легко, и, избавленный от страшного греха, который навязал было себе на душу, сын не осмелится повторить свою преступную попытку. Другие, наоборот, видят в посылке Агеррина дерзкую браваду Агриппины, насмешку и угрозу матери, доведенной до отчаяния, возмущенной до отречения от сына; в таком смысле принял ее и сам Нерон. Во всяком случае, гнев и негодование

Агриппины были настолько сильны, что она не понадеялась на себя, что сумеет сохранить самообладание при личной встрече с сыном. Поэтому в поручение Агеррина входило также просить императора, чтобы — несмотря на беспокойство, которое естественно должен ощутить он при известии о смертельном испуге и болезни матери, — он ожидал приезжать к ней, так как ей необходим

покой. Отправив Агеррина, императрица продолжала притворяться совершенно беспечной, перевязала свою рану, обложилась компрессами, — также позаботилась немедленно охранить посмертные права покойной Ацеррони, приказала, чтобы нашли ее завещание и сделали опись ее имуществу. «Только это было непритворно!» насмешливо замечает Тацит, намекая на страсть корыстолюбивой Агриппины получать наследства от своих приближенных: ведь, именно, в силу такой жадности, она и не допустила свою приятельницу Юнию Силану выйти замуж за красавца Африкана, — Силанины денежки улыбались ее самой.

Нерон еще не настолько пал нравственно, чтобы равнодушно ожидать исхода злодеяния. Он не спал всю ночь, рассчитывая по водяным часам моменты трагедии, заказанной им Аникету. Что все совершится как по-писанному, он не сомневался. И Аникет ручался за успех, и сам император, конечно, не раз уже видал эффект проектированного кораблекрушения на сцене — и всегда вполне удачно; с чего бы, казалось заупрямиться машине и

теперь? Наконец Поппея — его, совсем его! Как она терзала его! как оскорбляла презрительной скупостью на ласки, всегда сухая, холодная, вынужденно покорная, точно и не любит вовсе. Теперь он властен придти к ней и с гордостью сказать: желание твое исполнено; мать не станет больше между нами! — и то-то роскошный прием она ему приготовит...

Но вот — ночную тишь оглашает смутный гул. Громкие голоса, топот... Свершилось!.. Он ждет этих вопящих, топочущих людей, что с плачем и причитаниями спешат наперерыв сообщить осиротевшему сыну горькую весть о смерти матери, — ждет, готовый, в ответ, разыграть целую трагедию ужаса и отчаяния, удивить мир своими рыданиями, бурным взрывом запоздалой сыновней любви, кающейся в прошлых обидах... Факелы блещут, воющая толпа приближается и... ушам не веря, Нерон слышит грозную новость: Агриппина жива и невредима; она уже на своей вилле и все знает.

Внезапно грянувший удар ошеломил Нерона и выбил его из колеи. В диком страхе, совершенно потеряв присутствие духа (ravage

еханіміс), матереубійца доходить чуть не до галлюцинацій: ему мерещиться, що вот-вот явиться она, швидка на месть, вооружит рабов, возмутит солдат, отдасть себе під покровительство сенату і народу, розкаже всім о гибелі корабля, о своїй рані, об умерщвленні своїх друзей. Як бути? Що підприємлять? А ось, допоможуть Сенека і Бурр. Послати за ними!

Невідомо, освідомлені ли були міністри Нерона о замысли проти Агриппіни раніше, но тепер, когдa імператор посвятив їх в події текущої ночі, невдача преступлення застала їх так же врасплох, як самого Нерона, і обa мудреца струсили не менше цезаря. Після довгого мовчання, вирішують: скверно, що справа начато, но — раз начато — надо его закончить. Нерон, пожалуй, прав: если сегодня не умертвить Агриппину, завтра Агриппина умертвить Нерона — і тогдa всім буде худо. Помявшись несколько минут, великий учитель стоїческої моральності, Л. Анней Сенека перший предложил Бурру, як префекту преторіанцев, послати взвод солдат, чтобы довершити матереубійство. Бурр

возразил, что не ручается за повиновение гвардейцев. Они, вообще, преданы всему дому цезарей и не захотят поднять руки ни на кого из его членов; а тут еще дело идет о дочери Германика, гвардией боготворимого. Пусть — кто заварил кашу, тот ее и расхлебывает. Аникет начал дело — Аникету его и кончать.

Этот не унывающий висельник готов на все, — его ничем не смутишь. Он забирает нескольких дюжих матросов, под командой триерарха (капитана) Геркулия и флотского центуриона (мичмана) Обарита, и спешит на виллу императрицы. Нерон патетически восклицает ему вслед:

— Только сегодня я начинаю быть императором, — и кому же обязан тем? Вольноотпущеннику!

При столь зловеще-знаменательной фразе, министры должны были чувствовать себя более чем неловко, и лица их, по всей вероятности, вытянулись весьма нерадостно. Но Нерону не до их объяснений и препирательств. Он, в толпе своих приспешников, измышляет лазейки — где бы найти призрака извинения

для готового свершиться убийства.

Докладывают о прибытии Агеррина с письмом от императрицы. Нерона осеняет идея. Изумленного, ничего не понимающего, камердинера Агриппины арестуют, как покусителя на жизнь государя. Покуда Агеррин передавал цезарю свое поручение, Нерон собственноручно бросил к ногам посланца меч и поднял крик, будто слуга императрицы сделал на него нападение. Таким образом, выход найден, — правда, грубый, наглый, шитый белыми нитками, но теперь не до тонкостей. Время, когда обдумывали «изящное» таинственное убийство, минуло, — теперь спасают свою шкуру и злодействуют наголо. Смерть Агриппины решено приписать самоубийству, которое императрица-мать совершила якобы в ужасе, что замысел ее против сына не удался, преступление открыто и наказание неизбежно.

Тем временем Аникет — разбойник наглый, презирующий маски — пробивается вооруженным строем сквозь народные толпы, пришедшие поздравить Агриппину с чудесным спасением, оцепляет виллу, врывается в

покои императрицы, разгоняет встречных рабов и атакует спальню Агриппины. У дверей часть дворни попробовала оказать сопротивление, но рассвирепевшие матросы легко одолели и перерезали этих немногочисленных защитников.

Императрица не спала. Она лежала в постели, полураздетая, волнуясь недоумением: почему нет никаких известий от сына? где запропастился Агеррин? Из прислуги при ней была лишь одна служанка. Перемежающийся шум драки долетел до слуха Агриппины. Она встревожилась.

— Предчувствие говорит мне о крайнем несчастье! — сказала она служанке. Та ответила, что императрица напрасно беспокоится: шумит народ, окруживший виллу, дабы поздравить мать государя с чудесным спасением.

— Нет, — возразила Агриппина, — этот прерывистый шум говорит не о радости... Это — дерутся в стенах виллы.

Служанка струсила и хотела бежать.

— И ты покидаешь меня? — горько спросила Агриппина. И — на этом слове — в

спальню, чуть озаренную ночником, ворвались убийцы.

Величественнейшая из грешниц римской истории сумела встретить их с царственным достоинством.

— Если ты пришел, — сказала она Аникету, — узнать о моем здоровье, доложи императору, что мне лучше. Если же ты намерен совершить преступление, я ни за что не поверю, чтобы ты пришел от Нерона: не мог он дать тебе приказа — лишить жизни родную мать!

Вместо ответа триерарх ударил ее палкой по голове, а центурион обнажил меч. Агриппина не защищалась. Обратясь навстречу роковому оружию, она подставила под губительный удар живот свой, с криком: «бей сюда!» пала бездыханной, под множеством наносимых ей ран.

Позднейшие писатели, напр, автор «Октавии», а также Дион Кассий, в объяснение этого вопля, молившего, вероятно, лишь о скорой и немучительной смерти, присочинили к нему трагические прибавки: «За то, что это чрево родило чудовище!»... «За то, что это чре-

во выносило Нерона!»

Caedis moriens illa ministrum Rogat infelix,
Utero dirum condat ut ensem:

«Hic est, hic ect fodiendus, — ait, —
Ferro, monstrum qui tale tulit».

Post hanc vocem

Gum supremo mixtam gemitu

Animam tandem

Per fera tristem vulnera reddit.

(Умирая, несчастная молит палача, чтобы вонзил свирепый меч в чрево ее, — Чрево, да, чрево проткнуть надо мечом, — говорит она, — за то, что выносило такое чудовище! После этого вопля, смешанного с последним стенанием, она испускает, сквозь ужасные раны, мрачный дух свой.)

Но, в действительности, Агриппине вряд ли дали время проявить столько красноречия, да и самой ей было не до риторики... Умерла она почти мгновенно, но, — для большей ли верности, для показания ли усердия, просто ли озверясь от вида крови — убийцы изрешетили ее тело страшными ударами... Сбылась и вторая половина Фразиллова гороскопа: сын-император умертвил свою мать.

Так погибла одна из самых интересных и замечательных, — если не самая интересная и замечательная, — женщина древнего Рима. Агриппина — не только огромный характер, она — политический тип и при том редкой цельности. Дошедшая в ее эпоху до зенита своего римская культура как будто нарочно вылила гордый и зловещий образ ее, чтобы оставить его, в поучение всем векам, памятником своего величия, равно недостижимого и в мощи душевной, и в глубине порока. На первой заре Рима, будущего государя его питала своим молоком волчица, в яркий пламенный полдень римского могущества — Агриппина, и эти две кормилицы родственны между собой, через девять столетий.

Лупа — безразлично, обозначает ли слово здесь настоящую волчицу, как гласит легенда, или доисторическую пастушку-проститутку, как гласит толкование легенды — зверь, отдавший молоко своих сосцов, чтобы вскормить начинателей цивилизации: двух разбойников, из которых один стал братоубийцей. Агриппина — живая полубогиня, дочь,

сестра, жена и мать живых полубогов, какими, в конце концов, сделала своих вождей эта железная, хищная, эгоистическая, волчиным молоком вспоенная цивилизация, — является на вершине ее каким-то демоном культурного озверения, живущим среди мраморов Лизиппа и тирских ковров, инстинктами древней вонючей, залитой кровью, волчьей берлоги. Голова министра, страсти ростовщицы, суеверие игрока, тело продажной женщины, язык адвоката, чувствительность содержательницы публичного дома, каторжное мужество венецианского браво, — ум, душа и сердце истинной волчицы, не чуждые некоторой привязанности лишь к своему волчонку, но словно выветренные от прочих общечеловеческих симпатий, — такова Агриппина. Мы видели, что даже половой порок ее — какой-то сверхчеловеческий. Эта царственная куртизанка презирала чувственных сластолюбцев, пресмыкавшихся у ног ее, но пригодных ей лишь затем, чтобы служить ступенями в лестнице к высшим целям. Ее сильный образованный, литературно-творческий ум, равно пленявший блестящего остряка Пассие-

на, гениального фразера Сенеку, скучного педанта-археолога Клавдия и вульгарного проныру Палланта, чуть не с детских лет фабрикует только хитросплетения дворцовых интриг, заговоры, преступления, козни, казни. Трижды кровосмесительница, убийца двух мужей, заговорщица на смерть брата, Агриппина была совершенно лишена родственного чувства, — кроме самой себя, у нее не было родни. В собственном сыне она уже видела настолько чужого человека, что не постыдилась ему навязываться в любовницы. Она безжалостно истребляла вокруг себя потомство Августа и, несомненно, является одной из существеннейших причин полного прекращения Юлио-Клавдианской династии, вслед за бездетным Нероном. Когда Агриппина не министр и не куртизанка, она разбойник; она собственноручно готовит и рассылает смертоносные зелья и сама глотает противоядие, в хладнокровном опасении ежеминутно быть отравленной. Шпионов, подсланных в ее дом Мессалиной, она приказала удавить в своем присутствии. Веревкой, кинжалом, ядом она добывает себе богатство, а богат-

ством покупает себе приверженцев и власть. Она не любит государства, где она — то заговорщица, то императрица, то изгнанница, то регентша, но любит быть главой его и, когда у власти, грабит государство, чтобы кормить опричнину, которой держится власть. Ужаснее всего то, что, теоретически, она не чужда нравственному закону, знает его, умеет разглагольствовать о нем, как блестящий софист, и считает необходимым, чтобы Нерон воспринял начала показной нравственности из уст самого Сенеки. Но, эффектно проделывая в своем салоне умственную гимнастику на модные философские темы — о добродетели, о самопознании, о цели жизни, удивляя слушателей чуткостью к изящной мысли, к благородному чувству, она вслед за тем, переходя от красивых праздничных слов к обыденному делу, со спокойным духом падает до самых низменных нечистот порока. Агриппина — это, как поэт сказал, «лекция богословия, прочитанная чертом». У нее нет веры, но есть фатализм и суеверие. Привычная убивать, она и сама не боится смерти, с холодным мужеством смотрит ей в глаза в минуты

крайней опасности, умеет, молча, вычислить шансы и ходы спасения и — когда уже все рухнуло и погибло — красиво умирает, гордая собой и бесстрашная до конца.

Когда в обществе начинают появляться женщины, подобные Агриппине, это, быть может, наивернейший признак, что общество свершило цикл своего культурного роста, начинает отживать и нуждается в коренной этической и социальной реформе. Эмансипация женщины — вопрос каждой созревающей цивилизации — всегда и всюду свершалась одним и тем же порядком. Инстинктивно воспрняв веяние освободительных начал, женщина уходит от старого строя, сперва — сама не зная куда, не предчувствуя, что будет, гонимая лишь потребностью уйти от того, что было. А было рабство. Уйти от него и растоптать его, растоптать и насмеяться, — вот первый в очереди, практический идеал. Как осуществить его? На первых порах, женщины — если не чрез закон, то чрез обычай, — добиваются тех же прав и положений, какими пользуются мужчины. Этот буйный период женской эмансипации сопровождается

множеством разносторонних крайностей и увлечений; формы их часто резки, пошлы, безобразны и поражают современников ужасом и негодованием. Рим тоже имел своих Кукшиных. Но в то же время бунтовщицам эмансипации удастся уже и завоевать кое-что положительное. Во-первых, они — хотя осмеиваемые и прокливаемые — успели, все-таки, обособить себя в общественном мнении, как отдельный самостоятельный тип, а это уже начало будущей победы. Во-вторых, — пусть даже правда, что, выпроставшись от старо-заветного, рабски-смирненного содержания своего прежнего бытия, женщины на время остаются как бы пустыми сосудами. Это ненадолго. Природа их, как всякая природа, не терпит пустоты: они жаждут воспринять в обновленные меха новое вино — то самое, смутное предчувствие которого наполнило их недавно инстинктивным пророческим буйством, разрушившим старые цепи.

И вот — «Божий дух по всей вселенной летит, как некий ураган!» Нравственная реформа, просачиваясь в культуру, заполняет прежде всего эти опустелые и томящиеся сво-

ей пустотой сосуды. Самостоятельность, отво-
еванная эксцентричными женщинами у ста-
рого общественного строя, дает более свобод-
ные возможности всем женщинам следующе-
го поколения внимать и понимать голос ре-
формы, вещающей новый этический и соци-
альный порядок. Формы самостоятельности,
первоначально лишь внешние, проникаются
глубоким смыслом и ярким светом, и женщи-
ны, их восприявшие, перерождаются чисты-
ми, благословенными экстазами к новой
правде, к новому добру.

Там, где мрачно и грязно созревают Месса-
лины, Агрипины, Поппеи, там, по этой неиз-
менной эволюции контрастов, недалеко уже
св. Перепетуи и Бландины (Ренан). Если бы
римские женщины, как в первые времена
республики, по-прежнему сидели дома и пря-
ли шерсть, христианская реформа, вместо
трех веков борьбы с языческой культурой,
проборолась бы тысячу. Контраст добродете-
ли, противопоставляемой добродетели же, хо-
тя бы истекающей из других нравственных
источников, слаб и неубедителен. Легко про-
верить это по сочинениям христианских апо-

логетов, когда они стараются «подсалить» кого-либо из доблестных язычников. Чтобы стать победоносной, добродетель новой морали должна контрастировать не со старой добродетелью, но со старым пороком. Общество должно быть страшно утомлено распутной свободой куртизанки, чтобы с восторгом понять и признать идеалом святую свободу мученицы.

Нерона апокалипсический Тайновидец, ужаснувшись неистовому разнообразию его пороков, почел Антихристом, Зверем из бездны. По крайней мере, таково господствующее историческое толкование «Откровения» (Ревиль, Ренан и др.). Если бы Тайновидец знал Агриппину, мать, — конечно, нечего было бы и искать иного объяснения мрачной метафоре Блудницы Вавилонской, восседающей на звере, с чашей в руках, полной дымящейся кровью. Но он ее знать не мог.

Исторически порочных женщин в Риме было много и до, и после, но Агриппина — полнее всех законченная коллекция отрицательных качеств римской женщины, развившихся после того, как она, завоевав себе срав-

нительную бытовую свободу, не сумела воспользоваться ей в бездушном, насильнически-чувственном строе империи, иначе как к разврату и злу. В разных Фульвиях, Ливиях, Юлиях, Мессалинах, Поппеях были, конечно, общие с Агриппиной черты. Но поставьте этих женщин рядом с Агриппиной, и Фульвия покажется просто взбалмошной мужик-бабой (*virago*); Ливия, — «Улисс в юбке», как звал ее Калигула, — «синим чулком» специалисткой дворцовой политики, какими, например, была так богата в России эпоха Николая I и первых двух десятилетий Александра II: великая княгиня Елена Павловна, графиня Блудова и т.п.; Юлия — сентиментально-распутной «титанидой» двадцатых или тридцатых годов XIX столетия; Мессалина — полоумной нимфоманкой; а Поппея — заурядной современной флертисткой, которой демонически эффектный ореол придали исключительно отдаление девятнадцати веков, да любовь такого всегреховного чудовища, как цезарь Нерон. За всеми этими именами, — кроме, пожалуй, Мессалины, столь же цельного воплощения половой страсти, как Агриппина — властолю-

бия, — чувствуется еще некоторая борьба охватившего их мрака с какими-то остатками душевного света, хотя мерцающего очень тускло, редко, случайно. Агриппина — сплошной мрак, самодовлеющий, спокойный и гордый собой. Это — порок, чувствующий себя дома, сознающий свое право быть пороком, порок *comme il faut*, со своей особой последовательностью, упорядоченной выдержкой и верностью себе; порок — настолько же цельный и самоуверенный, как цельна и самоуверенна была хвастливо-суровая добродетель Агриппины Старшей. При всем контрасте их нравственных обликов, между матерью и дочерью все-таки странно чувствуется близкое родственное сходство. Они точно два одинаковые органа, один из которых во что бы то ни стало играет строгий хорал, а другой — в такой же настойчивой последовательности — гимн дьяволу. Агриппина — это тьма крошечная, которую просветить — бездна, которую наполнить — могло бы только солнце Христова идеала, и тех пор, как оно зажглось в Риме, Агриппины дробнеют, тают, размениваются на мелочи и, наконец, после двухтрех

веков, исчезают. А возрождаются вновь они — лишь там и в те эпохи, где культура, одичалая в кандалах государства, вконец исказила христианскую реформу и обратила религию Христа в старое государственное язычество, лишь самозванно прикрытое именем Иисуса из Назарета. Довольно цельное историческое повторение Агриппины мы встречаем лишь пятнадцать веков спустя, во Франции, в трагической фигуре Екатерины Медичи, величайшей язычницы обезбоженного папизма и разбойнической династии Валуа. Агриппинами менее широкого размаха кишит история Византии. Пробегая памятью русскую историю, я не могу найти в ней фигуры, близко и цельно подходящей к типу великой римской грешницы. П. Гошар сравнивает ее с Екатериной Второй, уверяя, что близость к «северной Агриппине» дурно отозвалась на суждении Дени Дидро о поведении Сенеки, как соучастника Неронова матереубийства. Из желания явить себя самостоятельным и страха, не заподозрили бы его в лести, Дидро, действительно, оправдывал Сенеку в деяниях, оправдания не имеющих. Но сходство

между Екатериной II и Агриппиной создается скорее цепью внешних обстоятельств, — общностью авантюризма и успешной преступности, чем внутренним сродством двух натур. Обе — жены мужей «скоморохов» (как назвал Петра III Ключевский, а Клавдия Светоний), от которых обе отделались преступлением и узурпацией власти; обе деспотические матери, вырастившие сыновей, трусливых пред матерями до ненависти. У Нерона последняя выразилась физическими убийством. То, что творилось вокруг еще живой Екатерины после постигшего ее смертельного апоплексического удара, унижительные выходки посмертного мщения, окружившие уже ее похороны и продолжавшиеся все пять лет Павлова царствования, можно смело назвать матереубийством моральным, убийством материнской памяти. Подобно тени Агриппины в «Октавии» лже-Сенеки, тень Екатерины могла бы сказать о посмертной судьбе своей:

Sanguine extinxī meo

Nec odia nati: saevit in nomen feros

Matris tyrannus, obrui meritum cupit,

Simulacra, titulos destruit matris metu

Totum per orbem quem dedit poenam in
meam

Puero regendum noster infelix amor.

(Даже смертью своей не потушила я ненависти сына: свирепый тиран свирепствует против самого имени матери, стремится изгладить из памяти людей заслуги мои, из страха к матери разрушает статуи и надписи в честь мою на всем земном круге, который, на беду мою, отдала ему в управление несчастная наша любовь.)

Но Екатерина Вторая, для полного сходства с Агриппиной, была одновременно и слишком женщина сердцем и прочим телом, и чересчур усердно рассуждающий, гибко применяющийся к обстоятельствам века, книжке и образованному приятельству верующий мужчина — умом. Агриппина много уже, суше, более прямолинейная и без того настоящего исторического честолюбия, которое так ярко светит в Екатерине Второй и которое сделало ее основательницей династии, тогда как семейно-честолюбивые усилия Агриппины имели результатом, что династия погасла. Агриппина — женщина латинская, без следов

добродушия, сентиментальности, шарма, которыми умела очаровывать Екатерина — обязательная женщина севера — даже людей, против нее предубежденных, и при обстоятельствах, совсем для нее невыгодных. Екатерина Вторая имела в природе своей нежные чары, благодаря которым к ней приковывались дружбой и любовью люди необыкновенные, гениальные. В калейдоскопе дружб ее прошли все самые блестящие умы Европы, с Гриммом, Дидро и Вольтером включительно. Среди фаворитов ее колоссом поднимается необыкновенная фигура Потемкина и такой, в конце концов, «порядочный» (соответственно условиям века) человек, как Григорий Орлов. Агриппина умерла без друзей, а любовниками ее всегда были — с титулами или без титулов, ученые или безграмотные — лакеи. Екатерина Вторая глубоко понимала и высоко ценила существо власти. Агриппина смешивала власть с обожествленным самодурством. Екатерина не была ни кровожадна, ни мстительна по природе; все ее темные поступки — результаты ее самозащиты, как случайной и новой государыни. Агриппина —

тигрица по крови, яростная, мелочно-злопамятная. Все ее преступления — личные и по большей части ничуть не необходимые даже в рассуждении самоохраны. Их диктовали ненависть и чудовищная алчность: страсть, Екатерине также не свойственная. Необычайный государственный талант Екатерины сказался не тогда, когда она захватывала власть авантюрой «петербургского действия», но в том, как она захваченную власть удерживала, делала сильной и популярной в нужных ей классах империи: дворянстве и войсках. Агрипина была чуть не гениальна как заговорщица, и никуда не годилась как правительница. Ее достало на то, чтобы захватить власть, но не нашлось в ней ни ума, ни таланта, ни государственной задачи, ни сознательных желаний исторического честолюбия, чтобы власть удержать и соблюсти в ней свое женское и царственное достоинство.

Царевна Софья Алексеевна ближе к Агрипине как тип властолюбия, но в ней не было порочной цельности, окостенелой самоуверенности греха. Не одну себя любила она — запоздалая византийская царевна — когда

вступила на путь семейных преступлений. По ограниченности теремного образования своего и по новости и неожиданности своей женской свободы, она искренно верила, что ее куцый и наивный, устарелый «царский» идеал Пульхерии или Феодоры — откровение для московской современности, что она творит большое государственное дело, охраняет Русь и утверждает ее к великим и положительным целям. И в решительный момент борьбы с Петром она оказалась — чего никогда не могло быть с Агрипиной — начисто и на просто женщиной: разорвалась душой между преданиями московско-византийской легенды, дальше которой смотреть и через которую перешагнуть не сумела, и между настоящей, нежной, женской, простоволосой, простонародной страстью к «милому другу Васеньке». Мал был масштаб московского царства и узок размах теремной Москвы, чтобы вырабатывать железные характеры мироправящих грешниц. Те из них, кто напрашивается более или менее на римские параллели, по большей части, обруселые иностранки: Екатерина Вторая, Елена Глинская, о которой сохра-

нились те же предания, что о Мессалине, Софья Витовтовна, Софья Палеолог. Но все они — маленькие, узкие, грубые статуэттки, в которых, конечно, любопытно, но по большей части жалко и порой смешно узнавать сходственные черты великих римских статуй. Между ними почти то же человеческое родство и та же разница культурного уровня, как между героями Тацита и героями толстовской «Власти Тьмы». Величию и цельности порока Тацитовой женщины русская летопись зеркал не подставляет. Разве — Марина Мнишек, так хорошо понятая великим знатоком Тацита А.С. Пушкиным? Так она была полька. В правящих классах Польши, созданных латинской религией и латинской культурой, зеркало отражало Рим чаще, и образы были много ярче и резче. Польша имела своих «римлянок» и в доблести, и в пороке. Но цельной Агриппины и у поляков не повторилось. В конце концов, она — типически расовый человек: грозная победительница мира, латинская кровь во всей ее эгоистической простоте и прямолинейно требовательной силе.

VI

Поведение Нерона после смерти матери крайне странно. Повидимому, он не ощутил ни чаемого торжества, ни свободы, которой добивался. Главный мотив преступления, страсть к Поппее, временно как бы теряет над ним власть: цезарь женится на своей красавице лишь тремя годами позже. Отправляя Аникета на убийство, он радостно хвастался, что вот теперь-то он почувствует и покажет себя настоящим императором. Но когда Аникет совершил свое кровавое дело, Нерон неожиданно ослаб, как будто только теперь постигнув весь ужас своего греха. Тацит рисует его в эти часы не победоносным тираном, но преступником, потерявшим голову от страха. «Остальную часть ночи провел он в полусумасшествии: то погружался в мрачное безмолвие, то вскакивал в ужасе и дожидался вместе с рассветом последнего часа». Задремав на короткое время, он увидел сон, чего ранее с ним никогда не бывало. Чтобы ободрить Нерона, Бурр приказал центурионам и трибунам почетного караула поздравить цезаря с избавлением от опасности. Труп Агрипп-

пины был сожжен в ту же самую ночь. По преданию, за достоверность которого Тацит не ручается, но которое признают Светоний и Дион Кассий, — пред погребением Нерон пришел взглянуть на труп матери. В припадке какого-то сумасшедшего юмора, он цинически разбирал сложение покойницы и заключил критику дикими словами:

— А я не знал, что у меня такая красивая мать... Однако, дайте-ка мне чего-нибудь выпить?

Но вслед затем он опять впал в глубокое уныние, трепетал и галлюцинировал. Берега, где свершилось убийство, ему опротивели; море, оскверненное фальшивым кораблекрушением, его ужасало. Ему чудились звуки судных труб, гремящих по окрестным холмам; к нему неслись горькие стоны с могилы матери. Он переехал из Байи в Неаполь и оттуда послал сенату оправдательное письмо, отредактированное, по обыкновению, Сенекой. Однако, и в Неаполе ему пожилось недолго. Полтора-два часа расстояния — не защита от призраков для совести, омраченной матерью-убийством. Ведь, с неаполитанского Вомеро,

не говоря уже о Сан-Мартино или Камальдо-ли, видна вся излучина залива, до самого Мизенского мыса. Будь у Нерона зрение лучше, он мог бы различить невооруженным глазом холм над могилой Агриппины, воздвигнутый ее дворней близ Мизенской дороги, на высоком перевале, подле исторической виллы Юлия Цезаря. Нынешний так называемый *serolcro di Agrippina* не имеет ничего общего с этой могилой. Этот мнимый мавзолей — не более как развалина маленького театра. Агриппину похоронили где-то между нынешними Карананте (*Carannante*) и Скамарделла (*Skamardella*). Это — единственный пункт дороги из Байи к Мизену, — а дорога и теперь та же, что в древности, — откуда виден весь Неаполитанский залив, равно как и Гаэтанский.

Среди всеобщих поздравлений и сочувственных демонстраций Нерон, в трауре, скитался по городам Кампании, оплакивал мать, говорил, что жизни не рад, и хотя сильно при этом театральничал, но, кажется, действительно чувствовал себя прескверно. Как характеристика его настроения в эти дни, у него вырвалась в письме к сенату сильная

фраза, слишком искренняя, чтобы быть сочиненной посторонним лицом, хотя бы и красноречивым Сенекой. *Salvum me esse adhuc non credo nec gaudeo*; что я вне опасности, до сих пор еще не верю, а если и так, какая мне в том радость? Квинтилиан, сохранивший эту строчку, как образец эффектной конструкции, положительно приписывает ее Нерону. Да она и во вкусе Нерона: приподнятая, веская, внушительная, как афоризм, она звучит подобно стиху из древней трагедии.

Видемейстер, автор старого, но до сих пор примечательного труда о душевных болезнях цезарей Юлио-Клавдианской династии, считает данный момент весьма важным для определения психического недуга — периодической мании, жертвой которой Нерон, по мнению Видемейстера, становился трижды в жизни. Не следует, однако, слишком увлекаться гипотезой сумасшествия Нерона. Видемейстер настаивает на его помешательстве с тяжеловесным педантизмом психиатра старой школы, еще не толковавшей ни о неврастениках, ни о дегенератах, ни о преступной расе, ни о тому подобных новейших измыш-

лениях науки за сорок лет, которые отделяют нас от выхода в свет «Безумия цезарей». Даже отстраняя совершенные Нероном злодеяния, нельзя вообразить его психически нормальным, когда вспомним, какая в нем текла отравленная кровь, какое нелепое воспитание получил, как дико и и безалаберно, беспутно и пьяно прошла его молодость. Но от аномальности до сумасшествия, требующего себе регистрации скорбным листом желтого дома, остается еще огромное расстояние. Если бы Нерон предстал перед нашим уголовным судом, самый строгий жрец современной психиатрии затруднился бы, ставя ему экспертизу, уступить ли его каторге, или потребовать к себе в лечебницу, как невменяемого. Говоря правду, на наших концертных и балльных залах можно найти десятки и даже сотни крохотных Нероников, отличающихся от своего колоссального первообраза лишь тем, что злоба их, страстишки и чудачества во столько же раз жиже его свирепости, страстей и странностей, во сколько домашний котенок мельче бенгальского тигра, а чин надворного советника или коллежского секретаря ниже

сана римского императора. Но если бы самый снисходительный психиатр современной школы приглашен был Сенекой или Агриппиной освидетельствовать Нерона в годы его юности, когда еще и намеков не было на какое бы то ни было душевное расстройство, — он, конечно, посоветовал бы зорко следить за молодым человеком, как дегенератом-неврастеником, да еще на алкоголической почве. Нерон не безумный, но он то и дело скользит на границах психоза, и только огромный запас физического здоровья спасает его до поры до времени от перехода через эту границу. Видемейстер в угнетенном состоянии Нерона после убийства матери видит первичную меланхолическую стадию периодической мании. Я полагаю, что совсем не надо быть сумасшедшим, чтобы, убив свою мать, растеряться пред ужасом совершенного преступления, трепетать гнева богов и людей, иметь совсем не праздничное настроение духа. Приписывать порыву безумия самое убийство Агриппины нет никакого основания. Подобно отравлению Британика, это — рассудочное, политическое убийство, к тому же задуман-

ное и решенное не единолично Нероном, но целой партией недовольных. Мы видим, что шли совещания, как сбыть Агриппину с рук, и историки не уверены, не принимали ли в совещаниях этих участия Сенека с Бурром, люди достаточно опытные, чтобы различить сумасшедшего человека от здравомыслящего и суметь, в случае надобности, положить предел безумному капризу. Несомненно, что политическую ненависть много обостряло раздражение влюбленного, и что, без этого, быть может, дело свершилось бы в формах если не менее кровавых, то более обдуманых и сокровенных. Однако, влюбленное бешенство могло лишь ускорить гибель Агриппины, заставить нетерпеливого Нерона искать услуг разных Аникетов, вообще создать делу компрометирующую обстановку. Но вообще-то, помимо всякого бешенства, участь императрицы-матери была решена уже два-три года назад. Ее необходимо было удалить от кормила государственного корабля, а в то жестокое время — и, в особенности, когда вопрос касался такой опасной и могучей женщины — желанной и действительной устроительницей

считалась только смерть. Избиение родни в римских знатных фамилиях первого века было явлением столь распространенным, что закон устал уже считать его преступлением. Скоропостижные и таинственные смерти вызвали серьезное следствие лишь по явному доносу или когда на то была воля государя, желавшего, под предлогом уголовного преследования, избавиться от политического врага, либо сократить жизнь богача и воспользоваться его наследством. Таким образом сплавляли в вечность или в бесправное изгнание мужчин. Женщин обвиняли в прелюбодеянии, что, по нравам эпохи, было так же легко, как если бы сейчас обвинять в курении табак. Но нравы — нравами, а карательные законы-то оставались старыми или даже — подновляясь — усугубляли свою суровость (*lex Claudia*). И именно это несогласие властной правовой этики с современной практической моралью и порождало широкий произвол власти, предоставляя ей на выбор — когда придать значение греху, когда нет. Чтобы не делать процессов о прелюбодеянии посмешищем толпы — в виду повального распростра-

нения порока — обвинители, обыкновенно, выбирали для доноса какие-нибудь вычурные формы греха, осложненные отягчающими вину обстоятельствами: кровосмешение, сожительство с рабом и т.п.

Как бы подлы ни казались люди, окружавшие Нерона, однако, если бы они не были соучастниками преступления, из среды их могли бы прозвучать два-три протеста против совершенного матерубийства. Ничего подобного! Погребальный костер Агриппины был почтен самоубийством всего лишь одной жертвы, сохранившей верность гению покойницы: пронзил себя мечом вольноотпущенник императрицы, Мнестер, — да и то скептический Тацит оговаривает: вероятно, струсил, что теперь ему придется худо. Преторианцы, которыми Агриппина так грозно запугивала Нерона, первые поздравили императора с избавлением от злодейки-матери. Неронианцы ходят по храмам, служат молебны, возносят обеты. Города Кампании отправляют к императору поздравительные делегации, совершают жертвы. Провинции шлют льстивые адреса. Сенат римский, получив письмо Неро-

на с оправданиями, составленными или, скорее, отредактированными Сенекой, тоже определяет молебствия в храмах всех богов, обращает квинкватрии в ежегодный гражданский праздник в память спасения государя, воздвигает в курии золотые статуи Нерону и Минерве, объявляет день рождения Агриппины проклятым в календаре. А еще не минуло и года тому, как день этот был табельный, и алтари, посвященные Чести и Согласию, курились торжественными жертвами за здоровье вдовствующей императрицы, в присутствии всех высших властей, в парадных тогах, при знаках отличия!.. Холопские постановления сената прошли дружным голосованием, без разноречия. Правда, известный стоик-оппозиционер Тразеа Пет, когда оглашено было письмо Нерона, встал и вышел из курии, демонстративно уклонившись от подачи голоса. Но этот протест явился таким одиноким и произвел так мало эффекта, что даже Тацит, для которого Тразеа — идеал гражданина, в этом случае говорит о нем не без упрека: «Себе Тразеа создал тем причину гибели, а другим не доставил эры свободы».

Тацит указывает, что негодование общества обращено было не столько на Нерона, сколько на Сенеку, как автора или редактора письма к сенату с нападками на Агриппину. Однако, если исключить из этого письма лганные о кораблекрушении и подсылах Агеррина для сыноубийства, все, что сказано в нем о властолюбии Агриппины, о притязаниях ее на соправительство, о зловещей роли ее в правление Клавдия, об истреблении ей нескольких богатых и знатных фамилий, — совершенно справедливо. Быть может, сенат подвинули на овацию Нерону не только лесть и лизоблюдство, но и надежды, что, — став совершенно самостоятельным, за гибелью властолюбивой и всем ненавистной матери, — цезарь, который, вне своих семейных расчетов, покуда ничем не запятнал себя по отношению к своим подданным, явится теперь именно тем добросовестно конституционным государем, какого обещали первые его юношеские шаги и тронная речь. Ведь, благодаря либеральной программе Нерона, сенат временно получил, давно ему неизвестную, свободу действий. Тацит приводит некоторые

самостоятельные постановления сената, получившие законодательную силу, вопреки противодействию Агриппины: об уничтожении адвокатских гонораров, об отмене обязательства давать гладиаторские игры лицам, назначаемым на квесторскую должность. Речи Нерона в сенате были всегда благородны, поступки мягки, великодушны. Он не любил политических процессов. Он возвратил сенату некоторых знатных изгнанников, и они, с друзьями и родней своими, конечно, создали за то цезарю, между «отцами республики», значительную партию сторонников, искренно преданных и благодарных. И в настоящее время, пребывая с Кампанией, он старался проявить себя милосердным к тем ссыльным, кого гнала покойная Агриппина. Так, возвращены в Рим: Юлия Кальвина, неповинно изгнанная, одиннадцать лет тому назад, за мнимое кровосмешение с братом своим, первым женихом императрицы Октавии; Кальпурния, десять лет маявшаяся в ссылке только за то, что принцепс Клавдий, однажды, спяну, похвалил ее красоту; бывшие преторы — Валерий Капитон и Лициний Габала, провинно-

сти которых неизвестны. Была бы возвращена и Юлия Силана, но она умерла незадолго пред тем в Таренте, куда вернулась из дальней африканской ссылки самовольно, прослышав, что влияние Агриппины пошатнулось; зато Итурий и Кальвизий, клиенты, пострадавшие вместе с ней, были немедленно избавлены от наказания. Милуя живых, Нерон не забыл и мертвых. Одной из наиболее жалких жертв Агриппины была Лоллия Паулина, дама из самой высшей аристократии, дочь и внучка консулов, супруга Меммия Регула, а потом, временно, императора Кая Калигулы. По умерщвлении Мессалины, когда пришлось подыскивать Клавдию новую супругу и каждый из трех вольноотпущенников-фаворитов — Нарцисс, Каллист, Паллант — рекомендовали в невесты свою кандидатку, Лоллия Паулина явилась опасной соперницей Агриппины. За последнюю стоял Паллант, министр финансов, за Лоллию — Каллист, главноуправляющий комиссией прошений (*a libellis*). Кроме красоты, знатности рода и несметных богатств, в пользу Лоллии говорили ее бездетность и мягкий харак-

тер, обещавший, что она будет Октавии и Британику кроткой мачехой. Одолев своих соперниц, Агриппина не позабыла с ними расправиться впоследствии. Лоллия Паулина была обвинена в колдовстве, в гаданиях у халдейских магов, а также — будто она посылала спросить оракул Аполлона Кларосского, кому суждено стать супругой цезаря Клавдия. Покорное орудие воли Агриппины, Клавдий, даже не выслушав обвиняемой, настоял в сенате на изгнании Лоллии Паулины из Италии и конфискации ее имущества. Оставлено ей было всего пять миллионов сестерциев, то есть около 500.000 рублей серебром. Для женщины, которая попала в «Естественную Историю» Плиния по минералогическому отделу за то, что одна лишь парюра ее из бриллиантов и изумрудов стоила два миллиона рублей, это было равносильно нищенству. Но Агриппине и того оказалось мало: она мирилась только с мертвыми врагами.

На пути к месту Лоллию нагнал военный трибун — с приказом государя наложить на себя руки. Голова Лоллии, говорят, была доставлена Агриппине, а та не только злорадно

рассматривала безобразный обрубок трупа, но, запустив палец в рот мертвой красавицы, пересчитала ее зубы, сопровождая надругательство скверными остротами. Агриппина не подозревала, что за издевательство над прахом Лоллии, ей самой оплатит со временем той же монетой цинического осмотра и грязных шуток ее собственный сын. Останки Лоллии десять лет лежали на чужбине. Нерон не только разрешил перевезти прах несчастной красавицы в Рим, но и воздвигнуть над ее могилой монумент.

Несмотря на подкупы знати льготами и милостями, несмотря на благоприятные донесения о настроении сената, Нерон опасался ехать в Рим. Но четырехмесячное скитание по Кампании надоело его свите, и эти, по крепкому выражению Тацита, «сквернейшие люди, которых никакой двор не распложал более», убедили его, наконец, возвратиться в столицу. Как ни бранит их Тацит, а «сквернейшие люди» оказались правы: бояться Нерону было решительно нечего и некого. Церемония цезарева въезда в Рим обратилась в настоящий триумф. Сенат в парадных тогах,

представители городских триб и громадные массы черни вышли навстречу императору далеко за город. Вдоль пути цезаря выстроили шпалерами женщин и детей — настоящий живой цветник, подобранный по возрасту и росту. Нарочно выстроенные огромные платные трибуны ломались от публики. Толпа редела, рукоплескала, сыпала цветы. Нерон, торжественный и великолепный, подобно полубогу, по розам проехал в Капитолий и совершил благодарственное молебствие.

Кажется, он сам был поражен размерами своей неожиданной популярности. Правда, из толпы, вместе с воплями восторга, летели по адресу цезаря и колкие шуточки, но их добродушная злость только увеличивала сходство между торжеством Нерона и настоящим триумфом. Правда, на форуме нашли подкидыша, с запиской на шее, лаконически гласившей: «выброшен, чтобы не убил своей матери», а на нескольких статуях Нерона оказались надетыми мешки — намек на старинное наказание, когда отцеубийц зашивали в один мешок со змеей, кошкой и обезьяной и бросали в воду. Но, во-первых, это были, конечно,

шутки немногочисленных агриппианцев и старой республиканской оппозиции. А во вторых, цезари, вообще, не принимали слишком близко к сердцу обид народного остроумия. Если народ смеется и острит, значит, он спокоен, — такова обычная логика цезаризма. В погоне за этим симптомом народного довольства, цезари часто сносили от черни оскорбления в упор, за одну мысль о которых слетела бы с плеч голова сенатора или всадника. Калигулу, выраженного Юпитером, один галл-сапожник обозвал в глаза, без обиняков, «ходячей ерундой». И державный самодур, — тот самый, который мечтал: как бы хорошо, если бы у всего римского народа да была одна шея, да по той бы шее топором! — проглотил дерзость, не поморщившись. Если на такую снисходительность достало даже полоумного Калигулы, тем понятнее она в далеко неглупом Нероне. Светоний изображает Нерона образцом терпимости к демократическим шуткам, эпиграммам, карикатурам на его счет. Он никогда не преследовал и не заботился разыскивать их авторов. Обидчивее был он в своем дружеском кругу, но Ренан

небезосновательно замечает, что обижала его и в этих случаях не столько открытая приятельская насмешка, сколько измена дружеству, издевательство из-за угла, предательство интимно принятого в цезарево доверие человека. Оставаясь верен себе и теперь, Нерон притворился, что не замечает дерзких настенных эпиграмм, в которых его сравнивали с мифологическими матереубийцами, Орестом и Алкмеоном, намекали на кровосмешение, предшествовавшее гибели Агриппины, и т.д. Водевильный актер Дат позволил себе намеки на отравление Клавдия и попытку утопить Агриппину, в присутствии самого императора. Нерон ограничился тем, что выслал дерзкого комедианта из Рима.

Торжество, пережитое цезарем при въезде в Рим, оставило в нем глубокое впечатление. Во-первых, он убедился наглядным опытом, что ему, действительно, некого бояться или стыдиться: что бы он ни предпринял позорного и жестокого, все будет извинено Римом; он — полубог, сверхчеловек, которому все позволено. во-вторых, глядя на страшные толпы, вопившие ему восторженные привет-

ствия, он сообразил, где его любят и кто его настоящая опора, понял, кому он должен угодить, чтобы чувствовать себя государем, твердым у власти. С этих пор правление Нерона начинает, понемногу, выливаться в две, почти исключительные функции. Сперва оно превращается в неутомимо деятельную дирекцию общественных увеселений, а затем от дирекции этой отделяется, как бы зависимой от нее мрачной ветвью, тайная канцелярия для преследования богатой знати, систематически плодящая конфискации и смертные приговоры.

ИСТОРИЯ ИЛИ РОМАН?

Еще Вольтер выставил целый ряд соображений по здравому смыслу, которые подрывали доверие к рассказу Тацита о смерти Агриппины. Если легенда безвредно выдержала удары столь искусной и меткой руки, виною тому отнюдь не слабость обвинительной логики в доказательствах Вольтера, но могущество таланта в рассказе Тацита. Он, в трагических страницах летописи своей, по обыкновению, зачаровывает читателя настолько, что тому становится почти безразлично, как было дело на самом деле, и хочется, чтобы было так, как велит ему верить Тацит. Он давит впечатлением, как Шекспир, как Лев Толстой, как Бальзак, и нужно найти в себе не только большое мужество «своего мнения», но и значительную долю здравомысленной сухости, чтобы пройти очарованный лес его обаяний, не поддавшись его красота, во всеоружии сомнения и анализа.

В наши дни, ободренный Вольтером, взял на себя такую задачу П. Гошар (P. Nochart), скептик, прославленный своим отрицатель-

ным отношением к Тациту. Этот ученый, лет двадцать тому назад, выпустил книжку «Сенека и смерть Агриппины» — настолько резко расходившуюся с обычными мнениями по предмету вопроса, что автор, в ожидании взрыва ученых негодований, не решился даже печатать свой труд во Франции и под своим именем. Брошюра появилась в Голландии, под псевдонимом Н. Dacbert. Большой успех работы Гошара подвинул его к новым трудам в том же направлении. В следующей главе мы рассмотрим его много нашумевшую гипотезу о подложности всех исторических сочинений Тацита, которые он относит... к XV веку по Р.Х. и приписывает перу гениального флорентийского ученого-гуманиста, знаменитого Поджио Браччиолини. Здесь, покуда, мы займемся лишь его внимательною поверкою Тацитова рассказа о кораблекрушении Агриппины. Она даст нам понятие о манере Гошара испытывать факты и послужит, таким образом, подготовкою и освещением к его исследованию сочинений Тацита.

Станным представляется Гошару уже самое предложение матери со стороны Нерона

воспользоваться триремою для переезда из Байи в Баулы. Это всего лишь два километра пути. Женщине, только что выдержавшей трудный и длинный морской переход, легкое ли дело было — снова спускаться из горного замка на берег, садиться в ладью (scapha) и плыть в ней к трирем, которая, по мелководью бухты, могла стоять на якоре не ближе трех, четырех десятков саженьей от берега? Вся эта сложная переправа взяла бы времени гораздо больше, чем надо, чтобы дойти пешком до Баул. Трирема — военный корабль, с 170 гребцами. Это — фрегат античного флота. Гошар справедливо замечает, что он несколько не удивился бы, если бы Нерон предложил матери государственную трирему для только что совершенного ей перехода в Байский залив из Анциума или Остии, но фрегатов не шевелят для плавания на два километра. Сойти с горы — сесть в лодку — взобраться на трирему — плыть, самое большее, двадцать минут — сойти с триремы в лодку — выйти из лодки — подняться на горы: все это так длинно, сложно и мешкотно, что решительно непостижимо, зачем бы Агриппине понадо-

билось поздней ночью, после трудного путешествия и полного волнений, утомительного дня, проделывать гимнастику, совсем несообразную с ее возрастом и не необходимую по обстоятельствам. Ведь при ней была ее свита и носилки, в которых она прибыла к обеду. Да — надо полагать — не так же была бедна императорская вилла экипажами, чтобы, в случае, если бы Агриппина отпустила свои носилки (чего не могло быть по светскому этикету — отношения между матерью и сыном только что были слишком натянуты, чтобы подозрительная Агриппина сейчас же согласилась при дворе Нерона «быть как дома») не нашлось для высокой гостьи удобного и приличного порт-шэза?

Боги, — говорит Тацит, — послали ночь ясную, небо звездное, море тихое, как будто для того, чтобы лишить преступление всех средств к укрытию. Несколько странно по времени года: в марте Неаполитанский залив почти постоянно в волнении. Несомненно он был в волнении и в предшествовавшие дни и, по местным морским приметам, должен был остаться в волнении еще некоторое время. На

бурное море, по Тациту, и рассчитывал Аникет: «Если она погибнет в кораблекрушении, то кто возьмет на себя пристрастную решимость приписать злодеянию действие волн и ветра». Итак, план был намечен на ночь бурную, ожидать которой позволял вообще бурный период года. *Marzo pazzo* (март сумасшедший) — говорит неаполитанская пословица. По наведенным мною справкам в Неаполитанском порту, 18—23 числа марта — из всей весны — самые бурные и опасные на заливе. Если сопоставить с этим известие Светония о повреждении собственной яхты Агрипины, искусно брошенной капитаном, тоже заговорщиком (сколько заговорщиков!) на береговые скалы, вследствие чего и очутилась, дескать, императрица на Нероном корабле-ловушке, то получаем верное подтверждение: море было в волнении, *mare agitato*. Нельзя же подобные трагикомедии грубо подтасовывать на зеркальной глади своего, так сказать, домашнего залива! Весь мир изумлен был уже и тому, когда русская императорская яхта наскочила на подводный камень в финляндских шхерах, но налететь на подводный

камень в Байской бухте для римской императорской яхты было бы равносильно тому, как если бы «Штандарт» потерпел аварию между Петергофом и Кронштадтом.

Несмотря на то, приходится, скрепя сердца, поверить Тациту, что выпала такая зловеще-счастливая спокойная ночь: при других условиях, морская поездка Агриппины стала бы совершенно невероятной. Никто без насильственной побуждающей причины не выберет для пути расстоянием в два километра плавания по бурному морю, когда есть прекрасная береговая дорога, которую можно покойно сделать в носилках в какие-нибудь двадцать минут. Для предпочтения бурного моря спокойной суше Агриппина должна была бы обладать какой-то нарочной любовью к морской болезни. Итак, море было спокойно, ночь ясна, звезды яркие. Но как же на спокойном море, в ясную ночь, под путеводною яркостью звезд, могло быть разыграно кораблекрушение императорской яхты в заливе, который каждый неаполитанский рыбак знает, как свою собственную ладонь? И — когда же? Мало, что в праздник Квинкватрий, когда все

береговое население свободно веселится до поздней ночи, но еще и после только что состоявшейся примирительной торжественной встречи императрицы-матери с сыном цезарем? Берег должен был залит быть народом. Даже предположив, что отплытием Агриппины на триреме празднество кончилось, двадцать минут, нужные ей для плавания до Баула, слишком короткий срок, чтобы толпы успели схлынуть и берег совершенно обезлюдел. В ясную ночь из Байской бухты даже близорукому видно движение каждой лодчонки до Поццуоли. Первый крик утопающих, даже только затемнение ночных огней на гибнущей императорской яхте, и она была бы немедленно окружена лодками рыбаков. Да так и было: легенда наивно не пропустила этой подробности, — спасаясь вплавь, Агриппина на полпути к берегу подобрана была спешившими на выручку рыбаками.

Живя над заливом Специи, я ежедневно наблюдаю, с какой удивительной быстротой окружаются гребными и парусными лодками входящие в порт броненосцы, даже самый умеренный ход которых, конечно, гораздо

быстрее самого спешного хода римских трирем, двигавшихся человеческими руками. Полтора ста лет тому назад в Ливорно, когда Орлов обманом захватил на фрегате своей княжну Тараканову, весть об этом наглом насилии пролетела по заливу с молниеносной быстротой, и море сразу закипело сотнями угрожающих лодок: де Рибас должен обратить пушки на город и пригрозить, что откроет бомбардировку. Но Орлов и де Рибас не церемонились, их дело было сделано, и они могли вести себя разбойниками начистоту; а Аникет должен был церемониться, — ему надо было устроить не убийство, но несчастный случай. Кораблекрушение было сразу замечено на суше. Когда, чудом спасенная, Агриппина плыла к Люкринскому озеру, она уже встретила лодки, спешившие к ней от берега. Это публика, от которой Аникет не мог отделаться и, как командир местной эскадры, он не мог не предвидеть этой невозможности. Опять, как в деле Британика, оказывается, что тайное преступление, будто бы нарочно, выносится зачем-то на площадь, чтобы было как можно больше ему свидетелей. Сверх то-

го — по справедливому замечанию Гошара — удивительное дело! Затевали Нерон с Аникетом трагедию искусственного кораблекрушения — якобы судно, гонимое ветром и борением волн, рассядетсЯ, ударившись о скалы и подводные камни, — и не нашли для этой инсценировки места действия лучше, чем безопаснейшую часть Неаполитанского залива, бухту, заведомо без подводных камней, — и времени удобнее, чем ночь полного морского затишья и переезд, который на выполнение их сложного, механического замысла давал лишь несколько минут!

В каком расстоянии от берега произошло ложное крушение триремы? Оно не могло быть большим, потому что Агриппина спаслась вплавь. Тацит так и говорит: *pes multum progressa navis*, судно отъехало еще не очень далеко. Да ему и некуда было далеко уходить: приняв Агриппину саженьях в тридцати от пристани в Байях, трирема должна была двигаться береговым же фарватером, не уходя в открытое море. Когда, избавившись от первой опасности, Агриппина соображает обстоятельства покушения, она вспоминает: «обру-

шилось судно, ехавшее вблизи берега, не гонимое ветром, не наскочившее на утесы (*litus jexta, non vent is acta, non saxis impulsa navis*)». И это верно. Иначе переезд опять обесмысливается. С какой бы стати Агриппина, любительница моря, прекрасно зная местность, позволила капитану корабля увозить ее, вместо прямого назначения, куда-то вдаль залива? И — какому капитану? Аникету, которого она терпеть не могла и который, она знала ее ненавидел. Уже и то удивительно, что она согласилась ехать с ним. Назначить подобную личность командиром ее почетного корабля сразу было нелюбезною бестактностью со стороны Нерона, которая должна была не успокоить Агриппину, но обидеть и насторожить. Но допустим, что Агриппина, возбужденная вином, была настроена так добродушно, что проглотила эту пилюлю без протеста. Все же, такую неприятную компанию высочайшая особа еще может претерпеть по необходимости — на срок и в служебных рамках назначения, которое Аникету предписано. Но беспечно отправляться почти одной, без свиты, с Аникетом в неизвестную ночную прогулку, не

предвиденную в порядке придворного дня, — нечто совершенно не в нравах двора и не в характере подозрительной и надменной Агриппины, к тому же как раз именно теперь напуганной предшествовавшими слухами и, если верить Светонию, даже повторными покушениями.

Ведь еще утром Агриппина была предупреждена, что на море ей приготовлена какая-то опасность. «Хорошо известно, — говорит Тацит, — что Нерону изменил кто-то, и потому Агриппина, осведомленная о заговоре, в сомнении, верить или нет, предпочла прибыть в Байи (из Баула) в носилках (*gestamine sellae pervectam*)», отказавшись от приготовленной для нее роскошной яхты. Очутиться на подозрительной яхте под командой подозрительного капитана, дающего судну подозрительное направление, — совершенно неестественно для женщины, выросшей в политических интригах, как Агриппина. Как бы ни разнежил ее Нерон за ужином, одно уже появление на сцену заклятого врага ее Аникета (*mutuis odiis Agrippina invisus*) должно было отрезать Августу и навести на самые черные мыс-

ли. Ведь она же была жизнелюбива и опаслива настолько, что в вечном ожидании покушений, постоянно принимала противоядия, не спала под потолком и т.п. Тут же, вдруг, она сразу изменяет всему своему характеру: предпринимает ночью опасную прогулку, которой боялась днем, вверяется человеку, верить которому она не может, и — как только взошла на корабль — разлеглась в каюте (под потолком) и беспечно беседует со своею Ацерронией.

«Агриппину сопровождали двое из ее приближенных»: вольноотпущенница Ацеррония и вольноотпущенник Креперей Галл. Это опять невероятно по нравам эпохи. Куда же делась ее свита? Где люди, которые принесли ее носилки в Байи? И если даже предположить, что она отпустила свободнорожденных из клиентуры своей возвратиться сухим путем, то не могла она остаться хоть без нескольких своих рабынь и рабов. Это невозможная непристойность с точки зрения римского этикета. Гошар совершенно основательно противопоставляет этому странному почти что одиночеству императрицы извест-

ный эпизод в «Сатириконе» Петрония — плавание Трифены, неотлучно окруженной своими слугами. В спокойное время они ее развлекают. Когда поднялась буря, их первая забота — охранять свою госпожу: они завладевают корабельною шлюпкою и в ней спасают Трифену от верной смерти в кораблекрушении. Мы видели в главе о рабстве, что, даже скрываясь беглецами, от политических врагов своих, знатные римляне влачили за собой нескольких рабов своих. Таинственность отъезда одной дамы Марциал тем и характеризует, что она взяла с собой только трех рабынь. Агриппина же находилась в условиях не таинственных бегов, но торжественных проводов: сын-император сопровождал (*hilare prosecutus* — у Светония) ей до самого челна, который доставил ее на яхту. К слову сказать: если злодеяние произошло близко от берега, то Нерон должен был видеть и слышать все приключение. Десять лет тому назад я нарочно излазил горы Байской бухты и Люкрийского озера, измеряя предполагаемые расстояния от *spiaggia* до предполагаемых высот, на которых расположены были

виллы Нерона и Агриппины. Разумеется, надо учесть несовершенство нынешних разрушенных дорог и осыпавшихся троп: по зигзагам мраморных лестниц подъем от моря к дворцу должен был совершаться гораздо скорее, чем возможен он в настоящее время. Но сейчас-то этот подъем, при всех усилиях ускорить его, при тогдашней моей привычке к горным прогулкам, брал у меня от 35 до 45 минут. Сократим это время, для удобств древности, вдвое, даже втрое, — значит, на десять-пятнадцать минут. Если морской гребной путь от Байи до пристани к Баулам занимает двадцать минут, если крушение последовало вскоре после того, как трирема снялась с якоря в Байях, то ясно, что, хотя бы оно приключилось даже на половине дороги, Нерон не успел еще подняться во дворец свой и, следовательно, должен был явиться свидетелем совершившегося. Между тем, Тацитов роман изображает его ожидающим в волнении «известий, что злодеяние вполне окончено» и т.д. Где он ожидал этих известий? Кто принес их ему? Ничего не известно. Общие позы, общие слова, общие ситуации.

Романическая выдумка ясно выдается пересказом разговора, который, будто бы, вела Агриппина с Ацерронией. Кто мог сообщить этот разговор? Ацеррония погибла под ударами весел, Креперей Галл раздавлен глыбой свинца, успев перед смертью с удивительной чуткостью разобрать, что это был именно свинец, а не другая какая-либо тяжесть. Агриппина после крушения прожила так мало, что вряд ли ей было время подробно расписывать идиллические подробности своей роковой прогулки. Получается нечто вроде известной немецкой сказки. Вор забрался в избу и увидел, что одинокую старуху душил домовый. Задушил — и скрылся, а вор умер на месте со страха. Старуха умерла, вор умер, домовый исчез: а история, тем не менее, почему-то стала известна.

Разбирая технические подробности покушения, Гошар отмечает, прежде всего, что как рассказ Тацита, так и Светония, составлены, очевидно, не моряками и не со слов моряков записан, так как страдают неопределенностью корабельной терминологии (вместо *самега* или *diaeta* Тацит, совершенно обыва-

тельски, определяет «каюту», как *locus*, место) и плохо знают устройство и расположение триремы. Светоний даже не характеризует судна, на котором пробовали погубить Агриппину, каким-либо определенным техническим именем, отделяясь просто опять-таки обывательским же общим словом «корабль», *navis*. Между тем, он определенно знает тип яхты, на которой Агриппина прибыла из Анциума: *liburna* или *liburnica*. Это — судно военного образца, введенное в римский флот после битвы при Акциуме, где быстрый и увертливый ход маленьких либурн Октавия восторжествовал над огромными, тяжеловесными судами Антония. Сооружаемое из сосны или ели, оно было усовершенствовано римлянами против первоначальной модели, заимствованной у либурнов, иллирийских пиратов. Разбойничья косная обратилась в военный корабль, с очень длинным, узким, острым и с носа и с кормы, корпусом, — род громадной гондолы, но вооруженной мачтой под косым латинским или квадратным левантинским парусом, и одним, либо более рядом гребцов, в соответствии величине судна.

Яхта либурнского типа, выработанная протоками и скалами далматинского побережья, приспособлена к нуждам плавания быстрого и дальнего. Отсюда же вышел средневековый тип венецианской галеры. В эпоху Нерона либурна была, повидимому, излюбленным типом быстроходного судна: ее изображения на медалях дошли к нам от правлений Клавдия и Домициана, которые время Нерона соединяет, как одно из промежуточных; название ее встречается у поэтов Неронова века: Лукана, Силия Италика. Со временем, в III веке по Р.Х., либурна одолела все остальные виды и типы римских военных судов, так что ее название стало нарицательным для всякого военного корабля, как раньше нарицательно было имя триремы. По словам Светония, был уговор, чтобы капитан либурны, на которой прибыла Агрипина, напорол свое судно на скалы и тем поставил императрицу в необходимость воспользоваться приготовленным ей предательским кораблем. Что для последнего не нашлось у историков никакого определенного имени, Гошар объясняет тем, что штуку, якобы предложенную Аникетом, нельзя было

проделать ни с каким типом военного корабля, ранее известным. Не заводят военные флоты раздвижных кораблей нарочно на предмет самопотопления. Дион Кассий говорит, что идею корабля-западни дало Нерону театральное зрелище: в какой-то феерии судно распадалось, выпуская из трюма своего разных зверей, а потом опять смыкалось и становилось таким, как было. Мало ли какие чудеса позволяет осуществлять на сцене легкий, декоративный материал, не требующий сильных моторов. Театральный корабль после крушения в «Африканке» или «Летучем Голландце» разбирают и складывают в депо декораций, но настоящий корабль после крушения оказывается на дне моря, которое столетиями не отдает его земле, а то и никогда. Если театральным приспособлением Аникета еще возможно было раздвинуть корабль, — что, однако, у Аникета тоже не вышло, — то уже никак нельзя было сдвинуть после того, как, искусственным крушением, в корпус судна вторгнулась вода. Дело же шло, ведь, не только о том, чтобы погубить Агрипину, но, вместе с нею, не пропасть и самому Аникету,

со всем экипажем. Но, так и быть, допустим невозможную возможность, будто Аникет сделал такой удивительный корабль, чудотворный «Наутилус» капитана Немо, который в открытом море сам и растворяется, и захлопывается по желанию капитана, на что не способны даже и нынешние сотто-марины. Во всяком случае, это было изобретение новое, не успевшее даже получить себе особое нарицательное имя (navis — у Тацита и Светония, у Дионы Кассия — ναυς, πλοτον). Постройка военного корабля — дело долгое, сложное, людное, огласочное. Можно скрыть тот или другой секрет в его устройстве, что и делает каждая государственная верфь, но немислимо скрыть общий тип и назначение судна, сооружением которого заняты не один десяток, а может быть, не одна сотня человек. Когда строят подводную лодку, рабочим ясно, что это будет — не миноноска, — и обратно. И, действительно, слух о каком-то странном, где-то для чего-то сооружающемся судне, дошел до Агриппины и заставил ее опасаться. Это еще Вольтер хорошо подчеркнул. «Нельзя было, говорить он, строит подобное судно без

того, чтобы рабочие не догадались, что оно предназначается для убийства какого-либо важного лица; этаким секрет не замедлил бы сделаться достоянием всего Рима и т.д.» Где могло сооружаться подобное судно? Естественно казалось бы — на верфи Мизенского флота, в соседстве с местом будущего покушения. Однако Дион Кассий уверяет — будто в устье Тибра, в Остии. Во всяком случае, если даже и там, то, значит, доставленный каким бы то образом из Остии механизм должен был на Мизенской верфи быть собран и проверен. Не пустили же в ход такую ответственную машину без пробы? Все это предполагает, что убийство подготовлялось чрезвычайно долгое время, чего совсем не слышно в быстром темпе Тацитова рассказа. Да и невозможно иного темпа допустить: пред нами подготовка не революционного акта, который, в чуждом двору среде, может зреть годами, но придворного заговора, который никогда не выдерживает испытания долгой тайны. Затем: если адская машина была устроена на новом судне, то спуск нового военного корабля — не такое малое событие, чтобы Тацит

мог замолчать его в церемониале торжественного дня. Конечно, цена триремы в бюджете римского фиска не та, что цена броненосца в бюджете современного морского государства, но если посчитать разницу в выросшей строимости денег, то пожалуй, соответственные своим эпохам, бюджетные значения триремы и броненосца окажутся не так уж непропорциональны. Уже в первой половине XVII века Юст Липсий имел материалы, достаточные для почина истории римского флота, за ним следовал с большим запасом фактических данных Иоганн Шефер (1654), а в XVIII веке итальянские ученые Гори и Лигорио изучением надписей положили основание обширному списку имен, которые носили суда обеих римских военных эскадр — Равеннской т.е. Адриатической, и Мизенской, т.е. Тирренской. Список этот пополнялся затем Кардинали, Рункеном, Ашбахом и, с особенною подробностью, Ферреро (1884). Французский историк Мизенского флота, Виктор Шапо называет по именам в эскадре этой 1 шестирядный корабль (гексера), 1 пятирядный (квинкверема), 9 четырехрядных (квадрире-

мы), 55 трехрядных (триремы), 13 либурн и 7 оставшихся в надписях без обозначения. Была ли обречена гибели от адской машины новая, только что спущенная, трирема, был ли аппарат Аникета приспособлен к старой (что было бы вероятнее — в виду предубеждения Агрипины к какому-то таинственному новому кораблю, о котором дошли до нее зловещие слухи, но, по доказательному мнению Гошара, неисполнимо технически), — в обоих случаях имя судна, пропавшего в таких трагических и странных обстоятельствах, должно было бы запомниться в летописях. Вместо того, последние не знают не только имени судна, но и — какого типа оно было. Оно — только — *navis*, *ναυς*, *плотон*).

Не знает его и хор в памфлетической «Октавии», хотя он рисует покушение Аникета с такою подробностью, что приводит даже предлинную речь, которую Агрипина произнесла будто бы перед тем, как броситься с корабля в море.

«И наш век видел великое сыновнее преступление, как государь (*princeps*), обманом заманив мать свою, спровадил ее на смерто-

носном суденышке (*rate ferali*) в Тирренское море. По заранее полученному приказу, матросы поспешают выйти из спокойной гавани, и шумит море под ударами весел. В открытое море мчится корабль (*ratis*), но, вот, под обрушенною тяжестью он зашатался, разверзся и черпает морскую волну. Страшный крик возносится к небу, мешаясь с женским плачем. Свирепая смерть носится пред глазами. Каждый ищет спасения от гибели. Одни нагишом бросаются на доски разломанной кормы и разрезают ими волны, другие стараются доплыть до берега вплавь. Многим судьба утонуть на глубинах. Августа раздирает на себе одежды, рвет волны и орошает лик горькими слезами. И, убедясь, что нет надежды на спасение, восклицает, пылая гневом, раздавленная несчастьем:

— «Так вот, сынок, награда мне за все мои заботы? Только то, значит, и заслужила я, что этот корабль (*carine*), я, которая тебя родила, которая дала тебе жизнь и — о, безумная! — империю и имя Цезаря. О, супруг мой! Обрати ко мне очи твои с берегов Ахерона и насыть моею карою. Вот я — виновница твоей смер-

ти, о несчастный! — я, из-за которой погиб твой сын, — вот сейчас я помчусь в смертную область твою (*ad manes tuos*), не погребенная, потопленная волнами свирепого моря. И поделом мне это!»

«Пока она говорила, волны достигли уст ее. Она ныряет в море и выныривает, подброшенная морскою волною, гребет руками, страх ее подбодряет, но усталость лишает сил напрягаться. Но в обессиленной звать на помощь груди уже ожило упование восторжествовать над угрюмою смертью. Многие смельчаки спешат на помощь государыне, уже потерявшей силы в борьбе с морем, и, в то время как она едва шевелит руками, ободряют ее криком и вот — выхватили из моря.

«Ах, стоило ли тебе избегать волн свирепого моря? Все равно, погибнешь ты от меча сына своего, преступлению которого с трудом поверят потомство и ряд отдаленных веков».

Кто бы ни был автор «Октавии» и написана ли она раньше Тацита, при Флавиях, как думают Нордмейер (его мнение, что «Октавия» — памфлет против «второго Нерона», т.е. Домициана), Петер и др., или позже Таци-

та, — во всяком случае, связь этой «претексты» с текстом Тацита ясна. Или Тацит воспользовался «Октавией» для своего эпизода, или автор «Октавии» переложил в стихи для своего хора Тацитов эпизод. Но подробностей оба автора друг против друга не дают ни сколько, если не считать театрального эффекта речи Агриппины перед тем, как броситься в море: неправдоподобная условность, которой, разумеется, не мог допустить гениальный художник Тацит, *le plus grand peintre de l'antiquete* как называл его Расин. Та же подробность, о которой только что шла наша речь, тип корабля-ловушки, — еще более темна в трагедии, чем у Тацита, ибо в «Октавии» корабль определяется то именем плоскодонного судна (*ratis*), то килевого (*carina*). Правда, что у поэтов *ratis* употребляется как общее обозначение всякого корабля, но — понятное дело — разъяснению Гошарова недоумения эта поэтическая вольность ни сколько не способствует. Если бы Агриппина, именно уже рассудка вопреки и наперекор стихиям, имела неосторожность войти на трирему, действительно, лишь с двумя приближенными,

то — какая надобность была Аникету шевелить столь сложный и неуклюжий механизм убийства? раз женщина так беспечно отдала себя во власть ему, он мог убить ее, даже не прибегая к оружию, ударом первою попавшею под руку тяжелою вещью. Боялись обличающих убойных знаков? Однако — все покушение было рассчитано на средства, при которых убойные знаки неизбежны: ведь тяжестью, рухнувшей с мачты, рассчитывали Агриппину задавить, а не потопить, и, когда Ацерронию приняли за Агриппину, на нее посыпались удары веслами, баграми и пр. Бить не боялись: *contis et remis, et quae fors obtulerat, navalibus telis conficitur* — «была забита шестами, веслами и другими, какие попадались под руку, корабельными орудиями». Сама Агриппина получила рану в плечо. Расчет был — не утопить, а сперва достоверно убить, разыграв затем сцену кораблекрушения, в котором нашли бы себе извинение какие угодно убойные знаки.

«Большая масса свинца», которою Аникет пытался раздавать Агриппину, смущала еще Вольтера. Прежде всего, эта тяжесть свалива-

ется в программу покушения совершенно внезапно, без всякого о том предупреждения читателя со стороны Тацита. Раньше говорилось только о надеждах Аникета на раздвижную систему корабля. Теперь же эти надежды почему-то ушли на второй план, раздвижной механизм оставлен про запас на случай неудачи, а в первую голову бросается свинец, о котором раньше и речи не было. Казалось бы, оно, действительно, проще, как средство. Но это, опять-таки, лишь «оптический обман». Откуда могла рухнуть эта большая масса свинца, сокрушившая потолок императорской каюты (*tectum loci*)? С мачты? Да как же бы она попала на мачту-то? Как такая странная для стройности и порядка адмиральского корабля глыба на мачте смогла остаться незамеченной, а следовательно, и не сообщенной Агриппине через ее шпионов или просто доброжелателей? Разве это так обыкновенно, чтобы неизвестно зачем взгромождались на реи свинцовые ядра или плиты? Затем: Креперей Галл стоял вблизи кормчих весел: *haud procul gubernaculis*, — Агриппина и Ацеррония находились в почетной каюте. Гошар до-

казывает невозможность для пассажира, так сказать, первого класса быть невдалеке от кормчих весел военной триремы, но — пусть будет так. Во всяком случае, это показывает, что Креперей находился вдалеке от Агриппины с Ацерронией и не в одной с ними плоскости, а сверх того они под навесом каюты, он на открытом деке. Кусок свинца, брошенный откуда-то сверху, убивает Креперия и разрушает навес над головами женщины. Каким это образом? Если он сперва раздавил Креперия Галла и потом, отскочив, раздавил навес, то крепка же была у Креперия Галла голова, что вызывала подобие рикошета! Если же свинец сперва разрушил крышу каюты, а потом убил Креперия Галла, то непонятно, как он высвободился из причиненного им пролома, чтобы сделать столь страшный рикошет? Потому что Тацит ясно говорит о том, что снаряд остался в крыше, им обрушенной: *ruere tectum loci, multo plumbo grave*, — а Агриппина и Ацеррония уцелели, будучи защищены высокими стенками ложа (переборками), случайно оказавшимися настолько крепкими, чтобы выдержать вес снаряда. В одном случае

было бы удивительно, что снаряд, настолько могучий, чтобы, раздавив сперва человека, в рикошете своем от еловых или дубовых досок палубы мог взлететь вверх, по крайней мере, сажени на две и вторым падением разрушить целую каюту, — что такой снаряд просто-напросто не отшиб первым-то ударом своим кормы или хоть не прошиб палубы. В «Октавии» так оно и рассказывается:

ratis,

Quae resoluto robore labens

Pressa dehisoit sorbetque mare.

В другом случае было бы удивительно торжество того же снаряда над законами трения, ибо этот кусок свинца, брошенный, как бы высоко ни забирались злоумышленники, все же не больше, чем с пяти саженой отвеса, явил не только разрушительность, но и упругость чуть ли не современного пушечного ядра. Кронеберг, в переводе своем, предполагает Агриппину спасенною не «высокими стенками ложа» (*eminentibus lecti parietibus*), но «возвышенным балдахинном над кроватью». Это не только не меняет дела, но еще более затрудняет понимание, так как, встретив на

пути своем мягкую матерчатую плоскость балдахина, снаряд непременно прорвал бы ее и убил бы сидящих под ним женщин. Г. Петер пытался объяснить, каким образом могло быть устроено, чтобы, при кораблекрушении, Агрипина погибла в каком-то трапе или люке (тогда зачем падать свинцу с мачты?), а корабль остался бы цел. Но разъяснения его очень темны и не покрывают недоумелых вопросов, которыми присоединяется к скептикам авторитетный однофамилец его К. Петер, автор многотомной «Истории Рима».

Гошар совершенно основательно находит неестественным дальнейшее поведение ни обеих женщин с одной стороны, ни Аникета с другой. Каюта обрушилась. Где женщины? Почему они не выползают из-под обломков, не зовут на помощь? Догадались, что покушение? Нет, Тацит сам говорит, что догадка пришла к Агриппине позже, у себя дома, когда она почувствовала себя в безопасности. Да если и была такая догадка, то только у одной Агриппины, — Ацеррония не подозревала покушения на Агриппину настолько, что утопая, вопила: спасите меня! я мать принцепса!

Представим даже, что они сразу догадались, притаились и нарочно молчат. Аникету, казалось бы, естественно прежде всего броситься к месту разрушения, освидетельствовать, действительно ли убиты Агриппина и ее камер-юнгфера, и, найдя их живыми, пришибить, если не из собственных рук, то руками какого-нибудь негодяя из команды, как, спустя несколько минут, и была пришиблена бросившаяся в воду Ацеррония. Однако, вместо того, Аникет начинает зачем-то суетиться, приводя в движение свой — казалось бы, уже ненужный теперь или, во всяком случае, уже не к спеху нужный — раздвижной механизм. Он не слушается. «Разделения судна на части не последовало, от того, что все были смущены и очень многие, не зная об умысле, мешали действовать и посвященным в него».

«Вследствие этого было решено, чтобы гребцы налегли на один бок и таким образом потопили судно. Но и сами они не имели быстрого согласия на внезапное дело, и другие, старавшиеся давить на другую сторону, содействовали тому, что падение в море было не так сильно».

Потопить корабль такими средствами значило — перевернуть его, заставить перекувырнуться вверх килем. Усилие громадное физически, психологически же совершенно неправдоподобно. При кораблекрушениях бывали примеры, что бессознательно мечущаяся толпа обезумевшего в панике экипажа накреняла борт и губила судно стадным своим движением, но сознательно черпать воду вряд ли согласится какой-либо моряк, находящийся в трезвом уме и твердой памяти. Когда заговорщики находятся на том самом корабле, который они должны потопить, едва ли может последовать с их стороны не только «быстрое согласие» (*promptus in rem subitam consensus*), но и самое медленное согласие к тому, чтобы судно заторчало килем вверх раньше, чем они не только сплывут с него, но и очутятся на значительном расстоянии от воронки, которую образует его гибель. На триреме — кроме офицерской компании — 170 гребцов. Такое множество немислимо ввести в заговор, да и сам Тацит говорит, что многие, не зная об умысле, мешали действовать заговорщикам. Но — даже зная об умысле

ле — кто же, даже плавающий, как рыба, позволит опрокинуть себя в море под корабль? Таким фанатизмом покушения, восходящим до самообречения, может быть заражена ненавидящая личность, но не масса, на яхте же Агриппины мы имеем дело не с личностью, а с массой. В какую игру играл тут Аникет? Если бы команда разобрала, что ее намеренно топят, то плохо пришлось бы, конечно, не Агриппине, но тому, кто отдал приказание топить. И — спрашивается — что бы он, этот Аникет, стал сам делать, если бы трирема его перевернулась? Надеяться выплыть в парадной форме, которую он несомненно должен был иметь на себе по случаю высокотожественного «царского дня» в присутствии высокой путешественницы, вверенной его попечением самим государем, это — во всяком случае, какой бы он пловец ни был, — риск вроде прыжка из пятого этажа на каменную мостовую. Наконец, хорошо, допустим: Аникет и некоторые из посвященных в заговоре знают, в чем дело, и приняли известные меры, чтобы обезопасить себя (хотя — какие?!), на их долю остались только тревоги и угрозы

неблагоприятных случайностей, — хотя, к слову сказать, и последних совершенно достаточно, чтобы пропасть. Но, ведь, это же, конечно, ничтожное меньшинство экипажа! Большинству же, огромному большинству — единственное, что могло и должно было казаться, это — что судно неведь с чего пошатнулось, а капитан струсил, потерял голову и, чем бы поправлять нарушенное равновесие, зачем-то поворачивает судно вверх дном и топит его со всеми, находящимися на нем, людьми. Как ни велика была дисциплина в римском флоте, но до скотского согласия людей беспричинно и безмолвно тонуть ни с того, ни с сего на увеселительной яхте в безопасном море — она простираться не могла. Гошар употребил достаточно слов и знаний, чтобы доказать, что маневр Аникета, направленный к опрокинутию судна, технически не мог быть выполнен матросами триремы. Я ограничусь только психологической невозможностью, чтобы толпа, которая видит, что ее топят, помогала себя топить. «Падение в море было не так сильно». Однако, значит, оно, все-таки, было? Неужели, в страшный

момент, когда судно переворачивалось вверх дном, и каждому незаговорщику казалось, что приходит его последний час, а подготовленному заговорщику — что теперь надо держать ухо востро и самому не пропасть в собственной своей западне, — неужели, в такую критическую минуту, нашлась не только одинокая чья-то отвага, но даже отвага нескольких людей, которые не то бегали по разрушающему судну, не то плавали вокруг него и колотили каким попало дреколием несчастную Ацерронию, принятую ими за императрицу? Если эти люди, освирепевшие до забвения что «своя рубашка к телу ближе», преследовали женщин уже в воде — как могла Агриппина уплыть от них? Ведь не одна же она упала в море с перевернувшегося судна, на котором одних гребцов было 170 человек. Море вокруг разрушенного корабля должно было кишеть плавающими людьми. В «Октавии» это правдоподобно:

Quaerit leti sibi quisque furam:
Alii lacerae puppis tabulis
Haerent nudi fluctus que secant,
Repetunt alii litora nantes.

Если среди них были враги Агриппины, непостижимо, как они ее выпустили. Пусть Ацерронию приняли за нее, — но, ведь, в таком случае, также и ее приняли за Ацерронию. Каким же образом мог бы Аникет прозевать свидетельницу своего злодеяния, которая была ему теперь столько же страшна, как и сама Агриппина?

Вообще, к массе, участвовавшей в приключении, Тацит до наивности равнодушен. Выбросив Агриппину в море и убив Ацерронию, он совершенно забывает о судне и команде его, отпуская их со сцены, точно хор в трагедии, который сказал все, что требуется по тексту, и больше автору не нужен. Мы не узнаем от Тацита, что случилось с триремой, затонула ли она, распалась ли обломками, погибли ли люди спаслись ли, и если да, то как — вплавь, по подобию Агриппины, или выждав помощи с берега на корпусе корабля? Аникет спасся, чтобы в следующей главе явиться пред очи Нерона, как *Deus ex machina*, как раз в то время, когда тому, перепуганному, надо добить Агриппину, а Бурр и Сенека растерялись и не знают, что предпринять. Но о спасении мате-

ри Нерон узнает не от Аникета, но от посланного самой Агриппины. По Светонию, Нерон, в тревоге ожидания, провел без сна весь остаток ночи. Стало быть, Агриппина успела очутиться в замке своем, обдумать свое положение, сделать целый ряд распоряжений, написать письмо Нерону, отправить его с Агеринном — и тот имел время дойти из Баула в Байни, и дождаться приема у государя, который не сразу его принял, — заняться описью имущества Ацеррони, — а Аникет все пропал где-то неведомо в море!

Гошар считает странным, что Агриппина, спасаясь вплавь, была подобрана рыбаками близ Люкринского озера, которое, казалось бы, ей не по дороге, но это напрасное сомнение французского историка проистекает из коренной его ошибки считать древние Баулы приблизительно на месте нынешней деревни Баколи; по топографии, доказанной Белохом, плыть к Люкринскому озеру, для Агриппины, было направлением и естественным, и необходимым. Зато Гошар прав, когда указывает на чисто романический прием Тацита — изложить от имени Агриппины ее мысли о ноч-

ном приключении: настоящий монолог вслух, не более исторический, чем монолог той же Агриппины в «Октавии» на корме тонущего корабля. Это, конечно, литература, голос воображения по вероятности, а не правда фактов. Таковы же дальнейшие сцены страха Нерона, его ночного совета с министрами, поручения, данного Аникету, и т.д. **Я** не буду подвергать их анализу, так как полагаю, что цель моя — показать манеру Гошара исследовать сомнительные эпизоды и обличать роман в истории — уже достигнута на примере кораблекрушение. Кому интересно проверить роман до конца, может проследить его, шаг за шагом, по книге Гошара. Доказательства его часто не без натяжек, но несомненно приводят к одному выводу: правды о смерти Агриппины не знал ни Тацит, ни кто другой из историков, и писали они о ней по источникам людской молвы, а не по документам. Было какое-то кораблекрушение. Было убийство Агриппины, объявленное потом самоубийством и объясненное ее государственной изменой. Молва как-то связала эти два факта — молва, надо думать, не современная даже, а

позднейшая, мало- помалу нараставшая, потому что, в противном случае, римский триумф Нерона был бы фактом неизъяснимым ни психологически, ни политически — никак. Остальные подробности — лишь драматизированные возможности, воображенные сильным художественным талантом вокруг зерна какой-то смутной правды, опутанной сплетнями и легендами до полной неразборчивости. Ведь, даже Светоний, всегдашний охотник до кровавого и грязного анекдота, заметил об истории смерти Агриппины, что прилагаются к ней многие еще ужасы, но из сомнительных источников (*adduntur his atrocioa, sed incertis auctoribus*). Желание во что бы то ни стало выпутать из этого черного дела и обелить Сенеку весьма ослабило и испортило дальнейшую критику Гошара, но он прав, когда подчеркивает сочиненность фраз, вложенных в уста погибающей Агриппины. «И ты покидаешь меня!» — воскликнула она к уходящей служанке своей: *tu quoque deseris!* Кому это «*tu quoque*» не напомним другого, более знаменитого, вырвавшегося в такую же страшную минуту из уст Юлия Цезаря, прон-

зенного кинжалом Брута? **Я** уже говорил в предыдущей главе о том, как естественная и возможная просьба — «бей в живот!» (*ventrem feri!*), то есть «не мучь! кончай скорее!» — переродилась у автора «Октавии», а впоследствии у Диона Кассия в риторическую моральную апофегму.

Итак, ряд сомнительных, а часто прямо-таки несообразных подробностей, которыми окружена смерть Агриппины в рассказах трех основных историков, а больше всего у Тацита, дает нам право с убеждением согласиться с мнениями скептиков, относящих эти легендарные страницы к области не документальной истории, но исторического романа. Очарование художественными картинами и мощным языком Тацита заслонило от умов эстетических и любителей этической дидактики, притч в маске фактов, искусственное сцепление последних, далеко не безукоризненное даже в смысле художественной концепции. В конце концов, о смерти Агриппины историк вправе утверждать точно и определенно лишь одно — то самое, что 150 лет тому назад сказал еще Вольтер: «С ужасом при-

знаю, что Нерон дал согласие на убийство своей матери, но не верю ни единому слову в истории с галерой». Слова «дал согласие», слишком мягкие для Нерона, можно усилить в «дал повеление», но машину Аникета давно пора вернуть театральному сараю, в котором она была изобретена. Мы, в веке телеграфа, телефона, быстрой печати и широкой гласности, тем не менее, при каждой смерти крупного политического деятеля, бываем свидетелями или читателями тучи легенд, ее окружающих и весьма часто приобретающих такую прочность, что затем с ними не могут спорить самые несомненные, документальные исторические доказательства. Последние остаются в «Русской Старине» и «Русском Архиве», а легенда вливается в общественное мнение. Смерть Павла I разоблачилась из легенд в исторические свидетельства едва ли четверть века тому назад. Кончины Александра I, Николая I окружены легендами до сих пор. До сих пор не разобрано исторически: кто руководил убийством Пушкина? И мало ли людей в России твердо веруют, что Скобелев умер, отравленный немцами? Там,

где нет документов и наглядных фактор, а что-то шепчет один инстинкт общественного мнения, поверяемый гипотезами следственной экзегезы, там история — поневоле — соседка обывательской сплетни. Насколько же сильнее и влиятельнее быть должен был этот процесс «творимой легенды» в веках, когда общественное мнение не имело другого орудия к собственной своей формировке кроме слуха и сплетни, когда гласность была равносильна шепоту соседей и народной фантазии, когда средства ее проверки сводились лишь к стихийному недоверию официальным данным, извещениям и манифестам, да—как в мировом суде—к «внутреннему убеждению». Ни Нерона, ни других цезарей Тацит не оклеветал, как пытались те утверждать империалисты XIX века, начиная самим Наполеоном I. Но его история — публицистическая работа великого художника, который не боялся помогать своим старореспубликанским целям и симпатиям контр-форсами из памфлетического материала, а колоссальный литературный талант помогал ему превращать эти заимствования в такие яркие драмы и потряса-

ющие картины, что они становились историей. Кто, при слове «Шотландия», не вспомнит «Макбета?» при слове «Верона» — «Ромео и Джульетту»? Кто не искал в Венеции дома Отелло? Между тем, все это — исторические мифы, созданные художеством. Точно так же художество связало историческим мифам тень Агрипины и Нерона с заливом в Байях. Это настолько прочно, что, вот, я, написавший эту главу в доказательство несообразности данного мифа, все-таки не умею быть в тех краях и плыть в тех водах без того, чтобы не думать о великой драме, которая, может быть, никогда не бывала, но которую общественное мнение века так эффектно вообразило, а великий гений века так блистательно изобразил.

ТАЦИТ ИЛИ ПОДЖИО БРАЧЧИОЛИНИ?

I

В предшествующей главе дан был разбор одного из наиболее знаменитых эпизодов летописи Тацита, одного из самых трагических и, вместе, самых темных и недоумелых. Обилие в «Летописи» и «Историях» подобных неясностей давно уже наводило историческую критику на сомнение в достоверности сказаний Тацита. Почин тому дал Вольтер в «Философском словаре». Менее известна полемическая работа адвоката Лэнге (Linguet), которого Мирабо называл «адвокатом Нерона». Наполеон Первый, большой недоброжелатель римского историка, вызывал своих академиков на реабилитацию рода человеческого, оклеветанного Тацитом, которого он так и звал «un détracteur de l'humanité», клеветник на человечество. У нас в России одним из первых, кто усомнился, если не в фактах Тацита, то в оценке им фактов, был Пушкин, умевший разобрать сквозь густую памфлетическую окраску крупный политиче-

ский ум и положительные стороны государственной деятельности Тиберия. Однако начальные отрывки, гениальные пробы предполагавшегося романа своего из эпохи Нерона, поэт наш набросал под явным и непосредственным впечатлением Тацита, подчинившись его фактам и отчасти тону — вернее, в последнем отношении, смешав манеру Тацита с манерою Апулея. Расцвет отрицательного отношения к Тациту был впереди и наступил с развитием идей империализма в Германии и Франции. В первой Тацит подвергся внимательной критике Моммсена (мы имели бы, конечно, полную и решительную проверку Тацитова текста, если бы 4-й том «Римской истории» великого германского ученого не погиб в рукописи жертвою пожара), Штара, Лемана и, в особенности, Сиверса и Германа Шиллера, который в двух капитальных трудах своих («История Римской империи в правлении Нерона» и «История эпохи римских императоров») относится к Тациту почти лишь как к очень талантливому и обильному материалом, но неразборчивому в них, тенденциозному памфлетисту. Во Франции к

осторожному обращению с данными Тацита призывал и предостерегал против его аристократически-национальных точек зрения Амедей Тьерри. В Англии — Чарльз Мериваль отголоском мнений которого явилась в России, в шестидесятых годах, книга покойного М.А. Драгоманова «Вопрос об историческом значении Римск. имп. и Тацита». Как почти курьез империалистической вражды к Тациту, надо отметить огромный двухтомный труд французского юриста, Дюбуа Гюшана, «Тацит и его век» (1861), написанный с несомненной и прозрачной целью реабилитировать цезаризм в интересах бонапартизма. Великое несчастье Тацита, как летописца-свидетеля, и еще более великое счастье, как вечно жизненного историка, — его яркая публицистичность, за которую, как за палку о двух концах, хватаются ученые, отражая на себе политические веяния и потребности века. Сочинения Тацита с тех пор, как Поджио Браччиолини возвратил их к свету, были постоянной опорой и литературным орудием республиканской мысли в борьбе с пережитками феодальной монархии. Этот старый римский аристо-

крат много поработал на то, чему содействовать он, живой, совсем не хотел и в ужасе и в отчаяние пришел бы от одной возможности такого союза: много помог и образами своими, и формулами антимоноархической работе международной европейской демократии. Естественно, что он был полубогом в эпоху Великой Французской Революции. Гастон Буассье в своем грациозном и легком — быть может, слишком уж легком! — труде о Таците (1903) красиво и верно изображает влияние римского историка на деятелей «изящной революции»: m-me Ролан, Камилла Демулена. Наполеон I, наоборот, жесток гнал его имя. За хвалебную статью Шатобриана о Таците он закрыл журнал «Меркурий» и лишил бедняка Жозефа Шенье (брата казненного поэта) университетской кафедры за один лишь стих:

При имени его (Тацита) бледнеть — судьба тиранов!

Que son nom prononce fait pâlir les tyrans!

У нас в России, до сих пор излагающие политические протесты свои лишь обвиняками и эзоповым языком, ученые симпатии к Тациту выросли также на этой почве. Из могилы

античного мира Тацит подавал голос, которому с удовольствием и сочувствием внимал, задавленный военной монархией Николая Первого, русский дворянский либерализм, и голосом этим было удобно пользоваться, заставляя его сказать аллегорическими аналогами и параллелями горькие истины, которые произнести собственный язык прилипал к гортани, ибо не можно прати противу рожна. Всецело этим духом замаскированного современного протеста полон блистательный по форме и силе перевод Тацитовой «летописи», исполненный Андреем и Алексеем Кронебергами, — к сожалению, не точный, так как сделан был с французского перевода, а не с Латинского подлинника. В бессмертной сатире Салтыкова «За рубежом» сохранился тип русского учителя Старосмыслова, который чуть было не улетел в Пинегу, да, слава Богу, разрешили выехать за границу, — за то, что начитался, знаете, Тацита, да и задал детям, для перевода с русского на латинский, период: «Время, нами переживаемое, столь бесполезно-жестoko, что потомки с трудом поверят существованию такой человеческой расы, ко-

горя могла оно перенести». Русские тацитанцы пятидесятых, шестидесятых, семидесятых годов — все почти более или менее Старосмысловы. Тацит им нужен, как идейное оружие, а кто берет меч в руку, должен верить в него безусловно. Отсюда слепое доверие к Тациту не только Кудрявцева в его «Римских женщинах», но и позднейших — В.И. Модестова, М.Н. Петрова и др. Исключением является вышеупомянутая, навеянная Меривалем, книга Драгоманова.

В конце семидесятых годов XIX века началось, а в восьмидесятых и девяностых годах продолжалось новое скептическое течение, отрицавшее уже не факты или взгляды Тацита, но самого Тацита: подлинность и древность его сочинений. Любопытно, что гипотеза подложности Тацитовых рукописей возникла сразу и в Англии, и во Франции. Начинателем ее явился англичанин Росс в книге «Тацит и Браччиолини», увидевшей свет в 1878 году (Tacitus and Bracciolini. The Annals forged in the *XVth* century. London 1878). Во Франции пошел тем же путем П. Гошар (P. Hochart), он же Г. Дакбер (Dacbert), в трех

главных работах своих: «Этюды о жизни Сенеки» (1882—1885), «Этюды по поводу гонения христиан при Нероне» (1885) и «О подлинности Анналов и Истории Тацита» (1890). Увлечение неприменным желанием доказать, во что бы то ни стало, что Тацитовы сочинения — не более, как великолепный подлог гениального мистификатора Поджио Браччиолини, очень часто приводит Гошара к сомнительным, иногда почти недобросовестным положениям и натянутым доказательствам. Но нельзя не сознаться, что столь же часто он открывает совершенно новые точки зрения на факты и ставит правоверное доверие к Тацову авторитету в безвыходные тупики.

Система Гошаровых доказательств подложности мнимо- исторических сочинений Тацита слагается из нескольких основных положений. А именно:

1. Сомнительность рукописей, в которых дошли до нас сочинения Тацита, и обстоятельств, при которых они были открыты, через посредство Поджио Браччиолини.
2. Полная или относительная невозмож-

ность для Тацита написать многое, входящее в *Анналы* и *Истории*, по условия его эпохи.

3. Следы эпохи Возрождения в тексте псевдо-Тацита.

4. Преувеличенное мнение о достоинствах Тацита, как латинского классика.

5. Не позднейшие (по общепринятой хронологии литературы) основные историки-свидетели Рима (Иосиф Флавий, Плутарх, Светоний, Дион Кассий, Тертуллиан, Павел Орозий, Сульпиций Север и до.) заимствовали свои данные у Тацита, но, обратно, мнимый Тацит есть лишь распространитель, амплификатор, тех сведений, которые он черпал у выше названных, имея уже всех их в своем распоряжении и сортируя их, как ему нравилось.

6. Литературный талант, классическое образование и жульнический характер Поджио Браччиолини потрафляли как раз на вкус и требование эпохи, требовавшей воскресения мертвых античных богов, художников и авторов.

7. Поджио Браччиолини мог и имел интерес свершить этот великий подлог, — и совер-

шил его.

Начнем с биографии предполагаемого псевдо-Тацита, Поджио Браччиолини.

Поджио Браччиолини родился в 1380 году в Терра Нуова, в маленьком городке близ Флоренции, и уже в раннем возрасте прослыл юношей незаурядно образованным и острого ума. Служебную карьеру свою он начал при кардинале Бари, но вскоре мы видим его при дворе папы Бонифация IX, в звании копииста, *scriptor pontificus*. Понемногу он возвысился до звания секретаря, *secretarius*, одного из чиновников-редакторов, на обязанности которого лежало выправлять официальные документы (корреспонденцию, грамоты, резолюции), исходящие от имени папы.

В этом чине оставался он и при папах Иннокентии VII и Григории XII. Он был при Александре V в Болонье, куда был временно перенесен престол апостольский, когда этот папа умер, отравленный, — по крайней мере так утверждал тогда голос всеобщей молвы, — Бальтазаром Косса, когда-то пиратом, потом архидиаконом Болонской диоцезы и, наконец, преемником Александра V, папою

римским, под именем Иоанна XXIII. Поджио, человек с покладистой совестью, типический представитель своего неразборчивого века, остался секретарем и при новом папе. Он сопровождал Иоанна на Констанцкий собор 1414 года. Но когда Иоанн был этим собором низложен (1415), Поджио лишился должности и, так сказать, повис в воздухе.

Некоторое время спустя, он поступил на службу Генри Бофора, брата короля Генриха IV, епископа и впоследствии кардинала Винчестерского. С этим богатым и могущественным прелатом он познакомился в Констанце. Бофор играл тогда важную роль в делах церкви, как уполномоченный представитель от народа английского. В сентябре 1418 года Поджио, в свите своего нового покровителя, прибыл в Англию. Но, обманувшись в своих расчетах на богатые прибыли, он уже в 1422 году — снова во Флоренции, а затем в Риме. Папа Мартин V, преемник Иоанна XXIII, возвратил ему старую должность секретаря при святейшем престоле.

XV веке в Италии богат образованными умами, но Браччиолини среди них — один из

самых ярких и замечательных. Латинскому языку он учился у Джовани Мальпагини Равенского, друга Петрарки; греческому — у Хризолора (Chrysoloras, ум. 1415); знал он и еврейский язык. Древности он изучал с пылким пристрастием. Его почти невозможно было застать иначе, как за латинскою или греческою книгою или за отметками из нее. Это был настоящий глотатель библиотек. В молодости он имел в своем распоряжении богатейшую библиотеку Колучо Салутати, канцлера флорентийской республики, которого книги «больше принадлежали каждому охотнику до наук, чем ему самому». В Лондоне — пользовался великолепным книгохранилищем Бофора, который «вечно скитается, как скиф, а я на досуге зарываюсь в книги». Библиотека папского дворца в Риме не удовлетворяет Поджио; он то и дело пишет друзьям своим: пришлите мне такое-то и такое-то сочинение. Список изученных им античных писателей, языческих и христианских, поистине, грандиозен. Он антикварий, нумизмат, разбирает и толкует надписи и медали; на вилле своей в Валь-д'Арно он собрал прекрасный

музей древностей, приобретенных лично им или по его поручению в Италии, Греции и на Востоке. Он первоклассный латинист. Его перу принадлежат переводы с греческого на латинский язык «Киропедии» Ксенофонта и первых пяти книг Диодора Сицилийского. В оригинальных трудах своих он — писатель первоклассного дарования, блестящий не только почти невероятной эрудицией, но и такой же гибкостью и силою таланта. Его философские и этические трактаты (О скупости, О благородстве, О несчастье государей, О бедственности бытия человеческого) достойны Цицерона и Сенеки. О богословских вопросах и христианских добродетелях он умеет говорить языком, который, без подписи Браччиолини, всякий принял бы за язык кого-либо из отцов церкви. В погоне за Плинием, от которого он в восторге, Браччиолини пишет книгу «О нравах индийцев». Составляет любопытнейшее археологическое руководство к изучению римских памятников (*De varietate fortunae*). Рассказывает путешествие по Персии венецианца Никколи ди Конти. Переводит на итальянский язык *Astronomicon* Мани-

лия. Угодно сатиру в духе Петрония? Поджио предлагает свою язвительнейшую «*Historia convivalis*» (Застольная история), в которой бичует шарлатанов юристов и медиков, сделавшихся господами своего века, наживающих, через глупость человеческую, и огромную власть, и огромные капиталы. Угодно исторический труд типа Тацитовой Летописи? Такова *Historia Florentina* (История Флоренции): рассказ замечательно ясного и точного тона, твердого рисунка, яркого колорита, полный художественных образов и характеров и глубоко проницательный в суждениях и предвидениях. Наконец, великую славу Поджио Браччиолини непрерывно укрепляли и поддерживали остроумные и глубокомысленные письма, которыми он обменивался с великими мира сего (Николаем, Лаврентием и Козьмою Медичи, с герцогами Сфорца, Висконти, Леонелло д'Эсте, королем Альфонсом Арагонским), с большинством современных кардиналов и почти со всеми замечательными деятелями эпохи. Великолепные письма Поджио Браччиолини ходили по рукам, перечитывались, переписывались, заменяя ита-

льянской интеллигенции XV века газеты и журналы. Словом, этот блистательный подражатель был в полном смысле слова властителем дум своего века. Критика ставила его на один уровень с величайшими авторами Возрождения. Как высоко его ценили, доказывают его гонорары: за посвящение «Киропедии» Альфонсу Арагонскому Поджио получил 600 золотых — 7.200 франков. По тогдашней цене денег, это — огромный капитал. Литература выдвинула его в ряды государственных деятелей, и жизнь свою он окончил на высоте большого и властного поста — канцлером Флорентийской республики. Он — до такой степени в центре современной ему литературы, что первую половину итальянского XV века многие находили возможность определить «веком Поджио». Даже во Франции его имя исчезло в фамильном сокращении исторической общеизвестности — le Rogge. Флоренция воздвигла ему заживо статую, изваянную резцом Донателло. Сперва она стояла под портиком собора Санта Мария дель Фиоре, — теперь перенесена в самую церковь.

Таковы светлые стороны этого замечатель-

нейшего человека. Посмотрим теньевые.

Великий писатель имел отвратительный характер, который перессорил его со всеми литературными знаменитостями эпохи (Ауриспою, Гуарино, Виссарионом, а в особенности, Филельфо и Валлою). Впрочем, в полемике все эти большие люди ничуть не лучше своего ядовитого и свирепого соперника. Полициан зовет Поджио «самым злоречивым человеком на свете: всегда-то он либо на государей наскокивает или обычаи человеческие атакует, без всякого разбора, либо писания какого-нибудь ученого терзает, — никому от него нет покоя!» Кажется, был весьма сластолюбив и, к старости, вырастил эту страстишку свою в изрядное бесстыдство. Женился стариком на молоденькой и в трактате «Надо ли жениться старикам», посвященном Козьме Медичи, цинично объяснил свою женитьбу афоризмом, что никогда не поздно человеку найти путь к порядочному образу жизни (*sega nunquam est ad bonos mores via*). В Констанце, в Лондоне, всюду живет он широкою жизнью гуляки и бабника, большой любитель непристойных картин, рассказов и стихов, а в ста-

рости и сам их усердный и разнузданный сочинитель, чем жестоко попрекает его Валла. Словом, в ученом этом пред нами такой же большой талант жить в свое удовольствие, как большой талант творческий: типический флорентинский барин, эстет и буржуа, эпикуреец XV века, с красивой мечтою и изменною жизнью, человек-вулкан, из которого то брызжет живой огонь, то течет вонючая грязь.

Широкий образ жизни стоил Поджио Браччиолини дорого, превосходил смолоду его средства и заставлял его вечно нуждаться в деньгах. Источником добавочных доходов явились для него розыски, приготовление и редакторство списков античных авторов по подлинным манускриптам. В XV веке, с жадностью устремившемся к воскресающей древности, это была очень доходная статья. При содействии флорентийского ученого, книгоиздателя и книгопродавца, Никколо Никколи (1363—1437), который в то время был царем литературного рынка, Поджио Браччиолини устроил нечто вроде постоянной студии по обработке античной литературы и привлек к

делу целый ряд сотрудников и контрагентов, очень образованных и способных, но сплошь — с темными пятнами на репутациях: тут — Чинчо Римлянин, Бартоломео из Монтепульчано, Пьеро Ламбертески. Никколо Никколи кредитовал Поджио оборотным капиталом и служил агентом по сбыту манускриптов, то есть собственно говоря, был его издателем — и очень ревнивым и повелительным. Это был человек властный и вспыльчивый. Он умел скручивать в бараний рог даже таких литературных тузов, как Леонардо Аретин, Мануил Хризолор, Гварино и Ариспа, которых Никколи, когда поссорился с ними, просто таки выжил из Флоренции.

Первые свои находки Поджио Браччиолини и Бартоломео ди Монтепульчано сделали в эпоху Констанцского собора, когда низложение Иоанна XXIII поставило их, как упраздненных папских секретарей, в весьма критическое положение. В забытой, сырой башне Сен-Галленского монастыря, «в которой заключенный трех дней не выжил бы», им повезло найти кучу древних манускриптов: сочинений Квинтилиана, Валерия

Флакка, Аскония Педиана, Нония Марцелла, Проба и др. Открытие это сделало не только сенсацию, но и прямо таки литературную эпоху. Нет никакого сомнения, что Никколи, которому досталась из этого сокровища львиная доля, хорошо нажил и мечтал нажить еще, а Поджио, ободренный громадным успехом, усердно рылся по монастырским библиотекам Англии и Германии, но не находил ничего или находил мало. Впрочем, по словам его, он доставил Никколи «Буколики» Кальпурния и несколько глав Петрония.

Но если не находилось новых оригиналов, зато успешно шла торговля копиями. Манускрипт, выходявший из мастерской Поджио, ценился очень высоко. Между тем, в письмах своих он то и дело требует от Никколи бумагу, пергамент, переплетный приклад, и, если издатель запаздывает доставкой, Поджио плачется, что ему приходится даром кормить мастеров своих, за неаккуратным ходом работы. Мастера эти были, надо думать, господа не из приятных. Писцы в обществе XV века пользовались худою репутацией. Один нотариус в конце XIV столетия восклицает в пись-

ме к другу с торжеством, довольно, казалось бы, странным: «Я нашел превосходного писца и — представь! — не в каторжной тюрьме!» (No trovato un bello scrittore fuor delle stinече). Разумеется, писцы работали, по преимуществу, ходовой, второстепенный товар, в котором ценна была только редакция Поджио. Любительские экземпляры хозяин готовил сам и — какую цену драл он за них, можно судить по такому примеру, что, продав Альфонсу Арагонскому собственную копию Тита Ливия, Поджио на вырученные деньги купил виллу во Флоренции. С герцога д'Эсте он взял сто дукатов (1.200 франков) за письма св. Иеронима — и то с великим неудовольствием, видимо вынужденный безденежьем, либо тем, что работа залежалась, а отцы церкви в век Возрождения шли с рук не так бойко, как языческие философы. Клиентами Поджио были Медичи, Сфорца, д'Эсте, аристократические фамилии Англии, Бургундский герцогский дом, кардиналы Орсиони, Колонна, богачи, как Бартоломео ди Бардис, университеты, которые в эту пору, по щедрости просвещенных правителей, либо начали обзаводиться

библиотеками, либо усиленно расширяли свои старые книгохранилища. Поджио зарабатывал очень большие деньги и оставил своим детям отличное состояние, которое те чрезвычайно быстро расточили. Но нет никакого сомнения, что жил он — по крайней мере, очень долго, лет до 40 — шире своих постоянных доходов и часто нуждался, чтобы выручить себя из долгов, в каком-либо экстренном большом куше, который должен был добывать экстренными же средствами. В выборе же последних разборчивым быть не умел.

Таков человек, который «нашел» Тацита. Посмотрим теперь, что именно и как он нашел.

II

Основные рукописи Тацитовых Летописи и Истории, известные под именем Первого и Второго Медицейского Списка, хранятся во Флоренции в книгохранилище *Bibliotheca Laurentiana*. Книгохранилище основано было Козьмою Медичи, пожертвовавшим в нее свою собственную библиотеку и библиотеку Никколи, приобретенную герцогом по смерти знаменитого издателя (1437). Поджио Брач-

чиолини и его тесть Буондельмонти были в числе директоров-устроителей книгохранилища. Второй Медицейский список древнее первого, если не по происхождению, то по опубликованию на 80 лет. На первой его странице ясно значится:

Cornelius Tacitus et Opera Apuleii,
conventus sancti Marci de Florentia, ord.
Praedic. De hereditate Nikolai Nicoli
Florentissimi,
viri doctissimi.

(Корнелий Тацит и Сочинения Апулея,
из книг монастыря св. Марка во Флоренции,

чина Пропов. По наследству от
Николая Никколи Флорентийского доблестного

гражданина и ученейшего мужа).

В списке этом, из Тацита, заключаются шесть последних книг «Летописи» и пять первых книг «Истории». В этих частях своих он является прототипом для всех остальных списков, имеющих претензии на древность: Фарнезского в Ватикане, Будапештского, Вольфенбюттельского и т.д. Первое печатное

издание Тацита, выпущенное в Венеции Джованни Спирою или братом его Ванделином около 1470 года, печатано ими со Второго Медицейского списка, или — по преданию — с точной его копии, хранившейся в Венеции, в библиотеке при соборе св. Марка. Но отсюда он исчез, а может быть никогда в ней и не был: предание просто смешало две одноименные библиотеки. Обычно и общепринятое мнение о списке этом, что он — плод труда монахов-переписчиков знаменитой бенедиктинской пустыни Монте Кассино в Италии, на полпути между Римом и Неаполем.

Первый Медицейский список приобретен папою Львом X и немедленно напечатан им (1515) в Риме, под наблюдением Филиппа Бироальда Младшего:

Cornelii Taciti historiarum libri quinque nuper in Germania inventi.

(Пять книг истории Корнелия Тацита, недавно найденные в Германии).

Эти пять книг — начальные «Летописи», обнимающие правление Тиберия. Таким образом, оказалось, по картинному выражению Бироальда, что «Корнелий в веках головы сво-

ей не потерял, а только ее прятал». Думают, что список найден в Корвейском монастыре и, принесенный каким-то монахом в Рим, приобретен для папы неким Арчимбольди, впоследствии миланским епископом. Корвей — маленький городок Вестфалии, в 65 километрах на Ю.В. от Миндена. Его бенедиктинский монастырь, основанный Людовиком Добряком в IX веке, играл в средние века роль очень важного религиозно-политического центра.

Два Медицейские списка, соединенные, дают полный свод всего, что дошло до нас из исторических сочинений Тацита.

Язык, манера изложения, тон, — все литературные достоинства и недостатки, — являются в обоих списках несомненное единство, доказывающее, что пред нами труд одного автора. До Юста Липсия (1547—1606) весь Тацитов материал, заключенный в обоих сборниках, считали одним общим сочинением. Юст Липсий разглядел, что, несмотря на кажущееся преемство содержания, «Анналы» и «Истории» — два разных труда, хотя и одного автора, и установил их деление, принятое и те-

перь.

Существенной разницей между двумя Медицейскими списками является почерк их. Второй список выполнен так называемым ломбардским письмом, а первый каролинским.

Таковы, в общих чертах, главнейшие данные двух основных Тацитовых списков, которые слишком три века наука признавала подлинными, покуда Росс и Гошар не коснулись этой девственной репутации своими дерзкими руками. Как они ведут свою атаку?

Признавая несомненным происхождение Второго Медицейского списка из библиотеки Никколо Никколи, Гошар именно в принадлежности этой усматривает ключ к обличению подлога Поджио Браччиолини.

Нет никакого сомнения, что историк Кай Корнелий Тацит, современник императора Траяна, был популярным и уважаемым писателем во все дальнейшие века римской империи до самого конца. О том, что его знали и читали, мы имеем сведения от его современников (Плиний Младший), из третьего века от его врага — христианского апологета Тер-

туллиана, из четвертого века — от Флавия Во-
ниска и Блаженного Иеронима, из пятого —
от Павла Орозия, Сидония Аполлинария, из
шестого — от Кассидора. Затем имя Тацита
исчезает из памяти цивилизованного мира
на много веков. Начало же оно исчезать мно-
го раньше. Хотя Ф. Вописк рассказывает о Та-
ците весьма лестные истории: как гордился
происхождением от него император Тацит,
как повелел он, чтобы списки произведений
великого предка имелись во всех публичных
библиотеках империи, но литература не со-
хранила нам ни малейших следов Тацитова
авторитета, а латинские грамматики конца
римской империи, Сервий, Присцион, Ноний
Марцелл, усердные цитаторы и исчислители
имен своей литературы, не поминают Тацита
и, очевидно, уже о нем не знают. В IX веке
(пятьсот лет спустя!) имя Тацита странно
всплывает в хронике Фрекульфа, епископа в
Lisieux, а в XI — в «Polycraticon», памфлете
Иоанна Салисбурьского против королев-
ской власти. Но, по замечанию Гошара, оба
эти упоминания — настолько общего харак-
тера и не говорят о Таците ничего приметно-

го и своего, что нет никакой надобности предполагать, будто в библиотеках Фрекульфа или Иоанна Салисбурьского имелись сочинения Тацита. Для этого было достаточно памяти о Таците и его творчестве, которую поддерживали своими сведениями вышеупомянутые христианские писатели и благополучно довели эту память до XV века, когда Тациту пришло время воскреснуть. Тацита не было, но память его жила, программа его исторических трудов была известна, предположительно резкий, обличительный тон их был легко вообразим. Многие ли из тех, кто сейчас употребляет для ссылки или примера имя хотя бы князя Курбского, в самом деле, читали письма князя Курбского? Известным образом упроченные в литературной памяти имена становятся в своем роде нарицательным. На всем протяжении средних веков, ни в трудах, ни в переписке ученых, ни разу не мелькнул намек на какую-либо сохранившуюся рукопись Тацита, и, наоборот, очень часто один просит для прочтения, другой для переписки сочинения Саллюстия, Светония, Цицерона, Квинтилиана, Макробия и других

латинских авторов.

Существуют монашеские легенды о рукописях Тацита, будто бы сохранявшихся в монастырских библиотеках знаменитой бенедиктинской пустыни на Монте Кассино и таковой же обители в Фульде (в Германии, близ Касселя). Первая легенда возникла из упоминания в «Хронике» Дезидерия, впоследствии (1086) папы Виктора III, что, когда он был игуменом Монте-Кассинской пустыни, то монахи, под его руководством, сняли копии 61 тома творений писателей церковных и языческих, в том числе «Историю Корнелия с Гомером» (*Historiam Cornelii cum Omero*). Книги эти, по словам монастырской летописи, были по большей части расхищены в многочисленных грабежах пустыни разбойниками и кондотьерами. Гошар недоумевает: зачем этим почтенным промышленникам понадобилось расхищать монастырскую библиотеку вообще и почему, в частности, если уж понадобилось, то унести не другое что, а именно Тацита? Впрочем, о Таците и нет упоминания в Дезидериевой хронике, — «Историей Корнелия» мог быть и Корнелий Непот или другой

какой-либо из многочисленных римских писателей Корнелиев (plures Cornelii scriptores). Гошар, вообще, весьма скептически относящийся к легендам о сокровищах средневековых монастырских библиотек, полагает неестественной саму легенду о том, чтобы Дезидерий, друг Петра Дамиана, — оба злейшие враги светского просвещения, — прилагал какие бы то ни была старания к сохранению языческих писаний, которые и устав, и личные антипатии повелевали ему уничтожать. Это позднейшая выдумка, уступка веку гуманизма. Аббат Рансе (abbe de la Trappe, 1626— 1700, преобразователь ордена траппистов и автор «Жития св. Бенедикта») считает предания о письменных работах бенедиктинцев догадкой, на которой не стоит останавливаться. Тем не менее большинство историков считает Второй Медицейский список, как уже сказано, происходящим из Монте Кассино и переписанным в половине IX или XI века с какой-то, добытой из Германии или Франции, рукописи IV или V века.

Фульдская легенда держится за цитату в местной монастырской летописи: «Итак в го-

роде, именуемом Мимидою, на реке, которую Корнелий Тацит, историк подвигов, совершенных римлянами среди народа этого, называет Визургись (Везер), а нынешние зовут Визарака». Отсюда заключили, что летописец имел перед глазами подлинный текст «Анналов» Тацита. Но Visurgis — общее греко-латинское имя Везера: у Страбона, Плиния, Птолемея, Диона, Сидония Аполлинария. Так что нет никакой необходимости в том, чтобы монах почерпнул эту премудрость непременно из подлинного Тацитова текста, — о том, что Тацит писал историю германских войн, обстоятельно говорит и Сидоний Аполлинарий.

Еще легендарный список Тацита был будто бы сделан рукою Джованни Бокаччио для собственной его библиотеки. Последняя цела, но Тацит — такова уже судьба этого писателя — исчез и из нее неизвестно когда и куда. Гошар недоумеваает: если существовал этот экземпляр, то откуда бы Бокаччио взял оригинал для списывания? Предполагают, что в Монте Кассино, во время своего пребывания в Неаполе. Но, раз Гошар отрицает легенду о рукописи Тацита в библиотеке Монте Кассино,

естественно, что он не может принять и ссылку на нее в легенде о Бокаччио. При том сам Бокаччио рассказывает, что в Монте Кассино он пробыл лишь самое короткое время и принят был прескверно, как же и когда же мог он скопировать рукопись, требующую, хотя бы самым скорым письмом, не менее месяца работы, не разгибаясь? А главное-то, — будь Бокаччио знаком с Тацитом, — последний оставил бы хоть какой-нибудь след на его произведениях, — между тем, не заметно никакого. И это тем ярче сказывается, что в своей историко-анекдотической работе «*De casibus virorum et feminarum illustrium*» (О приключениях знаменитых мужей и женщин) Бокаччио говорит, между прочим, о Тиберии, Нероне, Гальбе, Отоне, Вителли и, казни апостолов Петра и Павла, — исключительно по данным Светония, с некоторыми заимствованиями у Ювенала, и — о христианах — из церковного предания. Если бы Бокаччио знал Тацита, могли бы он, великий художник, говоря о смерти Агрипины, оставить без упоминания великолепную морскую драму, написанную Тацитом, или, говоря о смерти апостолов Петра и

Павла, ни словом не обмолвиться о гонении на христиан, сопряженном с великим пожаром Рима? Словом, поразительнейшие страницы Тацита остались для Бокаччио бесцветны и немы: ясно, что он их просто не читал. Гастон Буассье утверждает в своем «Таците» противное, но, к сожалению, без доказательств — с простою ссылкой на статью de Nolhas'a «Vossace et Tacite», который мне не удалось найти.

Таким образом, — кто бы ни был автором Тацитовых сочинений, — но приходится, вопреки Гастону Буассье, согласиться с Россом и Гошаром в том их утверждении, что в конце XIV и начале XV века о Таците никто из образованных людей не имел ни малейшего понятия. Это был великий и туманный миф древности, сохраненный в намеках античных книг. Верили в его безвестное величие и, конечно, мечтали: если бы найти! Мечтали ученые идеалисты, мечтали и ученые практики. Кладовые дворцов, подвалы монастырей, хлам старьевщиков выдали в это время много литературных сокровищ древнего мира и возвратили к жизни Возрождения много антич-

ных мертвецов. Была потребность завершить находки римской литературы Тацитом, — каждый книгопродавец понимал, что найти Тацита значит нажить капитал. И вот — спрос родил предложение, Тацит нашелся.

III

В ноябре 1425 года Поджио из Рима уведомил Никколи во Флоренции, что «некий монах, мой приятель», предлагает ему партию древних рукописей, которые получить надо в Нюрнберге, — в числе их «несколько произведений Тацита, нам неизвестных». Никколи живо заинтересовался и немедленно изъявил согласие на сделку, но, к удивлению и беспокойству его, приобретение предложенной редкости затягивается сперва на два месяца, потом на восемь и т.д. Поджио тянет дело, под разными предлогами и отговорками, а в мае 1427 года Никколи узнает, что его приятель ведет переговоры о рукописи Тацита с Козьмой Медичи. На запрос Никколи, Поджио дал довольно запутанный ответ, из которого ясно только одно, что в эту пору книги Тацита у него еще не было, а имелся лишь каталог немецкого монастыря в Гер-

сфельде (впервые тут он назвал монастырь), в котором, среди других важных рукописей (Аммиана Марцеллина, первой декады Тита Ливия, речей Цицерона) имеется и том Корнелия Тацита. Герсфельд — городок в Гессене, на Фульде; здешнее аббатство, кажется, объединено было с Фульдским общим управлением. Впервые также говорит тут Поджио, что «монаху» нужны деньги; раньше дело шло об обмене старых рукописей на новые религиозные издания Никколи. С монахом Поджио что то немилосердно врет и путает: монах — его друг, но, будучи в Риме, почему-то не побывал у Поджио, и надо было добиться, чтобы найти его, окольным путем; книги в Герсфельде, а получить их надо в Нюрнберге и т.д. В заключение, Поджио сперва забывает послать Никколи обещанный Герсфельдский каталог, а, когда раздраженный издатель вытребовал его к себе, в каталоге никакого Тацита не оказалось. В такой странной волоките недоразумений, имеющих весь вид искусственности, проходят и 1427, и 1428 годы. Наконец 26 февраля 1429 года — значит, 3 1/2 года спустя после того, как нача-

лась эта переписка, — Поджио извещает Никколи, что таинственный «герсфельдский монах» опять прибыл в Рим, но — без книги! Поджио уверяет, что сделал монаху за то жестокую сцену, и тот, испугавшись, сейчас же отправился в Германию за Тацитом, «Вот почему я уверен, что скоро мы получим рукопись, так как монах не может обойтись без моей протекции по делам своего монастыря».

На этом прекращается переписка между Поджио и Никколи о герсфельдском Таците, что объясняется скорым их личным свиданием: лето 1429 года Поджио провел в Тоскане. То обстоятельство, что он в это время, действительно, раздобылся Тацитом — и, как глухо говорил он, из Германии — несомненно. Честь открытия Тацита, по настоянию к поискам со стороны Никколи и чрез посредство какого-то неизвестного монаха, приписывают Поджио в XVIII веке и знаток литературы XV века, аббат Мегю, и Тирабоски (1731—1794).

Растянувшись чуть не на пять лет, открытие Поджио огласилось раньше, чем было совершено, и вокруг него роились странные слухи. Последними Никколи очень волновал-

ся, а Поджио отвечал: «Я знаю все песни, которые поются на этот счет и откуда они берутся; так вот же, когда придёт Корнелий Тацит, я нарочно возьму, да и припрячу его хорошенько от посторонних». — Казалось бы, — справедливо замечает Гошар, — самой естественной защитой рукописи от дурных слухов было — показать ее всему ученому свету, объяснив все пути, средства и секреты ее происхождения. Поджио, наоборот, опять обещает хитрить и играть в темную.

Неизвестно, тотчас ли Поджио и Никколи опубликовали копии с Тацита, которым осчастливил их таинственный монах, если только был какой-нибудь монах. Можно думать, что нет. Они придерживали свое сокровище и набивали ему цену. Списки авторов стоили тем дороже, чем они были реже. Поэтому экземпляры Тацита, художественно воспроизводимые фирмой, расплывались к таким высокопоставленным покупателям, как Пьетро Медичи, Матвей Корвин и т.п., — в общем же обороте их не было, чем, вероятно, и объясняется долгое молчание о Таците ученой критики. Так, например, Полициано

(1454— 1494) либо вовсе не видал нового Тацита, либо отнесся к Поджиеву манускрипту с подозрением, потому что — подобно как выше Бокаччио — в этюде своем о Светонии и Цезарях, совершенно не касается Тацита, хотя говорит о нем с высоким почтением, со слов Плиния и Вописка. Это тем любопытнее, что Полициано должен был знать уже и печатное издание Тацита (1470 у Спиры в Венеции). Дзекко Полентоне, друг Никколи, очевидно, видел рукопись лишь мельком, как говорится, из рук приятеля, так как не знает точного счета книг Тацитовых (*librorum Taciti numerum affirmare satis certe non audeo*).

Более того: Макиавелли, которого в потомстве так часто сравнивают с Тацитом, — наглядный и разительный показатель того, что даже в начале XVI века первоклассный историк и политик, специально обсуждая темы империализма, столь жгуче напоминающие аналогии Тацита, мог, однако, пройти мимо последнего, словно его и не было на свете, и развивать свои римские примеры исключительно по Титу Ливию — для республиканского периода, по Спартиану и авторам *Historiae*

Augustae — для периода имперского. Между тем, Макиавелли родился в тот самый год, когда были напечатаны последние главы «Анналов» и «Истории» (1469) и умер 17 лет спустя после находки и напечатания первых пяти глав «Анналов». Это совершенно не согласуется с утверждением Гастона Буассье, будто со второй половины XIV века Тацит сделался настольною книгою итальянской знати и как бы руководством придворной политики. Век изучающего восторга к Тациту был еще впереди.

Бэйль исчисляет итальянских принцев, поклонников Тацита: папа Павел III Фарнезе (1534—1549), Козьма I Медичи (1519—1574). Шестнадцатый век действительно увлекся Тацитом, и его можно считать — особенно к концу, на переломе к XVII (Бальзак, Монтэнь) — полем не только сравнения между Тацитом и Макиавелли, но и борьбы между их морально-политическими влияниями. Дюбуа Гюшан — великий ненавистник Макиавелли — отмечает выразительною антитезою, что во Франции Тацит был настольным автором герцога Гиза, тогда как Макиавелли —

Генриха III. Отец литературной комментировки Тацита Юст Липсий только в 1574 году открыл различие «Анналов» от «Истории», которые смешивали в одно сочинение более ранние филологи, как Альчиати (1492—1550), Бероальт, Б. Ренан (Beatus Rhenanus, 1485—1547). «Властителем дум» Тацит становится только в XVII веке и — чем дальше, тем больше и глубже. «Мы, французы, обязаны гению Тацита всею нашею трагедией, — говорит Дюбуа Гюшан, хотя этот бонапартист совсем не большой поклонник римского историка — «Британик», «Отон», «Германик», «Тиберий», «Радамист», «Береника», «Эпихарис», «Праздник Нерона»; из Тацита вышли наши Корнель, Кребийон, Расин, Шенье, Арно, Легуве, Суме. Франция — вообще, страна, наиболее воспринявшая и разработавшая художественный гений Тацита. В то время как на германской литературе XVII века он почти не оставил следа, во Франции он ярко отразился почти в каждой крупной литературной величине: m-me Севинье, Монтескье, Тиллемон, д'Аламбер, Тома, Ла Гарп — его поклонники, Роллен, Вольтер, Мабли — его суровые, но

уважающие критики. «Первый из историков», характеризует его д'Аламбер. «Он не умеет творить иначе, как — шедевры!» — прибавляет Ла Гарп. И надо заметить, что это влияние непосредственное — настоящего, латинского Тацита, так как хотя переводить Тацита на французский язык начали уже в 1548 году (Анж Капель), но еще Мармонтель (1728—1799) и тот же Ла

Гарп объявили его, в сущности, неперево-димым. Любопытно отметить, что у нас, в Рос-сии, Тацита усиленно переводили при Алек-сандре I, ученике Ла Гарпа. За первое десяти-летие XIX века вышел перевод «Летописи» (академика Степана Румовского, в 1806—1809 гг.) и перевод всех сочинений Тацита, сделан-ный в 1802—1807 гг. Федором Пospelовым. Последний перевод не только посвящен им-ператору Александру, но даже и издан по вы-сочайшему повелению, — и это в то самое время (а может быть, именно поэтому), — как на Сене великий ненавистник Тацита, Напо-леон, вел с римским историком полемику, точно с живым неприятелем, выгонял его по-клонников со службы и требовал от Акаде-

мии союза против столь опасного врага.

Любопытно, что, в много позднейшем издании писем своих к Никколи, Поджио, упустив из вида даты переписки своей о Таците 1425—1429 гг. — с каким-то задним намерением фальсифицировал даты 28 декабря 1427 и 5 июня 1428 года в двух, вновь оглашенных, письмах, которыми он просит:

«Ты мне прислал том Сенеки и Корнелия Тацита. Благодарю тебя. Но последний исполнен ломбардским письмом, при чем значительная часть букв стерлась. А я видел у тебя во Флоренции другой экземпляр, написанный древним письмом (каролинским)... Трудно найти писца, который правильно прочел бы тот список, что ты мне прислал. Пожалуйста, доставь мне такого. Ты можешь, если захочешь». Во втором письме Поджио уверяет Никколи, что, через посредство Бартоломео де Бардис послал ему декаду Ливия и Корнелия Тацита. «В Таците твоём недостает нескольких страниц в разных местах рукописи», и т.д.

Рядом довольно обстоятельных доказательств, чрез исключение третьего, Гошар

устанавливает факт, что рукопись ломбардскими буквами и с пропусками листов не могла быть иною, как тем Вторым Медицейским списком, который считается древнейшим экземпляром Тацита. Вместе с тем, Поджио дает понять, что в его и Никколи распоряжении есть еще какой-то древний Тацит, писанный буквами античными (каролинскими). Даты писем, — кажется, нельзя сомневаться, — подложны, сочинены *post factum* появления в свете Тацита от имени Никколи, затем, чтобы утвердить репутацию первого (ломбардского) списка, пошедшего в обиход разных княжеских библиотек и подготовить дорогу второму списку (каролинским почерком). История переставила их очередь: первый Тацит Поджио сделался Вторым Медицейским, второй Тацит Поджио сделался Первым Медицейским, — так полагает и во многом правдоподобно доказывает Гошар.

Изучая историю происхождения Первого Медицейского списка (каролинским письмом), нельзя не заметить, что повторяется легенда, окружившая, 80 лет тому назад, список Никколо Никколи, то есть — Второй Меди-

дейский. Опять на сцене северной монастырь, опять какие-то таинственные неназванные монахи. Какой-то немецкий инок приносит папе Льву X начальную 5 главу «Анналов». Папа, в восторге, назначает будто бы инока издателем сочинения. Инок отказывается, говоря, что он малограмотен. Словом, встает из мертвых легенда о поставщике Второго Медицейского списка, герсфельдском монахе, — только перенесенная теперь в Корвеи. Посредником торгова легенда называет, как уже упомянуто, Арчимбольди — в ту пору собирателя налогов в пользу священного престола, впоследствии архиепископа миланского. Однако, Арчимбольди не обмолвился об этом обстоятельстве ни единым словом, хотя Лев X — якобы чрез его руки — заплатил за рукопись 500 цехинов, т.е. 6.000 франков, по тогдашней цене денег целое состояние. Эти вечные таинственные монахи, без имени, места происхождения и жительства, для Гошара — продолжатели фальсификационной системы, пущенной в ход Поджио Браччиолини. Их никто не видит и не знает, но сегодня один из них приносит из Швеции или Дании потерян-

ную декаду Тита Ливия, завтра другой из Корвей или Фульды Тацита и т.д. — всегда почему-то с далекого, трудно достижимого севера и всегда как раз с тем товаром, которого хочется и которого недостает книжному рынку века.

Что касается специально Корвейского монастыря, откуда будто бы происходит Первый Медицейский список, мы имеем достаточное отрицательное свидетельство в письме самого Поджио Браччиолини, адресованного к Никколо Никколи еще из Англии, что знает он этот немецкий монастырь как свои пять пальцев, и — не верь дуракам: никаких редкостей в нем нет! Из ближайших по времени ученых решительно никто ничего не знает о находке Тацита (включительно до его первоиздателя Бироальда) в Корвейском монастыре. Смутно все говорят о Германии, как то было и во время Никколо Никколи. Современники и друзья Арчимбольди, — Алчати, Угелли, — ничего не говорят о роли его в столь важном и славном открытии века. Больше того: Угелли рекомендует Арчимбольди особой столь знатного происхождения, что мудрено

даже и вообразить его на скаредном амплуа провинциального собирателя налогов и милостыни. Аббат Мегю (Mehus) в XVIII столетии оставил легенду о корвейском происхождении Тацита без внимания, Бэйль сообщает ее лишь как слух, изустно, в виде анекдота, переданного ему «покойным господином Форм, доктором теологии парижского факультета». Со слов того же Фора, он рассказывает, будто папа Лев X так желал найти недостающие главы Тацита, что не только обещал за них деньги и славу, но и отпущение грехов. Удивительно ли, что их поторопились найти?

Итак, об части Тацитова кодекса — одинаково загадочны происхождением своим. Гошар предполагает, по единству темноте и легенде, их окружающих, что они оба — одного и того же происхождения и общей семьи: вышли из римской мастерской флорентинца Поджио Браччиолини,

IV

Становясь в роль прокурора, обвиняющего Содного из величайших гуманистов в преднамеренном подлоге, Гошар, естественно, должен быть готов к ответам на все возраже-

ния противной стороны — защитников Тацита, в интересах которого отстаивать обвиняемого Поджио. За три века Тацитова авторитета, их выросло множество, и обширнейший арсенал их серьезен.

Первое возражение — о неподражаемом, латинском языке Тацита — собственно говоря, самое важное и убедительное с нашей, современной точки зрения — рушится пред соображением о типе образованности XV века вообще и Поджио Браччиолини, как его литературного короля, в особенности. Для этого писателя классическая латынь — родной литературный язык. Он не пишет иначе, как полатыни — и как пишет! По гибкости подражания, это — Проспер Мериме XV века, но еще более образованный, гораздо глубже, вдумчивее и тоньше. Он знает, что ему предстоит иметь дело не с большой публикой, классически полуобразованной, если не вовсе невежественной, но с критикой специального классического образования, и идет на экзамен знатоков во всеоружии разнообразнейших стилей. Когда читателю угодно, Поджио—Сенека, Петроний, Тит Ливий: как хамелеон сло-

га и духа, он пишет под кого угодно, и его «под орех» так же красиво, как настоящий орех.

Сверх того, предрассудок неподражаемости языка Тацита вырос в новых веках вместе с ростом общего Тацитового авторитета. Его темные места, запутанность оборотов, чрезмерный, местами съедающий мысль, лаконизм, синтаксические ошибки и неточности сильно смущали уже первых комментаторов.

— Такие потемки, что сам Феб их не осветит! — сокрушается однажды Юст Липсий.

Блаженный Ренан считает язык Тацита упадочным и испорченным чужеземными оборотами (*abeunte jam romano sermone in perigrinas formas atque figuras*): зато он впитал в себя сок и кровь событий!"

Алчиати, Бероальд, Ферре, Ренан, Юст Липсий, Гроновиусы, Бротье, Гривиус, Эрнести — вот сколько приемных отцов у Тацитова текста после того, как он вышел из мастерской Поджио Браччиолини. Все они текст разбирали, редактировали, правили, и уже в XVII веке Тацит пришел далеко не тот, как увидал его век XV-й. Альчиати и Ферре (*Ferretus*) жестоко

нападали не его жесткую, трудную латынь, к большому негодованию ла Мот ле Байе и ранее Мюре (1526—1585), который уверял, что «у великих римских писателей повара и погонщики мулов знали латинский язык лучше, чем все мы нынешние», Бэйль, однако, с этим не согласился и определенно настаивает, что язык Тацита в образцы латыни и подражанию совсем не годится. В нем есть — «на любителя» — прелесть своеобразной оригинальности, но это не «классик золотого века». Как? — восклицает Бэйль, — нас хотят заставить видеть в Таците идеал чистой и красивой латыни? В таком случае, надо бросить в печь Цицерона и Тита Ливия; потому что, покуда мы с ними будем сравнивать Тацита, этот последний всегда будет казаться нам немножко слишком захваленным... Процесс этой правки продолжается и по сей час, но, несмотря на четырехвековую работу, ни один латинский классик не вызывает стольких недоумений и оговорок, вроде: «так, по крайней мере, думают грамматики» или даже: «здесь ученые мужи стали в тупик!», как иногда восклицает Жозеф Ноде: *hie aestuant docti*

viri! Этот роковой тупик и до сих пор постигает ученых, даже так беззаветно влюбленных в Тацита, как наш Модестов: восхищаясь оригинальным языком Тацита, он, однако, горько жалуется на его запутанность и темноты. Бюрнуф в 1859 году выразил мнение, что, сколько над Тацитом ни работали комментаторы, очищая его и выправляя, в нем всегда останутся сомнительные места, и ни одно издание не сходится с другим тождественно. «Оригинальность языка, при бесконечном горизонте мысли, производит, что последняя является у него иногда как бы в сумерках и заставляет читателя ломать голову, ее разыскивая. За это ученые (Гордон, ла Блеттери, Ансильон) применяли к стилю Тацита характеристику, которою он сам отметил Поппею, жену Нерона: — Она всегда скрывала под вуалью часть лица, для того ли, чтобы не удовлетворить вполне любопытства тех, кто ею любовался, или для того, что это ей было к лицу». (Burnouf.)

Переходя от защиты к нападению, Гошар выставляет, во-первых, ряд соображений, по которым сочинения Тацита, нам известные,

не могут принадлежать перу знаменитого римского Тацита, друга Плиния, автора эпохи Траяна.

Наш Тацит слабо знает историю римского законодательства. Еще Монтескье в «Духе Законов» уличил его, что он (Летопись. VI. 16) отнес закон о процентах, проведенный только в 398 году Рима трибунами Дуеллием и Менением, к законам XII таблиц, что возможно только писателю, незнакомому с законодательным духом XII таблиц. «Предполагая, что закон XII таблиц действительно установил размер роста, можно ли допустить, чтобы в возникших впоследствии спорах между займодавцами и должниками никто на него ни разу не сослался? Вообще, нет никаких следов этого закона о росте; к тому же не требуется глубокого знания римской истории, чтобы убедиться, что подобный закон не мог быть делом децемвиров».

Наш Тацит способен иногда заблудиться в родном своем Риме, среди которого он живет и о котором пишет. Так, например, в одном случае (Летопись. III. 71) он потерял храм Всаднической Фортуны (Fortuna Equester),

уверяет что в Риме нет такого храма, и, так как храм этот непременно ему по обстоятельствам дела нужен, автор, уже присочиняя, переносит его в Анциум. Между тем о римском храме Всаднической Фортуны ясно говорят писатели Августова века: Тит Ливий, Валерий Максим. Модестов защищал этот промах тем, что, значит, в эпоху Тиберия, о котором идет речь, такого храма уже не существовало. Но Валерий Максим — как раз современник Тиберия. И так как речь идет о пожертвовании в храм этот всадническим сословием дара за здоровье Августы Ливии, то — с какой бы стати всадническое сословие жертвовало дары в заведомо не существующий храм? Это столь же мало вероятно, как если бы московская городская управа, пожелав отслужить молебен в табельный день, искала по Москве Исакиевского собора.

Говоря о расширении Клавдием римского померия, наш Тацит замечает, что раньше то же делали только Сулла и Август — и забывает... Юлия Цезаря! Промах этот, обличаемый Цицероном и Дионом Кассием, был замечен еще Юстом Липсием. Великий энтузиаст Та-

цита, он должен был, однако, подчеркнуть ошибку:

— Не могу тебя защищать, Корнелий, — напутал! (Non te defendo, Corneli; erras).

Предполагаемый Тацит очень плохо знает географию своего государства (путешествие Германика, театр войны Корбулона и т.п.) и даже его границу, которую он отодвигает, для своих дней, до Красного моря. В затруднении пред эту загадку текста, комментаторы хотели видеть здесь в Красном море Персидский залив, а в обмолвке Тацита намек на поход Траяна, проникшего с войсками своими до Кармании. Однако, по основательному замечанию Гошара, если бы Тацит хотел сделать Траяну любезность, он мог бы польститься яснее, — для понимания публики, а не для догадок ученых, которые схватились за это предположение только потому, что не остается никакого другого. Seriously же придавать значение территориального расширения безрезультатному походу-набегу Траяна было бы равносильно тому, как если бы современный Наполеону историк поместил на карте французской империи Смоленск и Москву. Кто бы

ни был Тацит, он слишком умен и тонок для подобных крикливых пошлостей. Любопытно, что именно этим местом «Летописи» ученые определяли год ее выхода в свет (после 115 года). Слабость географических знаний Тацита отмечает также Г.Петеръ. Картинные деяния героев Тацита всегда висят где-то в пространстве, что особенно заметно, когда он излагает историю какой-либо войны.

В эпизоде гибели Агриппины мы уже видели, что предполагаемый Тацит не знает морского дела. Точно так же слаб он и в деле военном. Это очень странно для государственного человека в античном Риме, который прежде всего воспитывал в своем гражданине солдата, но вполне естественно для ученого в Риме XV века: Поджио Браччиолини был человек кабинетный и менее всего воин. Военного дела он не изучал даже теоретически, как изучил его Макиавелли, и судил о войне по воображению штатского писателя-буржуа да понаслышке. Гошар этим объясняет смутность и расплывчатость большинства военных сцен у Тацита. Действительно, эти прилизительные описания битв и маршей, если

сравнить их с явную определенностью движений, описанных настоящим военным, Юлием Цезарем, проигрывают чрезвычайно. Эта военная история написана штатским человеком. Опять таки и в этом суде Гошар может найти авторитетнейшую поддержку со стороны немецких ученых. Моммсен называет Тацита «наименее военным из всех писателей», Асбах уверен, что Тацит никогда не командовал не то что легионом, но даже когортой. Г. Петер находит эти мнения слишком уж крутыми, но признает, что Тацит, будучи прекрасным художником-баталистом, не понимает механизма войны и, например, совершенно не умеет передать движения войск. Он великолепно изобразит боевую схватку, но не расскажет боя, даст чудесную походную сцену, но не объяснит характера и логики похода. На поле брани он — как Фабрицио Стендаля при Ватерлоо или Пьер Безухов Толстого на Бородинском поле. Он не видит войны, пока люди не рубят друг друга в рукопашную и не стреляют в упор.

Гошар ловит псевдо-Тацита на разных второстепенных противоречиях текста. Из них

любопытнее других один и тот же эпизод британских войн, который в «Историях» отнесен к эпохе по смерти Нерона, а в «Анналах» — к правлению Клавдия. Громадный список противоречий Тацита приводит Гастон Буассье, что, однако, отнюдь не смущает его относительно как личности, так и достоверности произведений римского историка.

Репутацию подлинности Тацита значительно поддержала в свое время находка в Лионе (1528 года) бронзовых досок с отрывками речи Клавдия в пользу сенатского равноправия галлов, содержания, тождественного с такою же речью того же государя в «Анналах». Гошар указывает, что в текстах Тацита и лионского памятника тождественна только общая идея, но не развитие речи, не говоря уже о выражениях и тоне. Если лионские бронзы — подлинный памятник официального акта, то Тацит почему-то совершенно отверг его авторитет и написал свою собственную речь приблизительно на ту же тему, но с другими ссылками и примерами. Гошар убедительно доказывает, что автор Тацита не видел лионских бронзовых досок. Но, вот, мо-

жет быть, автор лионских досок знал уже Тацита? В таком случае, текст их — такая же искусственная и свободная амплификация соответствующего места в «Анналах», как сами «Анналы» — сводная амплификация Светония, Диона Кассия, Плутарха и др. По мнению Гошара, бронзовые лионские доски — ловкая подделка XV века. Наоборот, для Низара он — доказательство, будто Тацит до такой степени опасался исказить историю чуждыми ей украшениями, что не помещал речей иначе, как в подлинных текстах. Он, конечно, не переписывал их дословно, сокращал, сжимал и пр., но сохранил основные положения и ничего не выдумывал сам. Низар находил, что между текстом Тацита и таблиц только та разница, что историк опустил некоторые местные и частные подробности и совершенно бесполезное рассуждение о происхождении царя Сервия и названий Цэлийского холма. Г. Петер думает, что, располагая сенатскими протоколами либо газетным материалом (*Acta urbis*), Тацит сочинил речь, очень близкую по содержанию к той, которую действительно произнес Клавдий и которая записана

на лионских досках. Но, по важному тону своей «Летописи», исключая юмор, он облагородил ее, выкинул курьезные подробности, в которых Клавдий выдает свой мелочный и бестолковый ум, и тем обезличил речь. Вообще, речам героев Тацита Петер приглашает не доверять, так как у него есть манера вытравлять из передачи личность говорящего и приближать слог и тон к обычному условному ораторству форума. Не удивительно поэтому, — замечает Г. Петер, если мы в «Анналах» (XIV, 11) не находим ничего соответствующего тому письму, которое Сенека от имени Нерона послал сенату и сильную фразу из которого сообщает Квинтилиан (VIII, 5): *Salvum me esse adhuc nec credo, nec gaudeo*. Квинтилиан восхищается во фразе этой эффектом удвоения: *facit sententias sola geminatio*. Тацит нашел ее, вероятно, слишком изысканною для данного трагического момента, спрятал театральность Сенеки, как выше — комизм Клавдия.

Исчислив множество ошибок, которых не мог сделать римлянин первого века, Гошар отмечает те из них, которые обличают в авто-

ре человека с мировоззрением и традициями века XV. Когда Тацит говорит о Лондоне, как городе, уже знаменитом богатою и оживленною торговлей, это, — для Гошара — конечно, слова не римлянина первого века, но впечатления Поджио Браччиолини, который именно в Лондоне и изобрел свою идею «найти Тацита». Доказательнее другой пример. Говоря о парфянских неурядицах в правлении Клавдия, мнимый Тацит заставляет Мегердата взять «Ниневию, древнейшую столицу Ассирии». Между тем, в это время Ниневия не только не существовала уже несколько веков, но даже развалины ее были потеряны (*etiam regere ruinae*). Исчезновение Ниневии последовательно свидетельствуют на протяжении добрых восьмисот лет Геродот, пророки израильские, Страбон, Плиний и, наконец, Лукиан. Откуда же могла эта очевидная обмолвка вскочить в текст «Анналов?» Ее подсказало христианское воображение, напитанное Библией и отцами церкви, хорошо знакомое с библейскою географией. А так как у Аммиана Марцеллина, которого Поджио знал великолепно, упоминается городок Малой Азии, на

Черном море, Нинос или Нинис, как бы одноименный с Ниневией, то автору показалось соблазнительно повторить одинокое и ошибочное упоминание Блаженного Иеронима (конец IV века по Р.Х.), будто в его время на месте предполагаемых руин Ниневии снова начала развиваться жизнь, и воскресить столицу древней Ассирии. Тот же христианский, а не римский взгляд заставляет лже-Тацита видеть в обрезании исключительно иудейский обычай, установленный с целью выделить евреев из среды других народов (*ut diversitate noscantur*). Обрезание было религиозным символом в Египте, Сирии, у народов финикийского происхождения, до Карфагена включительно. Писатель-римлянин эпохи, когда египетский Нил и Сирийский Оронт «впадали в Тибр», не мог не знать этого. Но в христианстве культы африканских и сирийских религий стерты были с лица земли и забылись; для средних веков и для эпохи Возрождения обрезанец — либо мусульманин, либо еврей. Мусульмане для «Тацита», конечно, исключаются, — остаются одни евреи, которых обособленность он и спешить поста-

вить в строку, не подозревая, что потомство, развивая историческое исследование, поймает на этой подробности его христианскую мысль.

Известно, что из историков-предшественников Тацит наиболее подражал Саллюстию. Но подражать не значит заимствовать, раболепствовать. Каждый историк говорит языком своей эпохи. Соловьев не мог уже излагать свои мысли прозой Карамзина, а Платонов и Ключевский не могут — языком Соловьева. Между тем Росс, исследуя язык Тацита, открывает в нем выражения, которые—для латыни—одновременно и архаизмы, и неологизмы: они были в ходу в веке Саллюстия, затем их выбросила из словаря своего проза золотого века, а возвратил обратно в словарь литературный декаданс конца империи: грамматики Сервий, Ноний Марцелл и Присциан, — и преемники их, латинисты средневековья. Но, в Тацитовом-то веке, употребление этих выражений для писателя-классика столько же невероятно, как — скажем—найти в языке Тургенева или Гончарова заимствование у Ломоносова, хотя, четверть века спустя,

из таких заимствований склеился Вячеслав Иванов.

Будет излишне в этом очерке следить подробно за теми общими и схожими местами, которыми текст Тацита соприкасается с текстами Светония, Плутарха, Диона Кассия, Иосифа Флавия, Тертуллиана, Павла Орозия, Сульпиция Севера и др. Они все давным давно известны, и найти их легко в любом исследовании о Таците. Разница в оценке этих соприкосновений Россом и Гошаром против большинства других исследователей только та, что—покуда остальные видят в этом совпадении свидетельства точности фактов и преимущества исторических сведений—те двое твердо стоят на своем: псевдо-Тацит — талантливый человек, который превосходно изучил Светония, Диона Кассия (в особенности) и др. и, по их данным, путем амплификации, написал свою историю, не боясь или, против воли, увлекаясь превращать ее иногда в исторический роман. Что наибольшее влияние на псевдо-Тацита имел Дион Кассий, понятно. Книги этого историка, за период, соответственный «Анналом» и «Историям», не до-

шли до нас в оригинале, но лишь в сокращении и отрывках Ксифилина и Зонары. Этот текст дал псевдо-Тациту канву и конспект рассказа, а сохранившиеся книги Диона Кассия указали ему возможность и метод разработки конспекта. Если угодно, псевдо-Тацит—Дион Кассий, огромно выросший в таланте: Дион Кассий, рассказанный Саллюстием.

V

Все предшествовавшие соображения вели Гошара к той цели, чтобы доказать, что наш Тацит — подложный Тацит, и что Поджио Браччиолини, так сказать, годился в подложные Тациты.

Разберем теперь: откуда у Поджио могло возникнуть желание и побуждение к этому странному подлогу?

В Лондоне он жил, очень обманутый в расчетах на щедрость Бофора и чрезвычайно им недовольный. Он очень искал новых занятий, которые позволили бы ему оставить службу у английского прелата. И вот в 1422 году один из его флорентинских друзей, Пьеро Ламбертески, предлагает ему проект какой-то исто-

рической работы, которая должна быть выполнена по греческим источникам и в строгом секрете, в трехгодичный срок, во время которого Поджио будет обеспечен гонораром в 500 золотых дукатов.

«Пусть он даст мне шестьсот и — по рукам! — пишет Поджио, поручая Никколи сладить это дельце. — Занятие, им предлагаемое, очень мне нравится, и я надеюсь, что произведу штучку, достойную, чтобы ее читали».

Месяцем позже он пишет:

«Если я увижу, что обещания нашего друга Пьеро перейдут от слов к делу, то — не только к сарматам, к скифам я рад забратъся ради работы этой... Держи в секрете проекты, которые я тебе сообщаю. Если я поеду в Венгрию, это должно остаться тайною для всех, кроме нескольких друзей».

В июне он еще в Англии и пишет Никколи:

«Я жду только ответа Пьеро. Будь уверен, что, если мне дадут время и досуг, чтобы писать его деяния (gesta), я сочиню вещь, которой ты будешь доволен. Я в очень бодром настроении;

не знаю, достаточно ли у меня сил для та-

кой задачи; но *labor omnia vincit improbus* (Труд, когда человек не жалеет себя, все побеждает).

«Когда я сравниваю себя с древними историками, мне страшно. »Но когда я сравниваю себя с нынешними, я опять верю в себя. Если взяться хорошенько, то я ни перед кем не ударю в грязь лицом».

Несколько дней спустя, он опять уведомляет Никколи, что готов к отъезду и ждет только письма от Ламбертески.

Отплыв из Англии, Поджио проездом является в Кельне. Но где он был затем—неизвестно. По Корниани, — в самом деле, зачем-то жил в Венгрии. По Тонелли — приехал прямо во Флоренцию. Состоялась ли его загадочная сделка с Ламбертески, мы также не знаем. Имя Ламбертески исчезает из переписки Поджио, что Гошар объясняет тем условием, что Поджио сам был редактором издания своих писем и выпускал их с очень расчетливым выбором. Но даже если бы сделка не состоялась и дело разошлось, то — какой же осадок, все-таки, остался на дне этого эпизода?

А вот какой:

Ламбертески предлагал Поджио выполнить какой-то тайный исторический труд. Тайна предполагалась настолько строгой, что Поджио должен был работать в Венгрии — между тем как его предполагали бы все еще в Англии. Для работы этой он должен был изучить греческих авторов (Диона Кассия?). В работе этой ему предстояло состязаться с античными историками, чего он и хотел, и боялся. И, наконец, весь секрет, которого от него требовали, а он принимал, показывает, что дельце-то предполагаемое было хотя и литературное, и ученое, но — не из красивых.

Если Ламбертески предлагал Поджио заняться подлогом Тацита, то он не только хорошо выбрал мастера, но и имел нравственное право обратиться к нему с сомнительным предложением. Ведь он просил Поджио лишь продолжить то, чем он начал свою карьеру. Несколько лет тому назад, молодой Поджио выпустил в свет у Никколи «Комментарии Кв. Аскония Педиана на некоторые речи М. Туллия Цицерона». К. Асконий Педиан — оратор, упоминаемый Квинтилианом. Оригинал, с которого выпущены были эти «Коммента-

рии», никто никогда не видел, а все копии Никколи переписывал тоже с копии, присланной ему Поджио из Констанца. Успех был громадный, хотя первую песенку Поджио, зардевшись, спел, и ученый мир быстро разобрал, что дело тут неладно. Поджио, кажется, мало и заботился о том, чтобы скрывать свой подлог. Когда в 1422 году он обсуждает с Никколи предложение Ламбертески, то, в числе других опасений, откровенно намекает:

«Вот уже четыре года, как я не упражнялся в латинском красноречии, но в самое малое время надеюсь наверстать настолько, что смогу писать не хуже, чем прежде». Он, если хотел, имел право на такой, по нашим понятиям, цинизм, в условиях своего века. Успех подложного Аскония Педиана вызвал целую серию других подлогов от имени того же фантастического автора, но все они были слишком грубы и немедленно разоблачились. Поджио Браччиолини оказался лишь искуснее других. Да и о его то труде ученый Франсуа Готман (Franciscus Hottomanus), издатель печатного Аскония в 1644 году, справедливо выразился:

«Если бы не труды современных ученых, вычистивших ошибки и погрешности Аско-ния, он не заслуживал бы никакого внимания и труд его никуда не годился бы».

Скорее можно думать, что сделка с Ламбертески не состоялась, но ее идея запала в ум Поджио и стала в нем развиваться по разным, но одного типа планам. Прежде, чем начать свою аферу с Тацитом, он пробует запродать Козьме Медичи или Леонелло д'Эсте какой-то великолепный экземпляр Тита Ливия — и опять в таинственной обстановке: на сцене дальний монастырь на островке Северного моря, шведские монахи и пр. Тут дело вряд ли шло о подлоге сочинения, но очень могло идти — о подлоге экземпляра. Известно, что Поджио владел ломбардским почерком в совершенстве, а именно такой рукописью он и соблазнял названных принцев. Но тут у него дело сорвалось, и затем драгоценный экземпляр исчезает как-то без вести, и не стало о нем ни слуха, ни духа. Почему? Может быть, потому, что при дворах Флоренции и Феррары умели разобрать истинную цену вещи. Леонелло д'Эсте было не легко провести. Этот

образованный принц едва ли не первый объяснил апокрифическую, столь известную и шумевшую в средних веках, мнимую переписку апостола Павла с Сенекою.

Замечательно, что в этот период жизни своей Поджио, столь вообще плодовитый, не пишет почти ничего своего, оригинального. За исключением трактата «О скупости», его философские работы все позднейшего происхождения, равно как и «История Флоренции», труд его старости, исполненный, когда он был уже на верху своего величия, канцлером Флорентийской республики. Зато он бесконечно много учится — и систематически, односторонне, видимо дрессируя себя на какую-то ответственную работу по римской истории императорского периода. Никколи едва успевает посылать ему то Аммиана Марцелл ина, то Плутарха, то Географию Птолемея и т.д.

Во всеоружии такой подготовки, в 1425 году закидывает он удочку насчет Тацита. Что это было только проба, ясно из волокиты, которая началась после того, как Никколи схватил крючок, и потянулась на четыре года. Поджио пообещал труд, который, стгоряча,

рассчитывал быстро кончить. Но работа оказалась сложнее, серьезнее и кропотливее, чем он ожидал. И пришлось ему хитрить, вывертываться, выдумывать оттяжки с месяца на месяц, а в конце-концов, вероятно, все-таки признаться Никколи: ведь этот же знал своего хитроумного друга насквозь, да и посвящен был в таинственный заказ Ламбертески. Поэтому Гошар думает, что начал-то подлог свой Поджио один, но Никколи он провести никак не мог, и книгоиздатель был несомненно его пособником.

Росс объясняет медлительность, с какой продвигалась работа, гипотезой, что, может быть, Поджио посылал листы своего сочинения для переписки, и в самом деле, в Германию, какому-нибудь монаху-каллиграфу? Гошар отвергает это предположение. Поджио Браччиолини — сам блистательный каллиграф. Зачем бы он стал посвящать в опасный секрет свой лишнего человека? И — легкое ли дело автору отправлять свою рукопись за тридевять земель без уверенности за редакцию, в которой она из-под стиля переписчика выйдет? Если Поджио и дал бы переписывать

кому-либо свой манускрипт, то, конечно, не в Германии бы, а тут же в Риме, под личным надзором, чтобы, если писец сделал ошибку, так он же и сделал бы поправку, чтобы в тексте не было ни чужой руки, ни других чернил, никакой, наводящей на обличительные подозрения, посторонней внешней приметы. Медлительность Поджио происходила просто из того, что был он не какой-нибудь вульгарный литературный мошенник, но великий ученый и артист: лучше, чем кто-либо, понимал громадность претензий, которую он на себя взял, и много раз, когда книга была уже готова к выходу, останавливался в нерешительности, выпускать ли, и снова перечитывал, редактировал, правил.

VI

В виду множества доказательств, хотя и сплошь косвенных, чрез экзегезу, Гошару удается поколебать доверие читателя к подлинности Тацита — по крайней мере, в одном из двух списков. Но, ведь, их два. Они резко разнятся почерками и форматом и найдены на расстоянии добрых 60 лет. Если в обоих списках несомненно выдержан тон и язык од-

ного автора, то, конечно, допустив авторство Поджио Браччиолини для Второго Медицейского списка, мы открываем этой гипотезе дверь и в Первый список. Но—почему же Браччиолини не нашел нужным подделать Тацита, если уж подделал он его, — сразу и цельным, одного типа экземпляром?

Гошар отвечает:

— Потому что, «найдя» два манускрипта разного формата и почерка, как бы отрывки из двух рукописей различных веков, Поджио хотел замести следы подлога и сбить с толка ученую критику.

А также и потому, что, разделив подлог свой на две «находки», он сдирал с одного вола две шкуры. Вот — появляются конечные главы «Летописи» и первые «Истории». Громадный интерес, возбуждение в ученом мире. Поджио и Никколи зарабатывают огромные деньги: первая шкура с вола. Общее сожаление, что находка — без головы. Вот — если бы найти голову! Когда этот ученый аппетит к потерянной голове Тацита (выражение Бероальда) вырастет, — Поджио и Никколи ее найдут и сдерут шкуру номер второй.

Почему Поджио не выпустил, при жизни своей, первых книг «Летописи»?

Гошар отвечает:

— Потому что в тридцатых годах он пошел в гору, разбогател и перестал нуждаться в промышленности такого сомнительного типа. Его уже прославили и обогатили произведения, подписанные его собственным именем. Он стал особою.

Это возможно, в числе прочих соображений. Смолоду, когда жмет писателя нужда и пробивает он себе дорогу, научная мистификация, конечно, легче дается человеку и меньше тревожит его совесть, а у старого заслуженного ученого, уже не нуждающегося ни в новом шуме вокруг его имени, ни в деньгах, живущего наукой для науки, художника, мыслителя, успокоенного жизнью, вряд ли поднимется рука на подобное дело. Разве что вызвано оно будет не личными целями, а какими-либо высшими соображениями — хотя бы, например, племенным патриотизмом, который вдохновлял чеха Вячеслава Ганку, когда он тоже «находил» Краледворскую рукопись, или малороса Срезневского, когда он

«нашел» казацкую думку о Самко Мушкете. Общее же правило, что литературные мистификаторы, как все подражатели и «стилизаторы», молоды. Макферсон (1738—1796) «открыл» поэзию Оссиана 22 лет от роду, Чаттертон (1752—1770) подделал баллады Роулэя на семнадцатом году.

Но, помимо чисто моральных соображений, есть и практические. Если Тацит — подделка Браччиолини, то первая половина его, то есть вторая находка, первый Медицейский список, работа, явно не конченная. Между первой и второй находкой провалились целые пять книг Тацита, обнимающие эпоху Калигулы и первые годы Клавдия. Творческое напряжение, которым Поджио Браччиолини создал свой гигантский труд, могло оставить автора после того, как он значительно истощил свои силы на повесть о правлении Тиберия — бесспорно, лучшую и глубочайшую часть «летописи». Зная средства своего таланта, не желая ослабить своего пера, Поджио мог и даже должен был отложить свою трудную работу на время в сторону — тем более, что была она не к спеху. Ведь, только что най-

дя вторую половину Тацита, открыть на слишком коротком от нее расстоянии первую — было бы чересчур подозрительным счастьем. Рукопись, отложенная на несколько лет, лежала, а тем временем писателя захватили другие работы, более жгучие, чем утомивший его литературный маскарад — Поджио вырос, стал знаменитостью, государственным человеком. Когда было канцлеру Флорентийской республики возвращаться к труду бурной молодости, да и — прилично ли, по характеру труда? Никколо Никколи, который мог бы настаивать на продолжении подлога и поощрять Поджио, умер в 1437 году. Работа, недоконченная, осталась лежать в архиве, по ненадобности ее для автора, и не продажная, и не уничтоженная, потому что — какому же мастеру легко наложить руку на свое мастерство, на художественный *chef-d'oeuvre* в полном смысле этого слова? Могла быть и еще одна причина: страх конкуренций. В 1455 году еврей Энох д'Асколи нашел в каком-то датском монастыре Тацитовы «Диалог об ораторах», «Жизнеописание Агриколы» и «Германию», которых язык и характер, как известно,

значительно разнятся от «Историй» «Анналов» и носят яркие следы Цицеронианства. Появились на рынке «Facetiae», приписываемые Тациту, и подлог был не скоро разоблачен. Изыскание рукописей становилось делом все более и более сомнительным. Знатки плодились с каждым днем — и образованные жулики или мистификаторы вроде самого Поджио встречались на рынке своем с большими образованными барами, которые могли им сами давать уроки по их товару — и настоящему, и темному. Томас Сарзанский (папа Николай V, 1447—1455), Перотти, архиепископ Сипонтский, открывший (1450) басни Фэдра, Помпония Лет (1425—1497), открывший (или подделавший) знаменитое завещание Люция Куспида, и т.д. Рынок был испорчен.

Почему Поджио Браччиолини не признался в своей проделке?

А кто из литературных мистификаторов признавался по доброй воле, не будучи прижат в угол, как Чаттертон? Макферсон и Вячеслав Ганка так и в гроб сошли со своими подлогами. Проспер Мериме, Сенковский, Срез-

невский признавались: так зато и мистификации их было не серьезны, они могли вводить в заблуждение публику, — и только на этот эффект рассчитаны, — но не специалистов. Кому известен автор подложного «Розыска» Дмитрия Ростовского и нескольких указов Алексея Михайловича? давно ли некто Зуев пытался обойти русское общество поддельным окончанием «Русалки» Пушкина? Гениальные «Записки Бенвенуто Челлини», труд, по силе и глубине проникновения в эпоху Возрождения нисколько не уступающий Тациту, заведомо подложны. Однако, автор их так и сошел в могилу неизвестным, не пожелав снять маски с лица своего — гениального, но сконфуженного. Мне кажется, что, когда научная мистификация достаточно умна, чтобы ее приняли всерьез, это может доставить автору ее некоторое саркастическое удовольствие, но весьма временное. Когда же серьез поднимается на такую высокую степень, что на мистификации уже начинают строиться научные теории и системы, мистификатору должно быть и странно, и стыдно. Особенно, когда его проделки были не беско-

рыстной шутки ради, но сопровождались крупными денежными выгодами, как в примере Поджио Браччиолини. Ведь, в конце концов, его литературная подделка — явное мошенничество с корыстной целью. Каково же было бы канцлеру Флорентийской республики на старости лет сознаться публично и во всеуслышание *urbī et orbī*: милостивые государи! гений-то я гений, но смолоду и жулик же был! всем вам, простофилям, очки втер и скольких пощипал порядком! Почему, если Поджио не хотел публиковать первые книги «Летописи» при своей жизни, их не издали наследники, и они так долго оставались в неизвестности по смерти старого ученого (1459)?

Гошар отвечает:

Потому что из наследников некому было этим заниматься. Поздно женившись (55 лет), Поджио успел произвести пятерых сыновей, между которыми младший Джакомо вполне унаследовал таланты своего отца, но рано погиб, казненный как участник заговора Пацци (1480). Остальные вошли в духовное звание. Трое умерли сравнительно молодыми. Один Джованни Франческо дожил до преклонных

лет и, таким образом, опять соединил в руках своих все остатки родительского состояния. Последнее было в упадке. Мы видели свидетельство Полициано: один из сыновей Поджио в какой-нибудь год промотал капитал, который отец зарабатывал всю жизнь. «И потекли сокровища его в атласные дырявые карманы». Покуда было что проматывать, сундуки с рукописями Поджио не интересовали его наследников. Богатство иссякло, — последний наследник, проверяя инвентарь свой, наткнулся и на этот стародавний ресурс. Он очень понизился в стоимости своей, за 60 лет. Развитие книгопечатания убило рукопись. Все, что было переписано, хотя бы и рукою великого Поджио, упало в цене рядом с быстрой конкуренцией печатной книги. Истинно ценны были только оригиналы. И вот, Джованни Франческо находит оригинал Тацита — воистину драгоценный. Тот самый оригинал, о котором Поджио писал когда-то Никколи, с подложною датой 28 декабря 1427 года: «Читал я у вас во Флоренции экземпляр античными буквами, — пришлите-ка мне его!»

Казалось бы, самое естественное дальнейшее поведение со стороны Джованни Франческо — отнести находку к покровителю наук и искусств, Льву X, и получить от него те 500 цехинов, которые затем папа заплатил или Арчимбольди, или, через него, какому-то таинственному продавцу. Но Гошар находит, что Джованни Франческо не мог так поступить. Ехидные «песни», на которые жаловался Никколо Никколи и от страха перед которыми Поджио так долго прятал своего Тацита, были не забыты в ученом мире. История Аскония Педиана была всем известна. Репутация рукописей, выходящих из дома Браччиолини, таким образом, была подмочена. Из рук сына Поджио Лев X (он же был флорентинец, Медичи, и хорошо знал, с какими птицами имеет дело) мог не принять Тацита совершенно так же, как Леонелло д'Эсте не принял от самого отца Поджио — Тита Ливия. Кстати отметить: повидимому, этот злополучный Тит Ливий в это же время тоже опять всплыл откуда-то на поверхность рынка. Теперь его нашли будто бы на острове Гионе (один из Гебридских), прославленным в первой половине средних

веков влиятельным и ученым монастырем св. Коломбана, где погребались шотландские короли. Список был увезен из Рима Фергусом, королем шотландским, при разгроме Рима Аларихом, и потом скрыт на Гионе из страха перед набегами датчан! Опять знакомая обстановка: и север, и остров, и монастырь, и датчане. Экземпляр был предложен французскому королю Франсуа I: однако, и этот страстный приобретатель редкостей заподозрил подлог и отказался. Таким образом, Джованни Франческо было, и впрямь, удобнее предпочесть кривой, обходный путь прямому — даже в том случае, если он не подозревал родительского подлога и продавал Тацита *bona fide*. Если же подозревал, тем паче. Как бы то ни было, но история находки в Корвеях разительно напоминает историю находки в Герсфельде. И это дает мне мысль, что Джованни Франческо не знал, что продает подложный документ. Иначе он позаботился бы придумать обстановку новее и сложнее. Не рекомендация товару — продавать его при тех же подозрительных обстоятельствах, при которых спущен был однажды с рук товар недоб-

рокачественный. Джованни Франческо спасал отцов товар от дурной репутации «песен, насчет Тацита распеваемых», но сам-то верил и в нового Тацита, и в старого, — и потому почитал повторение обстановки, при которой был найден первый Тацит, наиболее удобным к доказательству подлинности и ценности нового.

В заключение своего длинного и кропотливого анализа, Гошар указывает на черты личного характера Поджио Браччиолини, которые отразились в его «амплификациях»: любовь к непристойностям, типическая для автора XV века, растягивает у лже Тацита одну-две строчки Диона Кассия, т.е. монаха Ксифилина, или Светония в длинные пикантные эпизоды (Мессалина, пир Нерона и Тигеллина на прудах Агриппы и т.п.). Отметка очень слабая. Уж если Гошару Тацит кажется непристойен, то можно подумать, что он, в целомудрии своем, не знает ни Петрония, ни Ювенала, ни Марциала, близких соседей Тацита, коль скоро был он — наш Тацит! Впрочем, Гошар и на этом пути не первый: обличителями сомнительной нравственности Тацита выступали

уже в XVII веке дю Перрон, Страда (1572—1649), Рапен (1621—1687), Сен-Эвремон (1613—1703), и еще

Бюде (1467—1540) обвинял его в самозванстве, извращенности, словом — в преступности по натуре. (Низар).

Гораздо важнее замечание о сходстве языка и тона собственных латинских сочинений Поджио Браччиолини с сочинениями действительного или ложного Тацита. Как уже сказано, современники, Гварино, Панормитано (1386—1450), ставили их невероятно высоко. Любопытна характеристика Лафана (1661—1728). Этот энтузиаст Поджио определяет его, как историка: «Нельзя, когда его читаешь, не узнать в нем Тита Ливия, Саллюстия и лучших историков римских». Саллюстий, влияние которого на Тацита общеизвестно, здесь особенно выразителен. Сисмонди (1773—1842) считал Леонардо Бруни, Поджио Браччиолини и Колуччио Салутати лучшими латинскими писателями, высшими всех своих предшественников. Совсем другого мнения был Ш. Низар (1808—1882). Но в рассуждении сходства между манерою Тацита

та-Браччиолини и просто Браччиолини следует, однако, иметь в виду, что все свои знаменитые работы Поджио исполнил уже после восьмилетнего труда над Тацитом, в чем бы этот труд ни выражался, в изучении или в подлоге. Легко понять, каким влиянием должно было отразиться на подражательном таланте Поджио такое пристальное изучение автора. Попробуйте собственноручно переписать несколько глав Карамзина, — вы сами не заметите, как потом, сочиняя письмо или статью, начнете непроизвольно впадать в обстоятельные длинноты периодов. Повторите опыт с «Капитанской дочкой» — она отразится на вашем слоге простотой и сжатостью своего прелестного лаконизма. Так что эти-то общности доказывают только то, что Поджио очень много занимался Тацитом, но никак не то — да еще и в обратном действии! — чтобы Поджио Тацита подделал.

Я не буду останавливаться на предполагаемых Гошаром отражениях в тексте Тацита впечатлений Констанцского собора и казни Яна Гуса, свидетелем которых, действительно, был Поджио Браччиолини, — тем более,

что буду еще иметь случай коснуться этих строк в четвертом томе «Зверя из бездны». Отражений современности XV века Гошар указывает очень много у Тацита, но если идти по дорожке подобных аналогий, то недалеко зайти и в такую трущобу, как забрел один анонимный сочувственник Гошара и Росса, утверждающий, будто вся «Летопись» есть не иное что, как тайный протестантский памфлет на папскую власть. Впрочем, и самого Росса Аттилио Профумо уличает в том же.

Думаю, что настоящей главой я дал читателю достаточно полное понятие о взглядах скептической группы, восставшей на подлинность Тацита, а также и о методах, которыми они борьбу свою вооружают.

Читатель видит, что методы эти далеко не совершенны, часть — если не произвольны, то дают чересчур уж широкий простор предположению и допущению, либо продиктованы с точек зрения зыбких и ошибочных. Некоторые доказательства Гошара я, ради экономии места, совсем опускал по полной их несостоятельности. Часто, в полемическом азарте, Гошар упорно держится за старые

взгляды науки, стараясь не замечать новых. Так, например, случилось с топографией Байского залива, которой — доказывает Гошар — Тацит не знал, а, по Белоху, Тацитова топография оправдывается.

Все эти промахи и небрежности, конечно, идут в ущерб атак отрицателей и значительно ее ослабляют. Больше же и властней всего — как щит — становится между нами и теорией Гошара пятивековая привычка к Тациту авторитету, любовь и уважение к строгой и почти грозной фигуре римского историка-художника, неотъемлемого спутника республиканской мысли новых веков. Когда Росс и Гошар уверяют нас, что под именем Тацита мы получили не историю, но занимательный роман, прежде всего всматриваешься: кто это говорит? Не свойственна ли им-то самим эта привычка подменять историю романом и логику фактов художественной о них догадкой? И, к сожалению, часто приходится уверяться, что манера «амплификации», которой приписывают они происхождение Тацита, им далеко не чужда. Если Поджио Браччиолини воспользовался именем Та-

цита для исторического романа о Риме цезарей, то Гошар воспользовался именем Поджио Браччиолини для исторического романа об итальянской «республике наук».

Но все эти недостатки не могут лишить Росса и Гошара права обоснованного ответа на возбужденные ими сомнения. Здравый смысл видит и слышит их ошибки, но в то же время чувствует, что во многом они стоят на пути верном и лишь идут по нему, пожалуй, с излишней поспешностью, иногда даже развязностью, почему иногда комически спотыкаются и падают. Но отвечать им огульным криком негодования, пожиманием плеч и презрительными гримасами, как делает, например, Аттилио Профумо в колоссальном по размерам, новейшем труде своем «Источники и эпоха Неронова пожара» (*Le fonti ed i tempi dello incendio Neroniano. Roma 1905*) вряд ли значит разгонять сомнения и разъяснять вопрос. Критики Танери (*Tannery*), о которой с восторгом отзывается Профумо, я не читал. Не думаю, чтобы она была убийственна, потому что, в таком случае, сильнее был бы сам Профумо в тех пунктах полемики, когда ему

приходится опровергать Гошара. Гораздо больше впечатлений, чем правоверное негодование Профумо, производит им цитируемая фраза французского историка Фабиа:

«Доводы, которые приводят они (Гошар и Росс) для того, чтобы доказать, что Тацит не автор своих двух произведений, доказывают лишь, что Тацит не безупречен, как историк».

Еще менее возможно проходить мимо вопросов Гошара и Росса с величественным молчанием жреца, как сделал это Гастон Буассье в своем предсмертном этюде о Таците (1903). Вообще, этот этюд, блестящий по изложению, остроумный и поразительно легкий к усвоению, как, впрочем, все почти произведения Гастона Буассье, должно быть, очень долго лежал в бумагах покойного академика. Его выношенная стройность куплена ценою отсталости. Если бы Буассье не ссылался на труды Фабиа (1893— 1898), его «Тацита» можно было бы смело принять за произведение шестидесятых годов. Он воюет с допотопной критикой Лэнге, но с осторожностью и в общих фразах, без имен, обходит сдержанным неодобрением взгляды «зарейнских ученых»,

которые, дескать, попортили несколько и наше французское правоверие. Он берет на себя смелость протестовать против закона Ниссена и, в особенности, его распространения на Тацита, но тут же спешит любезно расшаркаться с Фабиа, который закон Ниссена признает, и успокоить его, что, несмотря на то, вы, мол, все-таки, очень хороший историк.

Особенно гневной оппозицией встретили теорию Гошара писатели католические. С причинами их негодования и приемами полемики мы встретимся в четвертом томе, говоря о так называемом Нероновом гонении на христиан. Но здесь Гошар не одинок: за ним стоит громадная и мощная армия «зарейнских» союзников, которой знания и неумолимая логика этой компании не под силу. В своем заключении о Таците, Гошар отвечает на воображаемый вопрос:

— Если отрывки Тацита — литературный плод гуманиста XV века, значит, из остается лишь бросить в огонь?

— Нет, — говорит Гошар, — и не такова была цель моего этюда.

«Мы думаем, что восхищение «Анналами»

и «Историями», хотя бы и несколько преувеличенное, было все же основательно. Потрясающая нас картина, мудрые и точные рассуждения, сильные и законченные идеи остаются в своей силе. С этой точки зрения это первоклассный литературный труд.

«С другой стороны, если Поджио обманул своих современников и потомков относительно настоящего автора работы, он во всяком случае взялся за дело с каким только мог старанием, вообразив себя на месте Тацита, — и тщательно использовал все современные ему документы: в нем отразились Дион Кассий, Иосиф, Светоний, христианские авторы.

«Когда он уходит от своих руководителей, желая расширить содержание, он старается заставить своих героев говорить и действовать так, как они, по его мнению, должны были бы это делать. Порою это ему не удается, но зачастую удачно. Его отступления, по большей части, очень интересны.

«Итак, хотя «Анналы» и «Истории» и не принадлежат писателю древнего Рима, они тем не менее не лишены исторического зна-

чения; пользуясь ими с осторожностью, можно почерпнуть из них многое для понимания римской истории первого века нашей эры».

То есть: Поджио создал труд, с которым нельзя считаться, как с непреложною летописью, но, благодаря его тщательности, получился солидный и авторитетный свод умно освещенного летописного материала, со взглядами которого историк римского цезаризма не может не справляться, подобно тому, как писатель русской истории не может обойтись без Татищева, Церобатова и даже Карамзина: они тоже не «летописцы» уже, но зато еще «летописные источники».

Принимая во внимание, что это речь жестокого отрицателя, которого критика рассматривает не без ужаса, как некоего литературного Атиллу, нельзя не признать, что заключительные аккорды Гошара звучат умеренно и благоразумно.

Не будучи филологом, не работав над манускриптами Тацита, я не смею брать на себя суждения в этом вопросе иначе, как по впечатлениям и здравому смыслу общепринятого текста, по внутренней логике самих сочи-

нений Тацита, темных судеб их в средних веках и прикосновенности к открытию их книжников-флорентинцев XV века. Я пишу книгу не о Таците и потому не могу позволить себе удовольствия разогнать эту главу в специальный том, как потребовал бы того обстоятельный и защищенный пересмотр вопроса. Кратко же скажу:

Вопрос был бы окончательно решен, если бы Россу удалось доказать, что пергамент, на котором писан медийский Тацит, являет следы, как Росс утверждает, фабрикации XV века. Я не думаю, чтобы это было возможно доказать, и сомневаюсь, чтобы это было возможно доказать, и сомневаюсь, чтобы это было так. Поджио Браччиолини был слишком тонкая штука, чтобы обличить себя так грубо — уже материалом документа. Писать подложного Тацита на пергаменте XV века, хотя бы и обработанном искусственно под древность — такая же нелепость, как например, вексель от 1910 года написать на бумаге от 1911. Конечно, если Поджио Браччиолини подделал Тацита, то он постарался раздобыться для него и пергаментом достаточной древ-

ности, а не прямо из мастерской. Старинность материала тут не решает вопроса.

Экзегетическими доказательствами Гошар убеждает меня в том, что Первый и Второй Медицейские списки Тацита, прототипы всех известных остальных, подложны. Но этим он не убеждает меня в том, чтобы подложен был текст Тацита, в них заключающийся. Точнее сказать: чтобы он был совершенно подложен:

Я охотно верю ему, что оба списка — работа Поджио Браччиолини.

Но я не верю в то, чтобы списки эти были «подлинником». Это — копии, в которых Поджио Браччиолини (всего вероятнее, что он сам) воспроизвел какой-то подлинник, бывший в руках его и Никколи, но затем исчезнувший, а может быть и нарочно уничтоженный.

Зачем?

А вот зачем. Мы видели, что Поджио жалуется в одном письме к Никколи на неразборчивость присланного им Тацита: писцы не могут воспроизводить его стертых строк. Гошар считает дату этого письма подложною. Возможно. Но это не исключает того обстоя-

тельства, что такой экземпляр был в обороте Поджио и Никколи и не только был, но и служил оригиналом для копирования. И для этой цели он еще годился, а в продажу уже нет.

В приключениях Поджио с герсфельдским монахом бесконечно много темной путаницы, но я не взял бы на себя смелости отрицать так решительно возможность, что Поджио Браччиолини, действительно, получил откуда-то «подлинник» Тацита. Но — вот вопрос: в каком виде он получил рукопись? что представляла собой рукопись?

Поджио громадный подражательный талант. Но ведь не гений же он. Все его произведения, по уровню века своего, — очень высокие ноты, но не предельные. Они не имеют главного свойства гения: не кончают старого века и не открывают горизонта для восхождения нового. А ведь Тацит-то, найденный Поджио Браччиолини, — именно такой гений. Он прочитал отходную античному миру. После него началась медленная смерть и трехвековые похороны Рима. Он описал мир, который отжил существо свое и стоит — сам не знает, на каком пороге, но надо шагнуть за какой-то

порог: сзади — похороны, впереди — проклятие ожиданий без надежды. Рим свое отжил, а мир — чужой. Весь враждебный, презренный и — чужой.

Если бы Поджио своим художественным воображением и историческим проникновением мог, — хотя бы даже и по весьма обширному запасу материалов, в большинстве, однако, лишенных освещения литературным талантом, — создать ту картину гибнущей цивилизации, которую имеем мы в сочинениях Тацита, — это был бы не гений даже, но полубог творчества: почти сверхестественное существо, оживленное душою и умом выше человеческих. Значит, Поджио удалось бы достигнуть тех высот общечеловеческой правды, на которых не бывали ни Шекспир, не Гете в «Фаусте», ни Флобер в «Саламбо», ни Лев Толстой в «Войне и Мире», ни Альфред де Мюссе в «Лорнзаччио», потому что ни один из них, рисуя человека в его эпохе, не сумел написать его иначе, как человеком своей, авторской эпохи. А ведь каждый из них имел в руках своих материалы, в тысячу раз более богатые, обильные и разнообразные, чем мог

располагать Поджио для Тацита.

Повторяю: единственным искусственным — и опять-таки неизвестно кому принадлежащим — произведением, Тациту почти равным, являются «Записки Бенвенуто Челлини». Но ведь это — все-таки — картина века, показываемая, как в панораме, лишь сквозь окошечко индивидуальности, сквозь господствующую форму автобиографии. Это, все-таки, облегчающая точка зрения, которая освещала путь к успеху художественно-исторического вымысла многих. Английский сатирик Теккерей — большой литературный талант, но когда вы читаете его «Записки Баорри Линдона» и «Четырех Георгов», вы убеждаетесь, с сожалением, что в этом человеке «пропал» гениальный историк. Сам Пушкин спрятался под щит автобиографии Гринева, чтобы создать «Капитанскую дочку», и в форме личных же записок современника нащупывал он Тацитовы темы («Цезарь путешествовал»). Андрей Тихонович Болотов не большая какая-либо литературная величина, но гениален был бы тот русский писатель, который написал бы записки Болотова, как изу-

ченную им и воображаемую картину русско-го XVIII века. Гошар же приписывает Поджио нечто неизмеримо большее: художественный охват и синтез целого века совершенно чуждой культуры, отдаленной на 13 веков. Это вдохновение, заслуга и труд выше сил человеческих. Если Поджио осуществил такой подвиг, то в лице его мир имел и, не познав, потерял самый могущественный художественно-исторический ум, который когда-либо зажигался в человечестве. Ум, каким не был, наверное, даже и сам, перевоплощенный им, Тацит! Гошар понимает это и, сомневаясь в возможности возвеличить на такую высоту Поджио, старается принизить Тацита. Прием неудачный и напрасный.

Совсем нет надобности ни Тацита воображать достижимым для писателя XV века, ни последнего сверхъестественным полубогом-великаном. Просто, в руки очень талантливого человека, художественного уровня, скажем, Проспера Мериме, великолепного ученого с историческим чутьем и редким вкусом, попал настоящий летописный список, но в виде такой мышьядной рухляди, настолько

испорченной, что, в настоящем своем виде, он уже не стоил ровно ничего. Писал же Поджио Браччиолини в одном письме своем к Никколи, что, может быть, монах то отдаст ему Тацита и даром. Это — в веке-то Возрождения, когда античная рукопись ценилась на вес золота, когда на гонорар за список Тита Ливия можно было купить виллу с угодьями!

Затем Поджио однажды даже не намекает, а прямо говорит, что Тацита он может получить, как взятку за свои услуги герсфельдскому монаху при папской курии. Это опять таки дешевая, но уже вполне естественная сделка. Монах идет на нее,

Поджио получает своего Тацита и — с восторгом видит, что это, действительно, Тацит, а с ужасом, что Тацит то ему достался чуть не в виде бумажной трухи, извлеченной из стока нечистот. Утверждал же он раньше, что так нашел Аскония Педиана! К слову отметить: из трех списков этого автора, сделанных одновременно Поджио, Бартоломео ди Монтепульчиано и Сизоменом Пистойским, сохранились только списки двух последних, а список Поджио, самый интересный из трех, ибо

им критически обработанный, бесследно исчез и остались только с него копии. А оригинал они нашли в ужасном виде, — настолько, что без работы над ним Поджио он никуда не годился бы. (Teuffe!).

Этим я объясняю и оттяжки в передаче рукописи Никколи, расплзшиеся с двух месяцев на четыре года. Поджио рассчитывал получить приличный экземпляр, который редактировать и переписать — живое дело. С хорошей рукописи он копировал быстро. На переписку поэмы Лукреция «О природе вещей» он требовал от 15 дней до одного месяца. Но вместо четкого оригинала он получил полустертую ветошь, которую надо было буквально восстановить, буква за буквой, по слогам, угадывая слово за словом, осмысливать фразы, конъюнктировать, интерполировать — словом, редактировать в самом широком смысле слова и, во множестве мест, сочинять. Словом, он очутился пред трудом, который не требовал сверх естественного гения, но какому угодно таланту задал бы долгий и точный экзамен по всем его литературным способностям и филологическим, историче-

ским и археологическим знаниям. Из той же эпохи имеем исторический пример в восстановлении Козьмою Кремонским трех книг Цицеронова «Оратора», почитавшихся погибшими — при наличии манускрипта, потому что последний был испорчен до совершенной невозможности его разобрать. Поджио принялся тайно делать только то, что Козьма Кремонский сделал явно и честно. Задача увлекает Поджио, ему не хочется ни отстать от нее, ни выдать, как он попался впросак, боясь, что практический Никколи не поймет его научного увлечения. И вот он выворачивается, как умеет и может, покуда труд не кончен: своего неразборчивого Тацита он воскресил — превратил во Второй Медицейский список.

Почему он начал не с начала, а с середины?

Вероятно, просто потому, что в подлиннике, который он имел, эта часть сравнительно лучше сохранилась и легче было ее разобрать. В 1429 году Поджио лично виделся с Никколи, и между ними шли какие-то долгие и важные дела, которые затянулись настоль-

ко, что папа вызвал Поджио из Тосканы, как секретаря своего, насильно, резким указом. По всей вероятности, в это время и решена судьба Тацита. Готовая часть его будет выпущена в свет и разожжет любопытство к той, которая еще не разобрана. А эту Поджио будет готовить исподволь новым почерком и в новом формате.

Поджио не мог сочинить Тацита, но редактируя Тацита, вполне мог о нем догадываться и его восстановить по догадке и приближительности. Кто однажды редактировал чужую рукопись, знает, как толкает эта работа мысль к творческим образам в области той же темы. Когда закрылись «Отечественные Записки» и умер М.Е. Салтыков, целый ряд недавно талантливых беллетристов поблек талантами своими, потому что тайна талантов то их была — редакционная работа М.Е. Салтыкова, который перерабатывал их вещи, вычеркивал и вставлял чуть не целые страницы. Очень талантливый беллетрист редко бывает хорошим, т.е. точным переводчиком, — разве, что строгий искус повиновения наложит на себя, урок себе задаст, как Турге-

нев при переводе Флобера. Таланту тема перевода подсказывает образы, которые влекут творчество в сторону. Русская литература обладает переводами Диккенса и Теккерея, в своем роде, единственно блестящими: Иринарха Введенского. Но если эти переводы обратно перевести на английский язык, то англичане не узнают ни Диккенса, ни Теккерея: до такой степени усвоения обрусил их талантливый переводчик, так много оригинального юмора внес он в русский текст под обаянием английского юмора подлинников. Кто не слышал о талантливых журналистах-редакторах, которые почти никогда не писали сами и считали несчастьем написать передовую статью или фельетон, но прикосновение к чужой корректуре словно будило в них вдохновение, и из статьи сотрудника под их рукою «выходила конфетка», какой тот от себя и не ожидал. А тут дело, ведь, шло не о печатной корректуре, но о рукописи. И — о какой рукописи! «В твоём Корнелии пропусти целыми страницами!» жалуется Поджио. Угадывая слово, собирая фразу, редактируя период, он то и дело встречает пустоты, вызы-

вающие о заполнении, и — знаток Ливия, Саллюстия, Аммиана Марцеллина, Блаженно-го Иеронима — сочиняет понемножку. Быть может, сам не замечает, как сочиняет. Здесь сделает пояснительную вставочку, там не устоит от соблазна всунуть целый эпизод, либо, по классическим воспоминаниям из других авторов, пустить в ход «амплификацию» какого-либо темного, догадочного места, развить его в занимательную романическую ситуацию. Таким образом вползли в «Летопись» те *peregrinae formae atque figurae*, т.е. барбаризмы и солецизмы, которыми попрекает Тацита Б. Ренан, сцены не римского духа и отражения XV века, которые ревниво выуживает Гошар.

Известно, что первые пять глав «Летописи», найденные позже, написаны, во всех отношениях, сильнее и лучше, чем последние, начиная с одиннадцатой. Это вполне естественно, потому что и Поджио за четыре года усовершенствовался и в разборе рукописи, и в языке, и великолепно усвоил себе манеру Тацита на случай интерполяций и отступлений. Он и тут иногда сбивается — оденет

всадников, по случаю смерти Германика, вместо траура в парадную форму, возьмет взаймы из Библии или Иеронима Ниневию — но чем дальше, тем он внимательнее к себе. Его смущают темные места Тацита настолько, что редактор не может уже оставить ребусов писателя без отгадок. Пример — упомянутый выше эпизод с храмом Фортуны Всаднической. Позабыл человек о храме этом, а храм между тем упоминается, — ну, и не вычеркнуть же его! Взял да и сочинил от себя пояснительную историю. Вышло не особенно складно, но возможно — если не с точки зрения древнеримской городской религии, то с точки зрения католической диоцезы.

В настоящее время ни один серьезный историк не принимает и не может, не в праве принять Тацита, как автора целостного, не претерпевшего чужой правки и обширных интерполяций. Особенно выразительны в тексте интерполяции христианского происхождения, нам придется их рассматривать в четвертом томе «Зверя из бездны». Происхождение этих интерполяций — предмет вековых и резких ученых споров. Они находят се-

бе простой и естественный исход в теории Гошара. Если обидно принять ее в чистом виде, т.е. с подлогом со стороны Поджио Браччиолини, — то гораздо легче в том ее смягчении, как предполагаю я. Вечный амплификатор, Поджио Браччиолини выхватывает из текста II века строчку — намек и превращает ее в романтический эпизод по рецепту века XV. Так, сухие географические и этнографические басни Плиния превратились в поэтический монолог Отелло у Шекспира. Но так как Поджио не Шекспир, а только Мериме, то, временами, он осужден не выдерживать высоты, по которой ходит, и срывается, как срывались и Мериме, и Макферсон, и наш Сахаров, наполнивший вставками, интерполяциями и прочими редакционными ухищрениями песни, сказки, прибаутки, пословицы в своих «Сказаниях русского народа». Он даже целый отдел чародейных песен сочинил — и, в своем роде, очень ловко. Ни Макферсон, ни Сахаров, ни Ганка не остались в изучении народной литературы ни без влияния, ни без пользы, — их наводящая роль имела большое значение для изучения фольклора: вред, приносимый их

обманом, давно погас, а литература, возникшая вокруг их сборников, обратилась в науку. Кто бы ни был автор Тацитовых исторических сочинений, он оказал культуре исполинскую услугу, осветив позади себя древность, впереди себя бросив примеры ярких политических мировоззрений и могучего психологического творчества. Подлогом его труд никак быть не может. Если же он являет собою странный, хотя не исключительный, пример подлинной летописи, наряженной в убор исторического романа, то успех — и моральный, и художественный, и научный — этого маскарада настолько велик и так был нужен и полезен, что ни у кого не поднимается осуждающая рука бросить камень в его устроителя. Если Поджио — не говорю уже написал, но только редактировал Тацита, — мы имеем в этом памятнике лучший и выразительнейший символ Возрождения, какой только когда-либо вызвала из могилы «мертвых богов» эта удивительная эпоха. Пятнадцатый век здесь проникся первым веком и слился с ним в неразличимую цельность формы, слова, мировоззрений. Историческое

единство латинской культуры нашло гениальное выражение во взаимопонимании двух великих умов, перекликнувшихся через пространство четырнадцати столетий. И совершилось это чудо с такой полной красотой и цельностью, что ни повторения, ни даже подобности уже больше не имело.

1898—1910.

Петербур—Феццано.

Конец второго тома «Зверя из бездны».

СПИСОК КНИГ, СЛУЖИВШИХ АВТОРУ МАТЕРИАЛОМИЛИ ПОСОБИЯМИ ДЛЯ СОЧИНЕНИЯ ЭТОГО ТОМА

1. Paul Allard. Histoire des persecutions pendant les deux premiers siècles d'après les documents archéologiques. 2me edition. P. 1892.

2. B. Aube. Histoire des persecutions de l'église jusqu'à la fin des Antonins. 2me edition. P. 1875.

3. Charles Aubertin. Seneque et saint Paul. Etude sur les rapports supposes entre le philosophe et l'apotre. P. 1872.

4. E. Backhouse et Ch. Tylor. L'église primitive

jusq' a la mort de Constantin. Traduit de l'anglais par Paul de Felice. P. 1886.

5. Corrado Barbagallo. Le relazioni politiche di Roma con l'Egitto dalle origini al 50 a. C. Roma. 1901.

6. Corado Barbagallo. Lo stato e l'istruzione pubblica nell'Impero Romano. Catania. 1911.

7. Corado Barbagallo. L'opera storica di Guglielmo Ferrero e i suoi critici. Milano, 1911.

8. Juitus Beloch. Campanien. Geschichte und Topographie des antiken Neapel und seiner Umgebung. 2-te vermehrte Ausgabe. Breslau, 1890.

9. Gaston Boissier. Les tragedies de Seneque ont-elles ete representees? Etrait du journal l'Instruction publique.

10. Gaston Boissier. L'Afrique romaine. Promenades archéologiques en Algérie et en Tunisie. P. 1895.

11. Gaston Boissier. Tacite. P. 1902.

12. Gustave Boissiere. L'Algérie romaine. 2 parties. 2me edition. P. 1883.

13. Eugene Bouvy. De l'infamie en droit romain. Des noms de personnes en droit français. P. 1884.

14. Julius Brunner. Vopiscus Lebensbeschreibungen (Untersuch, zur römischen Kaiserzeit herausgeg von Max Budinger.) Leipzig 1868.

15. James Bryce. Imperialismo romane e britannico Saggi. Trad, italiana con prefazione del prof. G. Pacchioni. Torino, 1907.

16. R. Cagnat. Etude historique sur les impôts indirects chez les romains jusqu'aux invasions del barbares d'apres les documents litteraires et épigraphiques. P. 1882.

17. Federico Gasa. Studi e rassegni. Gitta di Castello. 1899.

18. Victor Chapot. La flotte de Misene. Son histoire. Son recrutement, son régime administratif. P. 1896.

19. Михаил Хвостов. История восточной торговли греко- римского Египта. Казань. 1907.

20. E. Ciccotti. La guerra e la pace nel mondo antico. Tokio. 1901.

21. E. Ceccotti. Il tramonto délia schiavitu nel mondo antico.

22. Dorison. Quid de clementia senserit L. Annaeus Seneca. Cadomi. 1892.

23. Henry Doulcet. Essai sur les rapports de l'église chrétienne avec l'état romain pendant les trois premiers siècles. P. 1883.

24. Maximilien De Ring. Mémoire sur les établissements romains du Rhin et du Danube, principalement dans le sudouest de l'Allemagne. 2 tomes. Paris-Strasbourg. 1852.

25. F. De Saulcy. Histoire d'Herode, roi des juifs. P. 1867.

26. E. Dubois Guchan. Tacite et son siècle ou la société romaine impériale d'Auguste aux Antonins dans ses rapports, avec la société moderne. 2 tomes. P. 1861.

27. Ermanno Ferrero. Dei libertini. Torino. 1877.

28. C. Fouard. Les origines de l'église. Saint Pierre et les premières années du christianisme. 4^{me} édition. P. 1894.

29. Guglielmo Ferrero. Roma nella cultura moderna. Milano. 1910.

30. Federico Goodvin. Le XII tavole dell'antica Roma. Traduzione dall'inglese di Luigi Gaddi con pref. di Pietro Cogliolo Citta di Castello. 1887.

31. Ernest Havet. Le Christianisme et ses origines. Tomes I—IV. P. 1871—1884.

32. P. Gochart. Etudes au sujet de la persécution des chrétiens sous Néron. P. 1885.

33. P. Hochart. Etudes sur la vie de Senèque. P. 1885.

34. Gustave Gumbert. Essai sur les finances et la comptabilité publique chez les romains. Paris.

35. Л. Казанцев. Свободное представительство в римском гражданском праве. Историко-юридическое исследование. Киев. 1884.

36. Н. Кареев. Государство-город античного мира. Издание 2-е Спб. 1905.

37. Johannes Kreyher. L. Annaeus Seneca und seine Beziehungen zum Urchristentum, Berlin. 1887.

38. Edmond Labatut. Histoire de la preture. P. 1868.

39. J.A. Lalanne. De disciplina morali romanorum in liberorum institutione. P. 1851.

40. L. Lallemand. Histoire de la charité. Tome premier L'Antiquité. (Les civilisations disparues.) P. 1902.

41. P. Lanery D'Arc. Histoire de la propriété prétorienne a Rome. P. 1888.

42. Henry Lemonnier. Etude historique sur la condition privée des affranchis aux trois

premiers steclcs de l'empire Romain. P. 1887.

43. Joachim Marquardt. De l'organisation financière chez les romains. Traduit par Albert Vigie. P. 1888.

44. Constantin Martha. Les moralistes sous l'empire Romain. Philosophes et poete. 6me ed. P. 1894.

45. E. Mase-Dari. M.T. Cicerone e le sue idee sociali ed exonomeche. Torino. 1901.

46. Paul Meyer. Der römische Konkubinat nach den Rechisquellen und den Inschriften Leipzig. 1895.

47. Karl Johannes Neumann. Der römische Staat und die allgemeine Kirche bis auf Diocletian. Erster Band. Leipzig. 1890.

48. W. Pfitzner. Geschichte der römischen Kaiserlegionen von Augustus bis Hadrianus. Leipzig. 1881.

49. Attilio Profumo. Le fonte ed i tempi dello incendio Neroniano. Roma. 1905.

50. M. Fabii Quintiliani. Institutionum oratoriarum libri duodecim. Excu débat Iacobus Stoer. 1604.

51. Walter Ribbeck. L. Annaus Seneca der Philosoph und sein Verhältnis zu Epikur, Plato

und dem Christentum. Hannover. 1887.

52. Родбертус. Исследование в области национальной экономики классической древности. Перев. с немецкого Боевского. Под редакцией и с предисловием проф. Тарасова. Ярославль. 1887.

53. М. Ростовцев. История государственного откупа в Римской Империи (от Августа до Диоклетиана). Спб. 1899.

54. Lenain de Tillemont Histoire des empereurs et des autres princes qui ont regne durant les six premiers siècles de l'Eglise etc. Tomes I—VI. Seconde édition. P. 1700—1738.

55. Henri Weil. La regle des trois acteurs dans les tragédies de Seneque. 1869 Extrait de la Revue Archéologique.

Родословная Нерона

Юлии-Октавии.

Антонии.

Клавдии.



(Имена соединенные точками - супруги. Имена соединенные вертикальным знаком  - родители и дети..)

Таблица исторических Домициев Аэнобарбов



(Имена соединенные точками - супруги. Имена соединенные вертикальным знаком  - родители и дети..)